Феликс МЕДВЕДЕВ

ОКНО в ИСТОРИЮ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Блистательный журналист, легендарный «огоньковец» Феликс Медведев рассказывает в книге о встречах и дружбе со знаменитыми, яркими женщинами, чьи судьбы совпали с драматическими разломами XX века: дочерью поэта К. Р. княжной Верой Романовой, Ниной Берберовой, Клавдией Шульженко, Франсуазой Саган, Анастасией Цветаевой, Натали Саррот, княжной Екатериной Мещерской, вдовой разведчика Руфиной Филби, поэтессой, княгиней Ольгой Чегодаевой-Капабланка-Кларк, Анной Бухариной-Лариной, Анной Ахматовой, сталинским министром Марией Ковригиной… Книгу иллюстрируют уникальные фотографии, подаренные автору его собеседницами.

- Феликс Медведев
  -
  - Время выбрало его в свои любимчики
  - Мой «Титаник» не затонул
  - Глава 1. Мимолетная встреча с Анной Ахматовой
    - Ленинград. улица Красной конницы, 4
    - Пятый инфаркт Анны Ахматовой
    - Предсмертная хроника в воспоминаниях Лидии Чуковской
    - Из дневниковых записей Анны Ахматовой
    - Из хроники Лидии Чуковской
    - Рассказ Маргариты Юзиковны Ваганьянц
  - Глава 2. Мария Ковригина; женщина-министр
    -
    - Автобиография
    - Жизнь настоящего врача должна быть подвигом
    - Малоизвестная деятельность Марии Ковригиной
  - Глава 3. Визиты к «железной старухе» Мариэтте Шагинян
    -
    - Первая встреча с «Железным ухом России»
    - Две Мариэтты Шагинян
    - Письмо Мэру Лужкову
  - Глава 4. Клавдия Шульженко: она отказалась петь для Сталина
    -
    - Внучки – о великой народной певице
    - «Синий платочек» – это навечно
  - Глава 5. Варвара Бубнова: великая русская художница

- Яркое малиновое пятно на стене
- Из биографии Варвары Бубновой

○ Глава 6. Новелла Матвеева; менестрель, желавшая лучшей жизни для себя и для других
- Наши с поэтессой прогулки по Москве
- «Песнь о Гайавате» я знала еще в предыдущей жизни

○ Глава 7. Мария Чагина: поэты ей посвящали стихи
- Красавица Мария, бурный Петр и скандальный Сергей
- «Сохраните это письмо»

○ Глава 8. О Людмиле Кирсановой. Находка в моем архиве
-
- «Я не физик, я поэт…»
- «Лиля Брик меня потрясла»
- Рисковая выходка Кирсанова
- «Люся, я хочу вас удочерить…»
- Дверные ручки для Пабло Неруды[11]

○ Глава 9. Галина Серебрякова: она воспела женщин Французской революции
- Преданный партии «Враг народа»
- Последнее интервью
- «Горький сказал, что зря я читаю Джойса…»
- Вместо квартиры-музея Маркса меня привезли в меховой магазин «Маркс»
- В ее коллекции было четыреста фигурок трубочистов

○ Глава 10. Татьяна Ройзман: хозяйка шкафа с «прижизненным Есениным»
- В поисках литературных соратников Сергея Есенина
- Рукописный первоисточник рассказов о мятежной молодости
- Неожиданное предложение

○ Глава 11. Дочь своего отца – Софья Радек
-
- «Я привыкла к нищете и прекрасно с ней обхожусь»
- О книге К. Радека «Портреты и памфлеты»

○ Глава 12. Красавица Анна Бухарина и чудовище Иосиф Сталин
- «Бухарин – золотое дитя революции»
- «Платить за квартиру не имею возможности…»

- Последние месяцы перед арестом
- «Мы понимали, что расстаемся навсегда»
- Фотографию сына затоптали грязными сапогами
- «В шапке Сталина меня вели на расстрел…»

○ Глава 13. Непримиримая Зинаида Шаховская
○ Глава 14. Екатерина Мещерская: бывшая княжна, бывшая дворничиха…
-
- Роковые серьги Натальи Гончаровой
- Меня вызывает товарищ Яковлев
- Кристаллы, таящие смерть

○ Глава 15. Встреча с дочерью Соломона Михоэлса
○ Глава 16. Встреча с Великой княжной Верой Романовой
○ Глава 17. Натали Саррот: парижанка из Иваново
-
- В кафе тепло и уютно, а в квартире холодно
- «Фрейд ужасно сузил все, что мы знаем»
- «Я была за революцию»
- «Все плакали, когда немцы вошли в Париж»
- Солженицын – абсолютный гигант
- «Премии и награды меня мало волнуют»
- «Не понимаю слов Достоевского, что красота спасет мир»

○ Глава 18. Нина Берберова: эмиграция – это ее крест
- Встреча в Принстоне
- В Америке дети не плачут, кошки не царапаются
- «Мы не думали, что уезжаем навсегда»
- Кладбища и церкви ее не интересовали
- Берберовой предоставили все масонские архивы
- «Горбачев никакой не масон»
- Она боялась, что ее архив в России сожгут
- «Великая Берберова» на родине
  - «Потрясена Ленинградом, его провинциальностью»
  - «Русский язык для меня – всё»
  - Будберг привезла Сталину итальянский архив Горького

○ Глава 19. Франсуаза Саган: писательница, игрок, искательница приключений
-
- «Моя прабабушка со стороны отца была русская»
- Особняк в Нормандии заложила за долги
- Погорела на дружбе с Миттераном

- «Я прятала у себя людей, за которыми охотились»
- Ушла от мужа – читателя газет

○ Глава 20. Исса Панина: великая вдова пророка

-
- Дмитрия Панина принял папа римский

○ Глава 21. Ольга Чегодаева-Капабланка-Кларк: русская княгиня, «солнечная девочка»

-
- Из мемуаров Ольги Чегодаевой
  -
  - Капабланка – человек или ладья?
  - И Сталин стоял за портьерой…
  - Я предсказала ему победу
  - Видеть его для меня всегда было праздником
  - Алехин обозвал меня тигрицей
  - Мои гипнотические сеансы
  - «Он сделал меня!» – кричал Алехин
  - «Вишенка моя! Мы богаты!»
- Комментарий чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова к мемуарам Ольги Чегодаевой

○ Глава 22. Фантомное интервью с Гретой Гарбо

○ Глава 23. Джуна Давиташвили: творец чуда

-
- О ночных посиделках
- О звонке из «Поднебесья»

○ Глава 24. Телеинтервью в Париже «со старой дамой» Ольгой Голицыной

○ Глава 25. Татьяна Аещенко-Сухомдина: вспоминает, рассказывает, поет… и открывает мне Париж

-
- Любовник леди Чаттерлей
- Встречи с Маяковским
- Вертинский в Пятигорске
- Москва была странная и страшная
- «Она в законе…»
- Оказывается, Сименон – от нашего семена
- Мучительная смерть в одиночестве
- «Я становлюсь знаменитой…» (из дневников Т. И. Лещенко-Сухомлиной)
- Стихи Татьяны Лещенко-Сухомлиной из моего архива

- Воображаемое интервью
- Глава 26. Графиня Разумовская о Марине Цветаевой
  -
  - Стихи Цветаевой перевернули ее жизнь
  - Родового герба Разумовских на церкви воскресения я не нашел
- Глава 27. Тягостные разговоры с Татьяной Самойловой
- Глава 28. Цыганка Валентина Пономарева не гадает
  -
  - «Я определяю сексуальный тип мужчины по тому, как он танцует и как ведет машину…»
  - «Звони мне в любое время», – сказала Терешкова
- Глава 29. Алла Баянова: «я ощущаю, что не сделала великой карьеры»
- Глава 30. Анель Судакевич: последняя звезда немого кино
  -
  - «Сегодня я еще не выходила в Елисеевский»
  - «Глаза погублены на съемках»
  - «Роман» с Маяковским
  - «Я помню, как у мамы на улице просили автограф»
  - Все мессереры – трагические личности
  - «Анеля Судакевич – светлое пятно в моей жизни»
  - «Дорогая Анель, где вы, кто с вами?»
  - «Я делала знамена для фронта»
- Глава 31. Вещие сны Нонны Мордюковой
- Глава 32. Анастасия Цветаева: о религии, об искусстве, о сестре
  -
  - О сожженной книге
  - О Валентине Распутине и Евангелии
  - О времени
  - О бессмертии
  - О старости
  - О судьбе
  - О Марине
- Глава 33. Анна Черненко: «я заплакала, когда муж стал генсеком»
- Глава 34. Ольга Аросева: «люблю людей, которые смеются»
- Глава 35. Наталья Решетовская: последнее интервью
- Глава 36. Екатерина Васильева: горькая исповедь

- Глава 37. Руфина Филби: она любила шпиона номер один
- Глава 38. Нина Ильюшенко-Родинова: рассказ дочери репрессированного полковника
- Глава 39. Нами Микоян: «Моя жизнь не была раем…»
  -
  - «Французские духи были мне недоступны…»
  - «Алексей Микоян был большой гулена…»
  - «Перед самоубийством папа мне сказал: „верь в партию…“»
  - «Берия для меня и сегодня фигура неясная…»
  - «Мой сын подарил Фиделю русский снег…»
  - «Меня всегда восхищали сильные личности…»
  - «Мой сын – моя гордость»
- Глава 40. Воспоминания Ганны Клячко
- Глава 41. Мария Розанова: женщина с мужским характером
- Глава 42. Инна Фрумкина: интеллектуалка, книжница, племянница великого ученого XX века
- Глава 43. Галина Каландадзе-Баскова: ее кухня была приютом будущих кумиров
  -
  - Жванецкого тогда никто не знал
  - Меня рисовал почти Пикассо
- Вкладка

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18

- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28

Феликс Медведев
Мои Великие старухи

© Медведев Ф. Н., 2011
© Оформление, издательство «БХВ-Петербург», 2011

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Время выбрало его в свои любимчики

На заре горбачевской перестройки судьба забросила меня в далекий город Иркутск, где после окончания режиссерского факультета Ленинградского института театра, музыки и кинематографии предстояло на местной киностудии клепать из месяца в месяц никому не нужный киножурнал. Безвременье, убогость человеческого быта, дикость провинциальных властей – было от чего завыть. Но какой же безмерной надеждой загорались глаза людей, когда на их посеревшие от беспросветных будней лица вдруг падали блики свеженапечатанных, вкусно пахнущих типографской краской номеров журнала «Огонек»! Того самого, «перестроечного», преображенного Виталием Коротичем в какую-то поистине «райскую птицу» на фоне удручающей своей бездарностью продукции «Союзпечати».

Казалось, эта жар-птица залетала к нам из какого-то «прекрасного далека». Казалось, вот она, та единственная в мире Формула Счастья, в поисках которой мы блуждали в кромешной тьме все эти нестерпимые казенные десятилетия. Для меня, но думаю, и для многих главной приманкой любого номера «Огонька» становились поистине ослепительные материалы за подписью таинственного Феликса Медведева, популярность которого в народе была сногосшибательной. Журналы с его интервью и статьями буквально рвали из рук. Мне, скажем, и по сей день не стыдно признаться в том, что я, взрослый мужик, с усердием примерного ученика вырезал очередную медведевскую публикацию, дабы поместить ее, как какого-нибудь редкостного радужного махаона, между листами скучной конторской книги. Где она теперь, та книга? Зачем мне было это нужно, что я собирался делать дальше с той странноватой коллекцией вырезок? Бог его ведает. Думаю, что это было нечто инстинктивно-рефлекторное, подобное действиям пчелы, набивающей себе брюшко нектаром и не задающейся вопросом, зачем она это делает… Таинственность же, я бы сказал, фантастичность образу Ф. Медведева придавала прежде всего та легкость необычайная, с которой этот господин перемещался по всему свету. Спектр его ярких опусов был ошеломляюще пестр: хлесткие злободневные интервью со знаменитыми писателями, актерами, деятелями кино, художниками (Ч. Айтматовым, С. Михалковым, С. Образцовым, И. Глазуновым, Е. Евтушенко, Э. Климовым); объемные исторические экскурсы, подобные

сенсационному «бухаринскому» (шестиполосному!) материалу, сделанному на основе бесед с вдовой «золотого дитя революции» Анной Лариной-Бухариной; такие уникальные признания, как исповедь Арсения Тарковского, в которой впервые «озвучивалось» последнее в жизни письмо его сына Андрея, гениального режиссера, умирающего в Париже от рака и открыто называющего фамилии тех, кто насильственно загнал его в эмиграцию…

Такое уж, видимо, было время, само избиравшее своих любимчиков. На этот раз его любимчиком стал журналист Ф. Медведев, оказавшийся в нужный момент в нужном месте. Да, в общем хоре голосов времени звучала, как туго взведенная струна, интонация журналиста, вызывавшего своих героев на откровенный разговор и добивавшегося предельной искренности. Как явствовало из «огоньковской» хроники, неуемный Ф. Медведев также успевал проводить творческие вечера журнала в многотысячных залах Москвы, Ленинграда, Киева, Таллина, Дубны… Когда открылись границы, известный интервьюер посетил многие страны, где проживали наши соотечественники. Он рассказывал о них в журнале и на телевидении. Его авторская телепрограмма «Зеленая лампа» была для московской интеллигенции символом набиравшей силу гласности. Когда позже, через несколько лет, я узнал, что знаковая евтушенковская антология «Русская муза XX века» делалась тоже с участием Феликса Медведева, библиофила, знатока поэзии, я не очень удивился. Другими словами, в ту баснословную эпоху журналист Медведев был, что называется, на виду у всей страны.

Мог ли я предполагать, сидя в своей сибирской «ссылке», что судьба сведет меня с этой феерической личностью? В конце 90-х в Москве я познакомился с Ф. Медведевым в одном из крупных издательских холдингов. Мой кумир оказался темноволосым, подтянутым, элегантно одетым джентльменом лет сорока с небольшим (как потом, к моему удивлению, оказалось, он родился 22 июня 1941 года), со стремительной походкой и острым, внимательным взглядом. Это были уже другие времена: кончалась лихая ельцинская эпоха. Того «Огонька», который был для меня магическим, уже не существовало. Но имя Ф. Медведева, появлявшееся в рубриках многих столичных изданий, таких как «АиФ», «Вечерний клуб», «Книжное обозрение», «Новые известия», «Мир новостей», по-прежнему притягивало читателей. Полновесность его интенсивной творческой деятельности придавал выход книг. От сборников интервью с мировыми знаменитостями и выдающимися нашими современниками до документального детектива о гибели принцессы Дианы, с которой, как оказалось, он тоже общался. Здесь беру на себя

смелость причислить журналиста-мэтра к племени так называемых последних романтиков. А это значит, что молодости духа Феликсу не занимать и сегодня.

Подняв свои неиссякаемые журналистские архивы, он выпускает в свет новую портретную галерею знаковых фигур ушедшего бурного XX века. И здесь творческая фантазия Медведева не дала сбоя: книга посвящена драматическим судьбам необыкновенных русских женщин, с которыми он встречался в разные годы в разных странах. Что особенно трогает, наряду с суперузнаваемыми героинями, такими как Анна Ахматова, Нина Берберова, Натали Саррот, автор представляет читателю целый ряд интереснейших историй жизни «великих старух», открытых самим журналистом, – княгини Ольги Капабланки-Кларк (США), цветаеведа Марии Разумовской (Австрия), княжны Екатерины Мещерской, вдовы крупнейшего разведчика XX века Руфины Филби…

Напоследок хочу сказать, что по-прежнему буду ждать выхода новых биографических открытий Феликса Медведева. С годами сам узнавший, как непросто дается журналисту, писателю работа с таким «материалом», как человеческая судьба, жизнь, душа, я с удовольствием рекомендую читателю эту уникальную книгу.

Владислав Чеботарев, кинорежиссер, журналист

Мой «Титаник» не затонул

Эту книгу с почти шокирующим названием «Мои Великие старухи» я задумал двадцать лет назад. Она складывалась из публикаций в журналах «Огонек» (где я работал с 1975 по 1990 год), «Родина», из телевизионных передач «Парижские диалоги», «Избранницы» и, конечно же, из программы «Зеленая лампа», которая записывалась прямо в моей квартире на Покровке. Перед телекамерами рассказывали о своей жизни не только москвички, но и приезжавшие в перестроечные годы из разных стран на родину представительницы дворянских знатных родов России, оказавшиеся в «года глухие» в эмиграции.

К тому же, горевший библиофильской страстью, я вел на сценах Центрального дома литераторов, Центрального дома архитекторов, Центрального дома медработников встречи книголюбских клубов, собиравшие полные залы. Зрители зачарованно слушали волнующие исповеди ровесниц века. На встречах цикла «Интервью на сцене ЦДЛ» писатели впервые услышали живые голоса легендарных Ирины Одоевцевой и Нины Берберовой.

За своими «Великими старухами» я охотился по всему свету. Их судьбы стали частью моей журналистской и личной судьбы. Я познавал их нелегкие характеры, их манеры, их капризы. Мариэтта Шагинян в минуты гнева бросалась в меня чернильницей, Ольга Капабланка-Кларк пила шампанское наравне со мной – три бутылки на двоих, столетняя парижанка Ольга Голицына вышла на телеинтервью… в мини-юбке, чтобы продемонстрировать свои стройные ножки, Мария Чагина с жаром вспоминала, как за ней ухлестывал Сергей Есенин…

В 1990 году в США я «охотился» за Татьяной Яковлевой, возлюбленной Маяковского. Случайно я оказался в двух шагах от нее: мои русские друзья обитали в штате Коннектикут, где жили тогда Татьяна и ее муж, известный фотограф-стилист Алекс Либерман. Узнав телефон и позвонив, услышал: «Татьяна больна, позвоните через неделю…» К сожалению, через два дня я уезжал, и встреча с адресатом любовных стихотворений Маяковского не состоялась. Да, не всегда везет тому, кто ищет. В то время я задумал книгу об оставшихся в живых Романовых, посетил многих, но, увы, кого-то уже не застал… Не успел я увидеть и непревзойденную Жизель – великую русскую балерину XX века Ольгу Спесивцеву, звезду императорских театров, партнершу Нижинского и Лифаря, в безвестности покинувшую этот мир в 1991 году под Нью-Йорком. Не успел, не застал, не нашел… Круг

тех, кто мог свидетельствовать о прошлом, сужался. И мне говорили: «Где же вы были лет пятнадцать тому назад?»

Но, с другой стороны, многие мои героини были рядом, в Москве. Именно здесь я познакомился с Татьяной Ивановной Лещенко-Сухомлиной, одной из самых ярких русских женщин. А Галина Сергеевна Серебрякова! Ее судьба страшно покорежена в годы деспотии, кровавого террора – ведь Галина Иосифовна более двадцати лет отбыла в сталинских лагерях и ссылке. Но выжила, поднялась на вершину творческого духа и славы.

Со многими я подружился, некоторым помогал писать мемуары, с кем-то ездил по свету, получал в подарок как библиофил книги их воспоминаний, фотографии…

В общем, мне посчастливилось тесно и творчески плодотворно общаться с людьми, которым Бог подарил яркую, богатую событиями жизнь.

Почему «старухи»? Да, так, по лингвистической прихоти. Режет слух, возмущает, щекочет нервы. Наверное, не каждая, даже в 90, согласится с такой «припечаткой». Ни одна не хочет откликаться на «старуху». Но на «Великую старуху» – тут можно и уступить! «А почему нет? Старуха в смысле матерь, прошедшая огни и воды», – говорила Джуна Давиташвили. «Феликс, я старуха с самого рождения, потому что несу в себе трагедию моего древнего цыганского народа», – восклицала певица Валентина Пономарева…

А почему Великие? Да по всему: по крутой натуре, по деяниям, по противоборству нелегкой судьбе. Они – железные женщины, пережившие Сараево, газы, Великую Октябрьскую, расстрел в ипатьевском подвале, Гитлера, падение Парижа, Освенцим, Хиросиму, ад большевизма, взрыв храма Христа Спасителя, колхозы, «дело врачей», коммунальные пытки, кровавую давку на Трубной 9 марта 53-го, «лихие 90-е», «МММ», пропавшие «похоронные»… Видели, чувствовали, обжигались, но выживали. Конечно, они великие.

Да, у некоторых, как сказала о себе Мариэтта Шагинян, «столетие лежит на ладони», другим, конечно же, еще далеко до этого рубежа, но на их долю выпало так много переживаний – и светлых, и драматических…

Так лихо назвать книгу подвиг меня, возможно, хранившийся в подсознании распространенный в артистической среде титул-амплуа знаменитых актрис Малого театра Яблочкиной, Гоголевой, Турчаниновой, Пашенной – «Великие Старухи». А может, толчком стало стихотворение Евгения Евтушенко «Старухи»:

В тот день высоким обществом старух
я был допущен к бубликам и чаю.
Царил, спасенный ото всех разрух,
естественной изысканности дух,
какой я нынче редко замечаю.

Старухи были знамениты тем,
что их любили те, кто знамениты.
Накладывал на бренность птичьих тел
причастности возвышенную тень
невидимый масонский знак элиты…

…А сколько войн, их души не спаля,
Прошло по ним в своих пожарах гневных:
Две мировые, и одна своя,
и тыщи беспожарных, ежедневных….

Может быть, перелистывая эту книгу, иной читатель увидит во мне некоего искателя приключений, охотника за призраками, но я считаю: судьбы моих собеседниц, порой наивные, и «позавчерашние» суждения некоторых из них (строй мысли и интонацию я старался сохранить, а даты, поставленные в конце, говорят сами за себя) – это хроника XX века, зафиксированное прошлое.

Замечу, что ничто в мире не пропадает бесследно, и профессия журналиста (а в ней мой любимый жанр подробного биографического интервью) не так досужа и легка, как может показаться на первый взгляд. На самом деле это эмоционально изнурительная работа, ибо каждая встреча, каждая история жизни оставляют царапину в душе, а герои, поведавшие о себе, остаются со мной. В моей телефонной книжке сотни и сотни московских, парижских, нью-йоркских, римских, венских телефонных номеров, по которым сегодня уже некому звонить. Целый «Титаник». Но наше вчерашнее – мои Великие старухи и мои Великие старики (следующий том под таким названием готов к печати) не ушло из своего века, не погрузилось во тьму. Оно живо хотя бы в моих книгах, в моей памяти. Значит, мой «Титаник» не затонул…

P.S. В Интернете у какого-то рафинированного блогера вдруг неожиданно наткнулся на отличные пассажи о двух моих героинях.

Татьяна Лещенко-Сухомлина – переводчица Лоренса, Золя,

Сименона. После возвращения из любимого Парижа и долгого воркутинского срока на любимой родине свое долгое будущее проживала со вкусом, с легким и веселым шлейфом аромата Rive Gauche YSL, под музыку усадебных романсов и бурных собственных романов, которые заводила и в 90 лет! Она потягивала рюмочку зеленого ликера и говорила: «ВКУСНО»! И никаких сомнений не оставалось: ВКУСНАЯ ЖИЗНЬ.

Нина Берберова, СТАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА, которой выпал долгий век; повсюду ею помеченный «КУРСИВ МОЙ». В 70 лет научилась пользоваться компьютером, без которого потом не могла прожить и дня. Как-то обронила: «Я не умею любить прошлое ради его „погибшей прелести“ – всякая погибшая прелесть внушает мне сомнения: а что, если погибшая она во сто раз лучше, чем непогибшая? Мертвое никогда не может быть лучше живого».

Феликс Медведев

Глава 1. Мимолетная встреча с Анной Ахматовой

«Ну что ж, в вашем возрасте многие пишут стихи…»

Ленинград. улица Красной конницы, 4

Давно забылось, когда и от кого мог я услышать имя Анны Ахматовой. В пору взросления и сближения с литературой, со стихами я жил в стокилометровом отдалении от Москвы, в городке Покров на границе Московской и Владимирской областей. Река Киржач с небольшим мосточком в несколько метров служила культурным и, я бы сказал, идеологическим водоразделом, потому что по одну его сторону географически-административно заканчивалась Московская область, а по другую – начиналась Владимирская. А это, как сказали бы в Одессе, «две большие разницы». Все социально-политические изменения в огромной советской державе в городок Покров приходили позже, чем приходили они к людям, проживающим по ту сторону моста. (Кстати, до сих пор Владимирская область считается наиболее ретроградной, входящей в «красный пояс» России.)

Родившись в Москве и прожив в столице до пяти лет, после развода матери с отцом я оказался на Владимирщине, которая стала мне как бы полуродной. В городе Покрове, стоявшем на Горьковском шоссе, я и окончил среднюю школу, где творчество Ахматовой даже в старших классах мы, конечно же, не «проходили».

Правда, получив в 13 лет в подарок от моего московского деда Золтана Партоша (эту фамилию я носил до 8 класса, пока мама не вышла второй раз замуж за председателя колхоза Н. А. Медведева) пишущую машинку, купленную в магазине на улице Горького напротив концертного зала Чайковского, я начал заниматься самообразованием. До сих пор храню в своей библиотеке напечатанные на машинке блокноты со стихами Маяковского и Есенина из книг, взятых в райбиблиотеке. С той поры помню наизусть многие стихи, в том числе поэму Есенина «Анна Снегина».

Шли глухие послесталинские времена. До хрущевской «оттепели» было еще несколько лет. Первый после огромного перерыва тоненький сборничек стихов Анны Андреевны Ахматовой под скромным названием «Стихотворения» объемом 130 страниц издали только в 1958 году. Его-то я и купил в очередной приезд в Москву в только что открывшемся «сотом» книжном магазине на улице Горького. Книгу выпустило Государственное издательство художественной литературы «под редакцией» официозного поэта Алексея Суркова.

Открыв сборник и прочитав первые же стихи, я почувствовал неведомую доселе дрожь во всем теле. Ничего подобного я не

испытывал при чтении стихов Маяковского, Есенина, других поэтов, книги которых попадали мне в руки. Ведь так называемая интимная лирика в те времена была под запретом. Самым знаменитым лирическим четверостишием слыли строки Степана Щипачева про любовь, которая «не вздохи на скамейке и не прогулки при луне».

И вдруг читаю:

Ах, дверь не запирала я,
Не зажигала свеч,
Не знаешь, как устала я,
Я не решалась лечь.
Смотреть, как гаснут полосы
В закатном мраке хвой,
Пьянея звуком голоса,
Похожего на твой.
И знать, что все потеряно,
Что жизнь – проклятый ад!
О, я была уверена,
Что ты придешь назад!

Или о Пушкине:

Кто знает, что такое слава!
Какой ценой купил он право,
Возможность или благодать
Над всем так мудро и лукаво
Шутить, таинственно молчать
И ногу ножкой называть!

Или:

Что ты бродишь, неприкаянный,
Что глядишь ты не дыша,
Верно, понял: крепко спаяна
На двоих одна душа.
Будешь, будешь мной утешенным,
Как не снилось никому,
А обидишь словом бешеным —
Станет больно самому.

Я был ошеломлен. О таких сокровенных, тонких чувствах

женщины я еще не читал. Короткие строчки как бы сами собой ложились в память, и всю эту стотридцатистраничную книжечку, за исключением переводов корейско-румынских поэтов, я помню до сих пор. И мне так захотелось увидеть автора этих строк… Хотя бы издалека…

Под впечатлением творчества Маяковского, Есенина и Ахматовой я начал кропать в рифму. Каждый день после уроков в школе я уходил в лес, что в полукилометре от дома, с блокнотом в руках. И сочинял, сочинял… Мне было 17 лет, и я был уже давно влюблен в 13-летнюю девочку с соседней улицы, которой и посвящал стихи. К окончанию школы накопилась целая тетрадь моих сочинений, ее-то я и послал в областную писательскую организацию. И каким сюрпризом для меня стал однажды принесенный почтальоном конверт с официальным штемпелем, где находилось приглашение на областное совещание молодых литераторов! Мои стихи понравились местным литературным мэтрам, а также привлекли внимание приехавшего из Москвы еще мало кому известного поэта Андрея Вознесенского, который рекомендовал Владимирскому издательству выпустить книжку моих стихов. Она вышла в начале 1960-го года. Как сказал Маяковский, «так начинают жить стихом».

А через год меня призвали в Советскую Армию, и я оказался на западной границе нашей необъятной державы, где три года прослужил в ракетных частях Прибалтийского военного округа под Калининградом.

В один прекрасный день, когда мое дивизионное начальство узнало, что я начинающий журналист и литератор и что у меня дома есть пишущая машинка, оно решило откомандировать меня за ней в родные пенаты. «В нашем штабе не хватает этого инструмента. Даю тебе неделю отпуска», – сообщил мне комдив. Сошедший с ума от счастья, я ринулся в канцелярию оформлять отъездные документы.

И тут в моем подсознании родилась мысль: «Дорога в Москву может идти и через Ленинград. А что если найти там Анну Ахматову?» Сразив начальство страстным желанием посмотреть на крейсер «Аврора», я выпросил разрешение на нестандартный железнодорожный крюк. И в моей тоненькой записной книжке (кстати, сохранившейся до сих пор) появились заветные адрес и телефон: Ленинград, ул. Красной Конницы, д. 4, кв. 3, телефон А-2-13-42. Ахматова Анна Андреевна. Помог Андрей Вознесенский, с которым я переписывался и в армии.

В Ленинграде я оказался впервые и не имел никакого представления о том, где находится эта улица Красной Конницы. Помню, когда я спросил какого-то интеллигентного пожилого

человека о том, как найти нужный мне адрес, он ответил: «Это рядом со Смольным собором, поезжайте на таком-то трамвае, там найдете…».

Дальнейшее в моей памяти прокручивается, точно в тумане: мгновение за мгновением, шаг за шагом… Иду по улице Красной Конницы, голова запрокинута, прохожу дом за домом. Вот он, в самом начале, дом номер 4. Волнуюсь все больше, но почему-то совершенно уверен, что сейчас Ее увижу. Подхожу к первому подъезду, останавливаюсь перед тремя-четырьмя ступеньками вверх. Парадная дверь. Открыта. Вхожу в общий коридор, передо мной квартира номер 3, нужно только подняться еще на несколько ступенек. Стучусь. «Вы к кому?» – в открывшуюся дверь спросила меня пожилая женщина. – «Здесь живет Анна Ахматова?» – «Да, она дома… Но она переезжает». И только тут я заметил, что все кругом уставлено сумками и тюками.

Женщина впустила меня и исчезла в темном коридоре. А я услышал, как она, постучав в дверь, проговорила: «Анна Андреевна, к вам какой-то солдат!»

Через минуту передо мной предстала полная, седая, как мне показалось, уставшая дама. Сделав навстречу два шага, она спросила: «Что вам угодно?»

Нужно заметить, что до этой секунды я не представлял, как выглядит великая поэтесса. Да и где мог я увидеть ее фотографии? В нашей покровской библиотеке книг Ахматовой не было, собрание моего деда в основном состояло из книг на венгерском языке, в Ленинку я еще не успел записаться.

– Простите, меня зовут Феликс Медведев. Я еду из Калининграда, где служу в армии, в Москву навестить маму. А вы Анна Андреевна?

– Да, я Анна Андреевна.

– Мне очень хотелось с вами познакомиться, я тоже пишу стихи…

– Ну, что ж, это приятно. В вашем возрасте многие пишут стихи.

В этих словах, в том, как она их произнесла, я почувствовал некую отстраненность. Словно прочитав мою мысль, Ахматова мягко промолвила: «Молодой человек, желаю вам научиться писать хорошие стихи, но, извините, сейчас я не могу пригласить вас к себе, у меня люди, помогают паковать книги. Я переезжаю на другую квартиру…».

Простившись, я вышел на улицу. И тут же очнулся: ведь у меня в сумке лежал тот самый зачитанный мной сборник ее стихов. Автограф! Как же я мог забыть о нем? В нерешительности остановился, не вернуться ли? Но не хватило смелости. Потом

долго-долго сожалел об этом… Сожалею и сейчас. А книжка, конечно же, сохранилась в моей библиотеке.

1961

С той встречи прошло полвека.

Пятый инфаркт Анны Ахматовой

Пушкин умер в своей квартире после дуэли. Гроб с телом поэта везли в Михайловское на вороных. Хоронили тайно, без лишних взглядов.

Убитый на дуэли под Пятигорском Лермонтов несколько часов пролежал под проливным дождем. Секунданты разбежались по домам.

Больной, истощенный Блок ушел из жизни весьма кстати для новой власти. Поди разберись с его «двенадцатью» персонажами – «за» они или «против».

Великий русский поэт Анна Ахматова умерла в спецсанатории для инфарктников 5 марта 1966 года. 3 марта ее сюда доставили, 5 – она скончалась. Что называется, везли умирать. Ни одна газета Советского Союза (кроме ведомственно-литературной – в пяти строках) не сообщила об этом страшном событии. Поэта Ахматову боялись. И при жизни, и после смерти.

Кого ж это так,
Точно воры вора
Пристреленного —
Увозили?..
Изменника? – Нет,
С проходного двора —
Умнейшего мужа России!

Это о Пушкине, но Цветаева будто предчувствовала, как будут хоронить ее петербургскую сестру по поэзии.

Санаторий «Подмосковье», что в сорока минутах езды от Москвы в сторону аэропорта Домодедово, сейчас принадлежит Управлению делами Президента России. Отдыхает и лечится здесь, если выражаться языком прошлого времени, партийно-правительственная и культурная элита: от министров до народных артистов. Прошли через «Подмосковье» когда-то со своими недугами Лемешев и Райкин, Ойстрах и Марецкая, Андровская и Яншин.

Однажды волею судеб я оказался здесь в летние дни. Поселили меня в корпусе номер один, большом семиэтажном здании. С седьмого этажа открывается такая красотища, что дух захватывает: бескрайний лес, речка Рожайка, поле, пришедшее из древности и пока не застроенное новорусскими коттеджами. А гул домодедовский почти не слышен – конечно же, маршруты

лайнеров проходят в стороне.

За верхушками сосен еле проглядывает корпус номер два. Как-то, гуляя по огромной лесной территории, я вышел к небольшому двухэтажному зданию.

Стал обходить его и вдруг замер – между окнами на первом этаже на мраморной доске выбиты строки: «Моя душа взлетит, чтоб встретить солнце… Анна Ахматова. 1889–1966»… Что это? Может, хозяева здравницы – любители поэзии – выбрали прекрасные стихи для воодушевления отдыхающих? Но как-то тревожно они звучат…

Через пять минут уже знал: последние часы ее жизни прошли здесь, в этом доме. Загорелся, стал расспрашивать, но на вопросы или не отвечали, или говорили скупо, полушепотом… В библиотеке снял с полки том Л. Чуковской[1].

Предсмертная хроника в воспоминаниях Лидии Чуковской

15 ноября 1965. Комарово

Дурной день… Анна Андреевна в Боткинской… Только бы не инфаркт. Ведь это будет уже третий… или даже четвертый. Беда.

1 декабря 1965. Комарово

Заходил ко мне Иосиф (поэт Иосиф Бродский. – Ф. М). Он только что приехал из Москвы и трижды навещал Анну Андреевну. У нее инфаркт. Тяжелый…

19 декабря 1965. Москва

Я только что от нее… Анна Андреевна лежит на спине, на высоких подушках, вытянув руки вдоль тела. Не ворочается. Шевелит только головой и кистями рук… Инфаркт. По медицинскому счету третий, по ее собственному – четвертый… А сколько их может выдержать человек вообще? Одна надежда на ее гениальный организм… Да с чего я, собственно, взяла, что Анна Андреевна умирает? Ведь видела же я ее после инфаркта там, в Ленинграде, в больнице Гавани… Она встала, опять Ордынка, опять Комарово, встречи с друзьями, писала стихи, сердилась, радовалась, из Ленинграда в Москву, из Москвы на Запад. Жила. И теперь так будет.

Из дневниковых записей Анны Ахматовой

9 января 1966

Врачи, видимо, считают мое выздоровление чудом… Слово это вовсе не из медицинского словаря, но я расслышала, как один профессор употребил его, беседуя с моим лечащим врачом. Врач настаивала, чтобы я прямо из больницы ехала в специальный послеинфарктный санаторий. Я и не подумаю. Отсюда на Ордынку. Пока не повидаюсь со всеми друзьями, не уеду ни в какой санаторий.

Из хроники Лидии Чуковской

23 января 1966

Я спросила, что говорят врачи, скоро ее выпишут из больницы и куда она после больницы отправится.

– Выпишут меня скоро. Уже научилась ходить, требуют, чтобы я ни в коем случае после больницы никуда не ехала, кроме специализированного санатория. Сразу. А я поеду на Ордынку.

5 **марта 1966 года, вечер**

– Мама! Случилось ужасное несчастье. Сегодня утром в Домодедово умерла Анна Андреевна.

В санаторной библиотеке в связи с моими расспросами вспомнили о давно ушедшем на пенсию враче Маргарите Юзиковне Ваганьянц, на руках которой умерла Ахматова: «Если вам это важно, можем дать адрес и телефон, но вряд ли она вас примет, ей много лет, тяжело болеет. Да и все ли помнит, столько времени прошло…».

Позвонил и услышал приглушенный, интеллигентный женский голос: «Журналист? Рассказать об Ахматовой? Ну, что ж, приходите, когда вам удобно…».

Рассказ Маргариты Юзиковны Ваганьянц

– Я 23-го года рождения и училась в школе, когда изучали Демьяна Бедного и Маяковского, а Пушкина и Лермонтова «проходили» как бы вскользь. А я тем более мало что знала, так как училась в Махачкале, это значит: летом – море, зимой – школа. Стала врачом, и судьба забросила меня сюда, в этот санаторий. У нас в основном отдыхают здоровые приезжающие, что называется, на своих ногах. Но, бывало, присылали больных из кремлевских поликлиник, это были высокие начальники, капризные, требовательные.

3 марта мне позвонила старшая сестра и сказала, что привезли из Боткинской больницы пациентку Ахматову. Сестра тоже не знала, кто это такая: Ахматова и Ахматова. Мой кабинет лечащего врача находился на первом этаже, я вышла встретить поступившую, мне сказали – очень тяжелая. Наш санаторий занимался и больными, перенесшими два-три инфаркта, со всякими осложнениями…

И вот я вижу: не идет, а шествует седая грузная женщина. Меня поразила ее осанка – царственная, королевская. Обычно старушки ходят как-то приземленно, смотрят вниз, а тут медленно идет пожилая дама со слегка приподнятой головой, с какой-то особенной статью.

Но когда она подошла поближе, я сразу подумала: «Боже мой, зачем же ее прислали? Да еще из Боткинской больницы. Ведь там очень хорошие врачи, неужели они не поняли, что это крайне тяжелая больная?» Ахматова, как потом выяснилось, перенесла уже три или четыре инфаркта.

Я встретила пациентку, представилась, проводила в палату № 132, пригласила располагаться, отдохнуть с дороги. Через полчаса пришла осмотреть. И все это время меня не покидало чувство тревоги – уж очень она была тяжела: бледное лицо, синие губы, синий кончик носа, синие уши и вид изможденный, дышала крайне тяжело. Это была явно стационарная больная, а не санаторная. Как же могли ее выпустить из московской больницы, отпустить без присмотра врача? Привезли же Анну Ахматову на 24 дня.

Первая беседа, обычные вопросы о самочувствии. Она стала жаловаться, но немного, я бы сказала: интеллигентно немного. Так что долго я ее не расспрашивала. Иногда, знаете, бывает, смотришь на тяжелого больного и думаешь: Господи, помоги, чтобы он уехал отсюда на своих ногах. Тот день, 3 марта, прошел спокойно. Я назначила ей, конечно же, постельный режим,

питание в палате и медикаментозную терапию. 4 марта у меня был выходной, и я с больной не общалась, за ней следил дежурный врач. Но она его не вызывала.

Когда 5 марта я вышла на работу, мне ничего особенного не сказали. Все было спокойно. И вот я делаю утренний обход, сначала, как водится, захожу к тяжелобольным. Зашла к Анне Андреевне.

Чувствовала она себя более или менее нормально, сидела в кровати, высоко в подушках. Я померила ей пульс, давление, послушала, расспросила. Все ничего… Думаю, зайду еще раз попозже, накануне ей делали электрокардиограмму, надо посмотреть, что там. Только я поднялась на второй этаж, где врачи собирались в кабинете слушать доклад дежурного доктора, вижу: бежит дежурная сестра – скорей, скорей, Ахматовой плохо! Мы с заведующим отделением бегом вниз, сестры за нами. У пациентки резко повысилось давление. Стали внутривенно вводить нужные препараты, чтобы его снизить, снять сердечные боли. Но это не помогло, все наши действия уже не дали результата: Ахматова умерла.

Смерть всегда потрясает. Да еще если она приходит к больному на твоих глазах, на твоих руках. У Ахматовой случился очередной инфаркт. Виноват тот доктор, который разрешил ей ехать в санаторий. Он поступил легкомысленно. Тем более что 1 марта Анна Андреевна чувствовала себя очень плохо. Если бы ее состояние было хоть чуть-чуть полегче, мы бы, может быть, и смогли поставить ее на ноги.

…У Ахматовой на шее был красивый крест, отправлять в морг с этим крестом нельзя, его тут же украдут. Такой крупный, серебряный, с чем-то голубым – красивый крест. Посоветовавшись с Ниной Антоновной Ольшевской (близкая подруга А. Ахматовой, мать А. Баталова. – Ф. М.) – они приехали в санаторий вместе – мы его сняли и отдали родственнице, которую сразу вызвали, – Анне Каминской.

Тело Ахматовой два часа находилось в палате. Так полагается. Потом к запасному выходу подошла машина, и потихоньку, чтобы не видели больные, охранники занесли усопшую в морг. Вы знаете, когда кто-то у нас умирает, весь персонал пребывает в состоянии тихой истерики. Больных тревожит случившееся, ведь все старые, больные. Поэтому тело Анны Андреевны вынесли из здания тихо, пока шел завтрак.

– Маргарита Юзиковна, приезжали в санаторий в связи со случившимся какие-то официальные лица?

– Нет, что вы.

2002

Глава 2. Мария Ковригина; женщина-министр

«Это чистая правда, не улыбайтесь!»

Так вышло, что с 1967 по 1970 год я жил в городе Кургане. Работал в областной партийной газете «Советское Зауралье», регулярно публиковал интервью с известными в стране курганцами. С теми, кто жил в тех краях, и с теми, кто, уехав, получил всесоюзную известность. Среди них – знаменитый хирург-ортопед Гавриил Абрамович Илизаров, к которому на лечение приезжали больные со всех концов света (среди его пациентов были Дмитрий Шостакович, Валерий Брумель); полевод-опытник, дважды Герой Социалистического Труда, любимец партийной верхушки Кремля Терентий Семенович Мальцев; популярный поэт Сергей Васильев, отец актрисы Екатерины Васильевой; автор исторических романов Алексей Югов…

На втором году своего пребывания в этих краях я узнал, что в Москве живет и работает в должности ректора Центрального института усовершенствования врачей бывшая при Сталине министром здравоохранения СССР Мария Дмитриевна Ковригина, родившаяся в Зауралье. Загорелся желанием взять у нее интервью. В курганском музее навел кое-какие справки о биографии легендарной женщины. Правда, скупые сведения мало удовлетворили. А людей, знавших Марию Дмитриевну, я в Кургане не нашел. Ведь она покинула город еще в конце двадцатых годов.

Приехав в Москву, отправился в институт усовершенствования врачей, располагавшийся в районе Красной Пресни, напротив высотки. Предварительно связался с Марией Дмитриевной по телефону, попросил, чтобы она подготовила для меня автобиографию. Привожу сухой анкетный рескрипт, подписанный бывшим сталинским министром. Он – примечательный документ своего времени.

Автобиография

Я, Ковригина Мария Дмитриевна, родилась 6 июля 1910 г. в с. Троицкое Катайского района Курганской области, в крестьянской семье.

В период с 1918 по 1924 г. окончила 6 классов школы-семилетки. Наряду с учебой, как и все крестьянские дети, выполняла посильную работу в хозяйстве отца.

В 1924 году вступила в члены Ленинского комсомола. В 1926–1927 гг. работала в райкомах ВЛКСМ с. Катайска и г. Долматово Курганской области в должности председателя районного бюро Юных Пионеров. Ушла с этой работы по состоянию здоровья.

С декабря 1929 г. по январь 1931 г. была членом правления с/хоз. артели «Боец».

В январе 1931 г., по рекомендации комсомола, поступила на 3 курс медицинского рабфака г. Свердловска. В том же году была принята в медицинский институт, который окончила в 1936 г.

По путевке Наркомздрава направлена в городскую больницу г. Челябинска на работу врачом-ординатором, но руководством Облздравотдела оставлена в аппарате на должности лечебного инспектора и замначальника леч-проф, где проработала до февраля 1940 г.

С октября 1939 г. по июль 1941 г., после окончания курсов в Казанском институте усовершенствования врачей имени В. И. Ленина, работала по совместительству в городской больнице врачом-невропатологом.

С февраля 1940 г. по июль 1941 г. находилась на партийной работе в аппарате Областного комитета КПСС, а с июля 1941 г. по сентябрь 1942 г. работала зампредседателя Челябинского Областного совета депутатов трудящихся.

С сентября 1942 г. по декабрь 1950 г. работала в Наркомздраве СССР в должности заместителя наркома по вопросам охраны здоровья детей и женщин.

С декабря 1950 г. по январь 1953 г. работала в Министерстве здравоохранения РСФСР в должности министра. С января 1953 г. до марта 1954 г. работала в должности первого заместителя министра здравоохранения СССР, а с марта 1954 г. по январь 1959 г. в должности министра.

С апреля 1959 г. по настоящее время работаю в Центральном ордена Ленина институте усовершенствования врачей в должности ректора.

В рядах Ленинского комсомола состояла 12 лет с 1924 по

1936 г. В коммунистической партии состою более 36 лет, с декабря 1931 г. На XIX и XX съездах КПСС избиралась членом Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза.

Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР (1951–1955), депутатом Верховного Совета СССР (1954–1958). В настоящее время являюсь депутатом Московского Городского совета депутатов трудящихся.

Неоднократно избиралась членом Исполкома СОКК и КП СССР; членом Пленума ЦК профсоюза медицинских работников. Награждена: орденом Ленина, двумя Трудового Красного знамени, орденом «Знак Почета» и 5 медалями.

Президент Польской Народной Республики наградил Командорским крестом ордена Возрождения Польши.

Имею почетное звание Заслуженный врач РСФСР.

Неоднократно бывала в служебных командировках в ряде стран (Франция, Швейцария, Венгрия, ГДР, Индия, КНР, Польша, Румыния, Чехословакия, Бельгия, Италия, Тунис, Болгария). Опубликовала более 90 научных работ по вопросам организации здравоохранения.

М. Д. Ковригина

31/III 69

Жизнь настоящего врача должна быть подвигом

Перед читателем текст моей беседы с М. Д. Ковригиной, выправленный ею и подписанный на каждой странице.

– Что значат для вас воспоминания о вашей комсомольской юности?

– Это самые милые, самые дорогие моему сердцу воспоминания. Сейчас мои комсомольские годы представляются необыкновенно бурным, стремительным потоком, который не мог быть остановлен ни на один день, ни на один час.

Ты молод, здоров и тебе до всего есть дело, ты не можешь стоять в стороне, оставаться равнодушным. Ты смел (и даже немного самонадеян), и тебе кажется, что ты сможешь приложить свои силы в любом деле. И все ты делаешь не по чьему-то приказу или в силу какой-то дисциплины. Нет. Ты просто не можешь не делать, не можешь, не умеешь стоять в стороне. Это то же самое, как то, что человек не может существовать без воздуха, без пищи, без воды – это естественная потребность, это сама жизнь.

Сколько же у нас было совершенно неотложных дел?! Ликвидация безграмотности, распространение государственных займов, хлебозаготовки, борьба с кулаками, организация сельскохозяйственных артелей (а сначала коммуну организовали, долгом своим считали вступить в нее первыми, а родители не хотят – о, все это было непросто!).

Мы организовывали избы-читальни, первые детские сады и ясли, субботники. Учились в кружках политграмоты и одновременно учили этой важной грамоте других.

Надо было отвлекать молодежь от пьянки, хулиганства, занимать их досуг. Мы организовали самодеятельный молодежный ансамбль под названием «Красная рубаха» (в городе была «Синяя блуза», у нас же в деревне и свое название, и свое содержание, боевое, на местном материале, с острой, зубастой критикой). В «Красной рубахе» успешно выступали, раскрывая свои природные таланты, еще малограмотные батраки и батрачки. Чтобы привлечь в комсомол девушек, искали новые формы работы, которые были близки им. Так возникали «красные посиделки», «вечера молодых прях».

Я была тогда членом бюро Катайского райкома комсомола многих составов. Кто, как не районный комсомольский актив, должен был решения нашей коммунистической партии и советского правительства доводить до народа, до самых

отдаленных сел и деревень?!

– Что запомнили вы на всю жизнь?

– Лето 1929 года. Китайская военщина при поддержке империалистических держав пробует крепость наших дальневосточных границ, разгорается военный конфликт на КВЖД. Как и все советские люди, мы, комсомольцы Катайского района, разгневаны, возмущены. Каждый готов защитить свою Родину. Срочно организовываем кружки по изучению винтовки, пулемета, устава Красной Армии.

Решаем поднять по боевой тревоге комсомольцев Катайска. О том, что это только «игра», знаем всего лишь трое. Извещаем комсомольцев: завтра явиться на станцию, к поезду, идущему на восток, едем защищать Родину. С собой взять кроме комсомольского билета смену белья, питание на двое суток, чашку, ложку, кружку. Домашним и никому другому ничего не говорить, а оставить короткую записку: «Уехал защищать Родину». За час-полтора до прихода поезда мы все, кому было сказано, явились на станцию с заплечными мешками и котомками. Внешне каждый старался казаться спокойным, скрыть свое душевное волнение, но выдавали лица: сосредоточенные, бледные, и глаза, которые вдруг у всех стали очень серьезными и строгими.

Через нашу станцию дальневосточный поезд проходил ранним утром, на рассвете. Вот он показался слева из-за сосен. Мы выстроились на перроне, ждем. Станция наша небольшая, поезда на ней стоят недолго. И вот уже свисток, поезд медленно отходит. Мы расходимся по домам и, первое, что мы делаем, – уничтожаем свои «прощальные» письма. Их никто не читал, наши родные еще только начинают просыпаться.

На всех нас эта «боевая тревога» произвела огромное впечатление. За одну короткую летнюю ночь и это ясное утро мы как-то сразу выросли и очень повзрослели.

– Почти вся ваша жизнь связана с медициной. Какими чертами характера должен обладать молодой человек, чтобы стать настоящим врачом?

– Настоящим врачом, на мой взгляд, может быть не всякий молодой человек или девушка. Скажу больше – не все, окончившие медицинские институты и имеющие врачебные дипломы, могут считаться настоящими врачами.

Настоящий врач тот, кто больше жизни любит объект своей работы – Человека. Любит до самозабвения, до самопожертвования. Тот, кто способен ежедневно, ежечасно, несмотря ни на что, вступать в борьбу за спасение человека.

Жизнь-работа (это в моем представлении неразрывное

понятие) настоящего врача – подвиг. А ведь не каждый способен на ежедневный подвиг.

Если у врача есть это главное понимание своего долга, своей профессии – всего остального он достигнет, добьется сам. Под «остальным» я подразумеваю, прежде всего, – постоянную, непрерывную работу над повышением своих профессиональных знаний, умений и мастерства.

– Ваши пожелания молодежи – своим землякам?

– Прежде всего встретить великий Ленинский юбилей (следующий, 1970-й, был годом столетнего юбилея В. И. Ленина. – Ф. М.) большими трудовыми подарками. Ведь Владимир Ильич органически не переносил словесную шелуху, пустословие, «звон» приветствий.

От всего сердца желаю замечательных успехов в работе, учебе, во всей вашей многогранной жизни, чтобы Владимир Ильич, будь он сейчас с нами, мог сказать: «Молодцы, ребята, спасибо вам большое».

– Если бы случилось чудо и ваша жизнь началась с начала, как бы вы ее прожили?

– Очевидно, так же, как и эту первую. Готова повторить все с начала, ни от чего не отказываясь. Ни от радостей, которые дарила мне нелегкая, всегда в труде и дороге, жизнь; ни от горестей и разочарований, которые встречались на моем пути в немалом количестве.

1969

Что называется, каковы вопросы, таковы и ответы. Ведь и я, молодой журналист, и сталинский министр Мария Ковригина жили в одно время, в одну эпоху, пребывали – каждый по-своему – в сплошной «запретной зоне». Даже если бы я знал об одном из самых сильных ходов ее профессиональной медицинской деятельности на посту министра здравоохранения великой атомной державы, я бы все равно об этом ее не спросил. А если бы спросил, она бы не ответила, а если бы ответила, в газете бы не напечатали…

Малоизвестная деятельность Марии Ковригиной

Из документов, хранящихся в музеях Курганской и Челябинской областей, можно узнать и более подробную биографию, малоизвестные и даже засекреченные (!) до недавних пор некоторые принципиальные моменты жизни и работы Марии Ковригиной.

Именно М. Д. Ковригина 1 ноября 1955 года отменила запрет на аборты, действовавший с 1936 года. Снятие запрета, из-за которого женщины нередко шли к «бабкам» и калечили себя, дало возможность им самим решать свою судьбу. Немногие знают, что в тридцатые годы аборт был платным. Стоил он 50 рублей при средней зарплате в 80. После введения запрета на аборт интимная жизнь женщины стала делом общественным. На предприятиях и в домовых комитетах состояли люди, в обязанность которых входило уведомлять компетентные органы о беременности сотрудниц или домохозяек на ранних сроках, дабы предотвратить попытки прервать беременность.

Женщины боялись поделиться своими проблемами даже с мужьями. Врачи же, оказывавшие медицинскую помощь не желавшим рожать, оказывались в лагерях. Эту ситуацию и пыталась изменить Ковригина, одолевшая всех противников своего революционного решения, включая Хрущева. Поговаривали, что Никита Сергеевич побаивался своего министра, дружившего аж с бельгийской королевой.

Именно при М. Д. Ковригиной стали внедрять донорство, объединили детские сады и ясли в одну систему и увеличили декретный отпуск с 27 до 112 дней.

В 1942 году члена правительства Марию Ковригину подселили в пятикомнатную квартиру Анны Аллилуевой, старшей сестры жены Сталина. Мария Дмитриевна, чтобы не стеснять хозяйку и ее родственников, обустроилась с дочками в кладовке. Переехать от Аллилуевых, живших в знаменитом Доме на набережной, в другое жилье Ковригину вынудил сын Сталина. Пьяный Василий постоянно устраивал ночные сабантуи с матом и битьем посуды.

Ковригина не боялась выражать свою точку зрения в ЦК, Совмине и даже на сессии Верховного Совета СССР на замалчиваемую проблему туберкулеза в стране (и в частности в лагерях). Она первой обнародовала статистику о тысяче с лишним погибших от лучевой болезни в результате ядерных

испытаний. Повторю, что до недавнего времени некоторая информация о ее деятельности была засекречена.

В 1959 году терпение Никиты Хрущева лопнуло: Марию Дмитриевну сначала лишили доступа к данным Госстата, а затем и вовсе сняли с должности.

Строптивого министра перевели в директора рядового института усовершенствования врачей, где она проработала почти до самой смерти. У этой по-русски красивой женщины личная судьба не сложилась, она ни разу не была замужем, но воспитала двух приемных дочерей (одна из них стала известной художницей).

Умерла М. Д. Ковригина в 1984 году. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

Глава 3. Визиты к «железной старухе» Мариэтте Шагинян

«Вот так мы жили в те непредсказуемые времена…»

Творчество широко известной советской писательницы Мариэтты Шагинян, книги которой выходили огромными тиражами, если честно, меня мало интересовало. Конечно, в моей коллекции была ее первая стихотворная книга под названием «Первые встречи», вышедшая в 1909 году тиражом 1000 экземпляров. Читал я и ее сочинение «Месс-Менд» – этакий, если говорить современным языком, политический детектив. Всякие же прочие ее ленинские биографические штудии меня не волновали. Знал, конечно, что Мариэтта Шагинян слыла легендарной личностью в московской творческой среде. Глухая, полуслепая, с решительным сильным характером, она не боялась союзписательского начальства, не соглашаясь с их критическими замечаниями о ее творчестве. Ходили слухи, что при необходимости она пользовалась своим недугом: когда ей что-то не нравилось в разговорах с руководством СП, а то и ЦК, она попросту отключала слуховой аппарат… Широко распространилась сочиненная поэтом Михаилом Дудиным едкая эпиграмма:

Железная старуха Мариэтта Шагинян —
Искусственное ухо рабочих и крестьян.

Она была человеком высокой культуры, дружила со многими поэтами и писателями – Гиппиус и Мережковским, Блоком и Брюсовым, Соллогубом и Цветаевой, близко знала Рахманинова. Пережила страшные разломы XX века, не раз бывала на краю жизненной, социальной пропасти. Все биографы отмечали ее поразительную творческую активность. Ведь она продолжала писать, когда уже не могла прочесть написанного: буквы набегали на буквы, слова на слова, строчка на строчку. Но писала. Что не нравилось, выбрасывала в корзину и снова писала набело.

Мариэтта Шагинян умерла в 1982 году. Некролог, подписанный членами Политбюро и ведущими писателями того времени, напечатали все центральные газеты. Похоронили ее на Ваганьковском кладбище.

Незадолго до смерти Мариэтта Сергеевна сказала, что на ее ладони лежит столетие. Наверное, она имела в виду, что пропустила через себя весь XX век. Но, к сожалению, время беспощадно. Я уверен, что многие молодые читатели эпохи Интернета и черепашек-ниндзя абсолютно не имеют представления о дотошном исследователе биографий вождя революции и его соратников. На моей книжной полке хранятся только ее первая книга стихов, семисотстраничный автобиографический том под названием «Человек и время» с подзаголовком «История человеческого становления» и вышедшая в 1981 году книга очерков и статей последних лет ее жизни, в которую включено и мое интервью с писательницей.

Первая встреча с «Железным ухом России»

1975 год. Собираясь к Мариэтте Сергеевне, чтобы расспросить ее о Блоке (журнал «Огонек» готовил юбилейный номер, посвященный поэту), я взял с собой своего друга Вячеслава Аванесова, курганского журналиста, оказавшегося в это время в Москве. Связаться с писательницей было невозможно – из-за своей глухоты к телефону она не подходила, а по необходимости звонила сама. Мы поехали в Переделкино, где она жила, на удачу: застанем так застанем.

Долго стояли у запертой калитки высокого забора. На наше счастье, мимо проходила почтальонша, она-то и посоветовала дернуть за веревочку. Мы так и сделали.

До парадного крыльца метров двадцать. Подойдя, я толкнул дверь и вошел в дом. «Железное ухо России», как в литературных кругах звали Шагинян, встретила нас не очень дружелюбно: «Кто вы и зачем пришли?» Я сказал, что приехал по заданию журнала, чтобы подготовить материал о Блоке, с которым Мариэтта Сергеевна, как известно, была знакома. «Я о Блоке уже все рассказала, – отрезала она. – Больше сказать нечего».

И неожиданно задала вопрос, который не имел никакого отношения к предмету моего визита: «Скажите, правда, что Ефремов ставит „Целину“ Брежнева?»

Так началось наше совместное общение, во время которого она поведала о многом.

Мариэтта Сергеевна рассказывала, как жила при Сталине, об арестах 37-го года, обиженно заметила, что в 40-е о ней забыли, перестали издавать книги, не заказывали статей. А ведь надо было на что-то жить. И вдруг звонок Сталина: «Мариэтта Сергеевна, почему не пишете?» – «Меня не печатают, Иосиф Виссарионович, – ответила она. – Почему – не знаю». – «Хорошо, я разберусь», – вождь положил трубку.

На следующее же утро писательнице стали звонить из всех газет и издательств.

Кстати, позже из книги известного писателя Аркадия Ваксберга «Из ада в рай и обратно» я узнал о причине «наказания» Шагинян. Дело в том, что она наткнулась на материалы о еврейских корнях Ленина и, претендуя на роль первооткрывательницы партийных секретов, намекнула об этом в своей книге о семье Ульяновых, вышедшей в середине 30-х годов. Заодно сообщила, что в жилах Ленина фактически не было русской крови: предками вождя были немцы и шведы (по материнской линии) и калмыки и чуваши (по отцу). «Открытие»

писательницы вызвало гнев Сталина. Книга подверглась жесточайшему осуждению, и ее изъяли из продажи и библиотек. Руководству Союза писателей СССР было поручено обсудить поступок писательницы, которая «применила псевдонаучные методы исследования так называемой родословной Ленина».

…Рассказала, как отпевали Блока. Любовь Дмитриевна Менделеева[2] позволила ей провести ночь у гроба Александра Александровича. Шагинян читала молитвы, а под утро ей пришла мысль отрезать прядь волос поэта и взять одну розу из погребального венка. Позже она наложила их на графический набросок с умершего Александра Блока, сделанный по ее просьбе, и закрыла рамку стеклом. Мне очень хотелось взглянуть на эти реликвии, но хозяйка не пригласила нас на второй этаж, где они хранились.

Шагинян знала многих видных писателей и поэтов 20-х годов, и я спросил ее о Марине Цветаевой. Биография этой великой поэтессы в 70-е годы была малоизвестна. Ответила собеседница решительным утверждением, что, если бы в 41-м году Марина Ивановна уехала вместе с ней в эвакуацию на Урал, то осталась бы жива. «Одной-то ведь всегда тяжело», – вздохнула Шагинян. Рассказывала она и об истории своей дачи, обижалась на ближайшего соседа – редактора «Литературной газеты» Александра Чаковского, который хоть и жил рядом, к ней не заходил. А она мечтала именно на даче создать свой музей – музей глухого, полуслепого писателя. Мне показалось, что Мариэтте Сергеевне просто хотелось обычного человеческого внимания, тем более со стороны Союза писателей СССР, со стороны собратьев по перу.

Надо сказать, что Шагинян не разрешила записывать наш разговор на бумагу. «А то журналисты со мной поговорят, а потом публикуют интервью, не показав мне». Нас удивила память почти девяностолетней писательницы, которая в мельчайших подробностях помнила многое из того, что выпало ей пережить. Узнав, что мой друг из Кургана, заговорила о Терентии Мальцеве, знаменитом на всю страну полеводе, и спросила, как он себя чувствует, ведь ей известно, что ему когда-то сделали операцию на глазах. Поинтересовалась и Гавриилом Илизаровым, назвав его «гениальным костоправом».

…И тут послышались шаги. Оказалось, что из столовой переделкинского Дома творчества принесли обед. Автор советских культовых произведений ленинианы известила, что поделиться с нами не может – самой мало (шутка!). Тут же вспомнила о своем коте, которого она так обильно кормила, что

его живот распух. Потом оказалось, что это был не кот, а забеременевшая кошка.

У Мариэтты Сергеевны мы просидели до вечера. Темнело. Моему приятелю очень хотелось получить ее автограф. Книги Шагинян у него не оказалось, и писательница вывела на листке бумаги: «Товарищу Аванесову на память о переделкинской встрече. М. Шагинян».

Две Мариэтты Шагинян

С Мариэттой Шагинян я встречался еще несколько раз – и на даче, и в ее московской квартире на первом этаже дома № 23 по Красноармейской улице. Хочу отметить, что передо мной представали два человека – две Мариэтты Сергеевны. Одна – приветливая, обходительная, внимательная (на даче угощала блинами, горячим чаем и вареньем; а однажды зимним морозным утром, когда я собирался к ней в Переделкино, позвонила и предупредила взявшую трубку жену, что мне надо теплее одеться; расспрашивала о моем маленьком сыне), другая – вспыльчивая, гневливая (вычитывая в рабочем кабинете приготовленный мной к печати текст интервью, в котором, по ее мнению, я не точно выразил ее мысль, запустила в меня чернильницей-непроливайкой; ворчала, что не позвали на какой-то писательский пленум)…

Письмо Мэру Лужкову

Хочу здесь сказать о драматических судьбах личных архивов, библиотек и коллекций. Как библиофил я знаю, что происходит почти всегда (за редким счастливым исключением) с духовными ценностями, собранными и хранимыми увлеченными людьми, после смерти владельцев.

В 1993 году ко мне обратился один из наследников Мариэтты Шагинян с просьбой посоветовать, что делать с доставшимся ему архивом. На кухне, за чашкой чая, буднично перечислил содержание литературного наследия писательницы: письма поэтов, музыкантов, политиков, революционеров, персон, близких к Ленину и Сталину, т. е. «всю Шагинян», все, что было ее жизнью… Даже письмо самого Иосифа Виссарионовича…

Мне пришла в голову сложная комбинация: найти мецената, который купил бы уникальное собрание документов и потом в качестве подарка предложил архив мэру Москвы Юрию Лужкову для передачи в один из московских музеев.

В моих бумагах сохранился черновик письма, которое я составил для наследника. Вот его фрагменты:

«Знаменитая советская писательница, лауреат Ленинской и Государственной премий Мариэтта Сергеевна Шагинян оставила после своей смерти в 1982 году огромный архив: письма, фотографии, книги, личные вещи, имеющие мемориальное значение. Шагинян работала в литературе более восьмидесяти лет, общалась с сотнями своих современников, писателями, учеными, композиторами, общественными деятелями. Ее переписка безусловно имеет историческое, литературное, эстетическое значение. Ведь перед писательницей прошел почти весь XX век. Она общалась и дружила с Сергеем Рахманиновым и Михаилом Зощенко, Мариной Цветаевой и Дмитрием Шостаковичем, Анной Ахматовой и Андреем Белым, Борисом Пильняком и Александром Блоком, Арамом Хачатуряном и Аркадием Райкиным, Ильей Сельвинским и Владиславом Ходасевичем, Михаилом Шолоховым и Максимом Горьким, Федором Раскольниковым и Зинаидой Райх, со Сталиным и Орджоникидзе… Наследники писательницы хотят продать этот бесценный архив.

Он может быть пущен с аукциона или распродан по частям, чем нарушится поистине уникальный памятник слова и слову. Найти покупателя, который заплатит запрашиваемую сумму, пока не удалось. Обидно и горько. Последнее десятилетие нашего существования научило нас перешагивать через потери.

Между тем есть возможность сохранить этот неповторимый мемориал. Если найдется меценат, который купит архив, не мог бы мэр Москвы принять этот бесценный подарок и вручить его одному из московских музеев?»

Не знаю, что стало с архивом Шагинян. Я же приобрел лишь письмо к ней Иосифа Сталина.

Глава 4. Клавдия Шульженко: она отказалась петь для Сталина

Такие, как она, рождаются раз в полвека. Ее славу, всенародную любовь к ней сотворили не «фабрики звезд», не телестудии. Она ковала свой талант не на напыщенных сценах среди безголосых певичек, а в холодных рабочих клубах и под открытым небом. Свою карьеру начинала в Харьковском театре вместе с Исааком Дунаевским и Иваном Козловским. Там же ей посчастливилось слышать чарующее пение великой Плевицкой и громыхающий голос Маяковского.

Она и сама стала легендой русского искусства. В Харькове давно открыт музей певицы, ей поставлен памятник.

Внучки – о великой народной певице

Однажды, перебирая архив, я наткнулся на фотографию Клавдии Ивановны Шульженко с автографом и три листочка текста – взятое у великой певицы интервью, по каким-то причинам не напечатанное. Вспомнил, что познакомился с ней в 1976-м году как библиофил, коллекционер автографов. Так вышло, что мы вместе выступали во Дворце культуры крупного московского завода. Клавдия Ивановна пела, а я рассказывал о своих книжных редкостях. После концерта я получил от певицы интервью и фотографию с автографом. На одном из листочков с записью интервью – телефон. А если позвонить?.. Мысль мистически-хулиганская. Зачем? Но журналистское чутье подсказало: звони. Набираю: 151-08-… Простите, это квартира Клавдии Ивановны Шульженко?

– Да.

– Это журналист Феликс Медведев. А с кем я говорю?

– С ее внучкой Лизой.

…В квартире на улице Усиевича я беседовал с внучками великой певицы – Верой, Лизой и правнучкой Машей.

– Из этой квартиры ее увезли в июне 1984 года в клинику на Открытом шоссе. Сюда она больше не вернулась. В этом доме, в этих стенах небольшой, как видите, двухкомнатной квартиры она прожила почти 30 лет. Ей, правда, предлагали квартиру на улице Горького, четырехкомнатную, просторную, но она отказалась. «Меня устраивает и эта, здесь все меня знают, мне здесь тепло», – говорила она. И попросила, чтобы жилье отдали сыну, Игорю Владимировичу, нашему отцу. По семейной легенде, при встрече с Брежневым на каком-то концерте в Новороссийске она решилась намекнуть ему о квартире – и результат вскоре обнаружился.

Когда она умирала, рядом были ее сын, мы, ее внучки, правнучка и ее первая невестка – наша мама. Постоянно приходили поклонники, очень часто навещала Ольга Воронец, которая жила в этом же подъезде.

Некоторые считают, что смерть великой народной певицы предвестила распад великой империи. Некролог в «Правде» подписал Черненко.

Похоронили мы бабушку на Новодевичьем кладбище. Рядом лежат Петр Леонидович Капица, Мария Ивановна Бабанова.

– В народе разное говорят о Бусе (так мы звали ее дома): и

что мужей меняла, и что богатой была. На самом же деле единственным на всю жизнь и мужем, и другом Клавдии Ивановны был Владимир Филиппович Коралли. Да, развелась с ним, да, гражданским браком позднее жила с Георгием Кузьмичом Епифановым, да, были поклонники, сулившие златые горы (один из «предновых русских» обещал построить ей дворец), но с Коралли слишком много было связано: и начало, и взлет артистической карьеры, и любимый сын.

Была ли богатой? Ни машины, ни картин, ни злата-серебра. Если бы дожила до перестроечных и тем более до нынешних времен (сами понимаете, это звучит, как сказка), то да, стала бы настоящей миллионершей. А по тем временам, что ж… Получала гроши. На сберкнижке ничего не осталось. Когда стала народной, повысили Бусе концертную ставку, она получала за «сольник» 200 рублей, вроде бы немало, но все уходило на гостей, на подарки друзьям, нам, внучкам. Женщина она была добрая и щедрая. Не любила пребывать в квартире в одиночестве. И при всей скромности всегда накрывала стол для гостей, встречая их в красивых и, наверное, недешевых одеждах. На 70-летие Клавдии Ивановны платье пошил знаменитый уже тогда Слава Зайцев. Нынче оно хранится в музее Шульженко в Харькове.

Сплетничают, что пила, не выпускала изо рта сигарету – эдакий жгучий, коварный вамп. Ничего подобного, не выносила курева, но любила, правда, запах вкусных заморских сигар и дорогих папирос; а насчет вина, так мы не помним ни единого случая, чтобы бабушка, что называется, хоть чуть перебрала. Так, в норме, как многие.

– Она не была ни мещанкой, ни обывательницей. Хотя, как и любая женщина, обожала духи, платья, модные одежды. Кажется, на этой почве подружилась с прекрасной певицей Эдитой Пьехой, дамой с безукоризненным вкусом.

Поклонники из разных стран присылали Клавдии Ивановне духи, косметику, бывшую у нас, конечно же, в дефиците. А как надували ее спекулянты и проныры! Она не спрашивала, сколько стоит тот или иной флакон духов, понравившихся ей, платила, сколько говорили. Любимыми духами бабушки были «Мицуко» и «Фам». Вся квартира была уставлена этими духами. Вообще ее дом – это запах вкусной еды и шикарной косметики.

– Почему, спрашиваете, не было заграничных концертов? Были в некоторых соцстранах, а на Запад ни разу не ездила. По нашим предположениям, бабуля числилась невыездной. Чего стоят ее не сложившиеся отношения с министром культуры Фурцевой… Да и характер Клавдии Ивановны был не из легких. Она могла отказать любому, проявляющему навязчивое

внимание. Не пойти на выступление в Кремль, заявив прямо, что нет желания, не тот состав. Опять же по легенде, однажды при Сталине отказалась встречать Новый год в кремлевских хоромах. Так что какие там Франции и Америки?! А приглашения шли. От русской диаспоры, от поклонников. Из Штатов, помним, постоянно приглашали, приезжали за ней в Россию, но вырваться в далекий вояж она не смогла. А с возрастом, когда вроде бы чуть-чуть отпустили вожжи, лететь через океан было уже непросто.

– Буся была неисправимой кошатницей и собачницей. Животных очень любила. По квартире бегали несколько кошек, которые, конечно же, радовали и нас, когда мы гостевали у бабушки. Один случай, связанный с любовью к животным, кажется исключительным. У нее был любимый маленький песик скайтерьер. Сохранилась даже его фотография. Так вот, это беззащитное существо попало под машину, и бабушка погрузилась в самый настоящий траур, отменила даже аншлаговый концерт. Времена были, сами понимаете, крутые, и никакие отклонения в сторону от норм партийно-коллективистской морали не позволялись. А тут из-за собачки – отмена выступления! И в газете появляется фельетон «Кузька в обмороке». Об этом случае тогда, в 50-е годы, конечно же, говорила вся Москва.

– В последние годы перед смертью Клавдия Ивановна все больше любила слушать пластинки с записями своих песен. Слушала, конечно, и любимых исполнителей, классику. Садилась за рояль, музицировала. До последнего дня не могла смириться с тем, что уже не поет. Не теряла надежды распеться, снова ощутить себя молодой, полной сил. Но и силы, и голос, и воля ее оставляли. И вот уже много лет нам скучно и трудно без любимой Буси, нашей бабушки. Великой русской певицы.

2001

«Синий платочек» – это навечно

Интервью из моего архива:

– Клавдия Ивановна, в последнее время вы стали реже выступать на эстраде. Ваши поклонники забеспокоились. Чем объяснить это – возрастом, усталостью или иными причинами?

– Ну что вы, разве сегодняшнюю усталость можно сравнить с той, военной, фронтовой усталостью сорок первого – сорок второго годов, когда приходилось петь по два-три раза в день. Петь в невероятно трудных условиях: в поле, в землянке, в блиндаже под вой и грохот вражеских снарядов и гул самолетов. Вот когда было трудно. Только в первый год войны я выступила в пятистах концертах. Сегодня это кажется чем-то фантастическим, но это правда. Конечно, когда я была моложе и сильнее, крепче была сила воли и духа – предстояла великая борьба с врагом не на жизнь, а на смерть. И я воевала, чем могла, – голосом, песней, словом, призывом к победе.

Вы говорите, усталость… Рассказать вам, что такое настоящая усталость, полное изнеможение? Вы молоды, и вам трудно, быть может, представить, но все-таки: в цехе оборонного завода шло выступление, я начала его приподнято, уверенно, спела первую песню. Сопровождение умолкло. И тут я увидела… аплодисменты. Да-да, я не оговорилась, не услышала, а увидела. Поначалу мне показалось, что я оглохла или что в зале абсолютно отсутствует акустика, но нет, я видела, что люди аплодировали, но аплодисментов-то не слышала. А дело вот в чем: рабочие так устали, что их ладони только касались друг друга.

А как все начиналось – это дела давно минувших дней… Харьков, двадцать третий год. Мне семнадцать лет. Я, как и все девчонки, люблю петь, танцевать, веселиться. Подругам мой голос нравится, они мне говорят: «Попытай счастья, сходи в театр, испытай себя». Вот я и пришла однажды прямо на репетицию, которую вел известный харьковский режиссер, талантливый педагог Николай Николаевич Синельников, которого звали «провинциальным Станиславским». Достаточно сказать, что из-под его крыла вылетели такие птенцы искусства, как Блюменталь-Тамарина, Остужев, Тарханов.

Так вот, первый диалог, который состоялся в стенах театра, куда я пришла по настоянию подруг, был приблизительно таким:

«Ты к кому, деточка?» – «К вам». – «Что же ты хочешь?» – «Хочу в театр». – «А что ты умеешь делать?» – «Все!» (Общий хохот в репетиционной).

Потом я пела, танцевала, читала. Зачислили меня в труппу, и,

казалось, меня ждала стезя драматической актрисы. Но судьбе было дано распорядиться иначе. В 1928 году я ушла из театра и стала профессиональной певицей. Выступала в кинотеатрах, в парках – как эстрадная исполнительница.

В те годы уйти из театра – это был смелый, рискованный шаг. Эстрада только завоевывала свое место в советском искусстве, еще были живы нравы дореволюционного прошлого, когда певец на сцене воспринимался как дополнение к беззаботному веселью в зале.

Но я сумела найти себя в этом жанре. Много пела, работала и, наконец, поняла, что единственный мой путь в искусстве – это эстрада.

За годы пребывания на сцене я исполнила и вывела в жизнь сотни песен. Но скажу, что не все мне дороги и памятны. Песни-однодневки нужно было исполнять в силу каких-то определенных обстоятельств: в кино, в спектакле, по заявке радиослушателей. Но есть в репертуаре песни, которые прошли со мной через всю жизнь. Они дороги мне, как самые любимые родные дети. Я имею в виду «Вечер на рейде» Соловьева-Седого и поэта Чуркина, «Опустилась ночь над Ленинградом» Тимофеева, Крахта и Жерве, «Руки» Табачникова и Лебедева-Кумача, «Давай закурим» Табачникова и Френкеля, из более молодых – «Вальс о вальсе» Колмановского и Евтушенко, «А снег повалится» Пономаренко и Евтушенко.

– *Ну, а самая, самая любимая?*

– Понимаю, вы хотите, чтобы я назвала «Синий платочек». Да, это так. Песня, с которой я прошла всю войну. И которая сегодня любима всеми.

1976

Глава 5. Варвара Бубнова: великая русская художница

Яркое малиновое пятно на стене

В 1977 году мы с женой приехали в Сухуми, где вместе с бабушкой проводил лето наш двухлетний сын Кирилл.

Случайно от местного поэта Станислава Лакобы (с 2005 по 2009 гг. секретаря Совета безопасности Абхазии) я узнал, что в городе живет художница Варвара Бубнова, приехавшая из… Японии. Конечно, мне захотелось познакомиться с художницей, но чтобы не попасть в неловкую ситуацию, я обратился в местный музей за информацией о Варваре Дмитриевне. Услышанное меня ошеломило…

Две комнатки, обставленные и увешанные картинами, недорогая, можно даже сказать, бедная домашняя утварь. Обратил внимание на крупную полувыцветшую фотографию, висевшую на стене. На ней была изображена красивая молодая дама. Заметив это, Варвара Дмитриевна прокомментировала: «Такой я была давно, а вы знаете, молодой человек, сколько мне лет?» Я пробормотал что-то невнятное.

Передо мной на стуле сидела маленькая, хрупкая интеллигентная старушка с мальчишеской стрижкой, сохранившая яркий блеск глаз и живую русскую речь.

Когда я представился корреспондентом журнала «Огонек», Варвара Дмитриевна заметила, что знает о журнале из разговоров с Александром Трифоновичем Твардовским и его женой Марией Илларионовной, которые были у нее в гостях. «Но вы же не поэт и не писатель… Какова была цель его визита к вам?» – удивился я. «Мы говорили о многом, и Александр Трифонович предложил мне написать для „Нового мира“ мемуары», – пояснила Варвара Дмитриевна. Тогда я, не имея на то никаких полномочий, воскликнул: «Журнал „Огонек“ в каждом номере публикует репродукции картин художников. Вот бы вам у нас напечататься, ведь тираж „Огонька“ миллион экземпляров». Почему-то я не подумал, что наш, тогда официозно-ретроградный, орган печати наверняка не стал бы обнародовать творчество художницы модернистской школы, да еще и недавней эмигрантки. «Я слышал, что вы встречались с Солженицыным». – «Не совсем так. Но о нем мне говорил Твардовский. И после поведанного об Александре Исаевиче я увидела будущее России иным». Больше на эту тему Варвара Дмитриевна ничего не сказала.

Я пробыл у своей новой знакомой около часа. Уже прощаясь, я обратил внимание на яркий, в малиново-рыжих тонах портрет молодой женщины. «Какая красивая акварель! Любопытно, кого вы здесь изобразили?» Варвара Дмитриевна заулыбалась: «Это

сухумская поэтесса. Я рада, что вы обратили внимание на эту немного не завершенную работу». Помолчала и вдруг неожиданно произнесла: «Вы сказали, что любите поэзию… Если хотите, можете приобрести у меня этот портрет. Он стоит недорого».

Я ушел от художницы, пообещав прийти за картиной на другой день. Назавтра, расплатившись с Варварой Дмитриевной и упаковав в просторную сумку ее работу, я вдруг спросил: не может ли она нарисовать портрет моего двухлетнего сына Кирилла, тем более что мы, как оказалось, живем неподалеку… Варвара Дмитриевна не отказала, но предупредила, что сможет это сделать через какое-то время. К великому сожалению, вышло так, что мы с женой вскоре вернулись в Москву, а бабушка постеснялась пойти к известной художнице. Позже Варвара Дмитриевна уехала к сестре в Ленинград, где и скончалась в 1983 году, не дожив несколько месяцев до 97 лет.

По приезде в Москву я, конечно же, у знакомых искусствоведов навел справки о Варваре Бубновой и понял, что судьба подарила мне необыкновенную встречу. Спустя годы после ее смерти, в 2004 году, в Москве и Петербурге с фантастическим успехом прошли выставки работ ставшей наконец известной у себя на родине художницы, были опубликованы монографии о жизни и творчестве.

Уже более тридцати лет я всматриваюсь в яркое малиновое пятно на стене, напоминающее мне о той давней встрече с великой русской художницей XX века.

Из биографии Варвары Бубновой

В 1907–1914 годах училась в Императорской Академии художеств в Петербурге. Однокурсница П. Филонова и Д. Бурлюка, супруга Волдемара Матвея (В. И. Маркова) – одного из создателей «Союза молодежи», в который была принята в один день с В. Татлиным. Член творческих союзов «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Выставлялась вместе с К. Малевичем, В. Маяковским, М. Ларионовым, Д. Бурлюком, Н. Гончаровой, О. Розановой.

С 1917 по 1922 год В. Бубнова работала в Москве в ИНХУКе вместе с В. Кандинским, А. Родченко, В. Степановой, Л. Поповой. С 1923 по 1958 год жила в Японии. Своим творчеством она оказала серьезное влияние на современное изобразительное искусство Японии, была награждена высшей императорской наградой, присуждаемой иностранцам, – Орденом Драгоценной короны. В Японии преимущественно работала в технике черно-белой литографии.

С 1959 по 1979 год В. Бубнова жила в Сухуми, в Абхазии. Здесь создавала яркие и экспрессивные работы, писала статьи по теории живописи и воспоминания. В Сухуми у нее начали появляться ученики.

Так получилось в судьбе художницы, что она стала названой мамой Йоко Оно (сестра Варвары Дмитриевны была замужем за дядей Йоко) – жены мировой рок-звезды Джона Леннона. После возвращения Бубновой на родину одним из первых обратил внимание на ее творчество директор Русского музея в Ленинграде В. Пушкарев.

Выставки Варвары Дмитриевны Бубновой проходят по всей стране, ее работы стали достоянием Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской галереи, Музея искусств народов Востока и многих других собраний.

Глава 6. Новелла Матвеева; менестрель, желавшая лучшей жизни для себя и для других

«От жизни можно уйти только в смерть…»

Наши с поэтессой прогулки по Москве

На всю жизнь запомнился мне номер «Комсомольской правды» от 1 ноября 1959 года с огромной, почти на полосу, публикацией стихов никому еще не известной Новеллы Матвеевой. Это было открытие, сенсация! Явление настоящего поэта. С той поры я завел себе папочку, на которой написал «Новелла Матвеева». В течение долгих лет, примерно до конца 80-х, папка все пополнялась и пополнялась, потому что я старался не пропустить в печати стихов ставшей любимой поэтессы.

Почему до конца 80-х? Да все просто, я об этом говорил уже не раз: открылись границы, и мои журналистские ориентиры переместились в «дальние зарубежья», туда, где доживали свой век соотечественники, покинувшие в «года лихие» Родину.

Новелла Николаевна никогда не пользовалась транспортом для перемещения по городу и крайне редко выходила из дома. Но в памяти остались наши многочасовые пешие переходы из проезда Художественного театра (ныне Камергерский переулок), где они жили с Иваном Семеновичем[3], в какой-нибудь заводской клуб или библиотеку, где я от имени общества книголюбов проводил литературные встречи. Было это в конце 70-х. Возможно, со стороны наша группа казалась странной: медленно вышагивающие люди, аккуратно останавливающиеся перед каждым красным сигналом светофора и темпераментно на ходу ведущие интеллектуальные беседы. Иван Семенович читал стихи: и свои, и Новеллы Николаевны, рассуждал о поэзии, о классической литературе. Время от времени мне приходилось их деликатно поторапливать, потому что передвигались мы исключительно пешком и рассчитать время в пути было весьма трудно. А нас ждали читатели – любители поэзии. Хочу заметить, что супруги, как мне виделось, хорошо знали историю Москвы: поправляя друг друга, что-то уточняя, они рассказывали историю того или иного храма, обветшалого строения, встречающегося по пути, комментировали памятные доски на зданиях…

Помню их небольшую квартиру в писательском подъезде дома в самом центре Москвы, полученную в результате ходатайств Союза писателей. В этом доме жили в свое время Михаил Светлов, Николай Асеев, Лидия Сейфуллина.

Повсюду, куда можно было что-то положить или поставить, лежали и стояли книги: собрания сочинений русских и иностранных классиков, тоненькие поэтические сборники, ну и, конечно же, рукописи двух активно работающих в литературе поэтов.

Хочу сказать, что жизнь Новеллы Матвеевой сложилась нелегко. В раннем детстве она тяжело заболела. Жизненные впечатления она получала в основном из окна больницы, зато много и жадно читала, раздумывая над тем, что узнавала из книг. Перечувствованное наедине с собой удивительно ярко отразилось в первой книге «Лирика», вышедшей в 1961 году (этот раритет с автографом автора сохранился в моей библиотеке). О творчестве молодой поэтессы сразу же заговорили.

Вспоминаю, что наши беседы с Новеллой Николаевной я записывал на свой первый в жизни диктофон. Однажды я сказал главному редактору «Литературной России» об этих записях, и он с воодушевлением попросил меня подготовить для публикации развернутое интервью с Новеллой Матвеевой. Она в то время была очень популярной. Многим полюбились ее искренние стихи и нежные песни, которые она исполняла под гитару своим завораживающим, почти детским голосом («Любви моей ты боялся зря…», «Какой большой ветер…», «Развеселые цыгане»).

Нашу беседу опубликовали, и я даже стал лауреатом премии года (1978) авторитетной писательской газеты.

Привожу отрывки из этого интервью.

«Песнь о Гайавате» я знала еще в предыдущей жизни

– Своим учителем дерзаю считать Александра Грина, а также Марка Твена, Купера и Стивенсона. Конечно же, впрямую влияли и поэты. Лонгфелло с его «Песнью о Гайавате», которую, как мне кажется, я знала еще в предыдущей жизни. Мне всегда казалось, что не только музыкант Навадага, но и я «нашла» эти песни:

В гнездах певчих птиц, по рощам,
На прудах, в норах бобровых,
На лугах, в следах бизонов,
На скалах, в орлиных гнездах…

Но отнюдь не на страницах книги, отпечатанной типографским способом.

Ведь все самое великое звучит и выглядит так, словно «было всегда»! Так, «всегда был» для меня, хотя и явился великой неожиданностью, Чарльз Диккенс. Но Диккенс и впрямь в какой-то степени был для нашей семьи всегда. Он был и остался звездой, кумиром нашей фамилии. Мать еще в гимназии, шестнадцати лет от роду, читала собственную лекцию о нем. Если лонгфелловская Гайавата была для меня целым небом, то тремя горами, не достигавшими неба, но его достойными, были для меня некоторое время Аветик Исаакян, Афанасий Фет и Эдмон Ростан.

…Вы спросили меня об учителях в поэзии, и я хочу сказать, что прежде всего на мой стих и на его манеру повлияли отец Николай Николаевич[4] и мать Надежда Тимофеевна[5]. Мать была, и не только на мой взгляд, прекрасным поэтом, хотя война и семья помешали ей печататься. Я запомнила такую ее строфу:

Дальнее море, – сестра Хай-Шин-вея,
Родина водных когорт…
Сизые дали туманами греют
Темные горы и порт…

Влияние стихов матери на меня было таким сильным, что долгое время это влияние я вообще не ощущала. Оно было в природе вещей, а кто же замечает природу вещей?

Отец мой был не только известным исследователем Дальнего

Востока, краеведом, но и лектором, блистательным оратором. Помню, когда я была еще мала и неразумна, я упрашивала его прочитать лекцию дома. И что же? Он был так добр, что как-то взял да и прочитал целую лекцию о Пушкине – дома, для нас, детей!

…Иногда говорят, упрекая меня, по-видимому, в «книжности» моих стихов, что я зову к уходу от жизни. Но я не понимаю, как это можно? От жизни можно уйти только в смерть. А я хочу лучшей жизни и для себя, и для других. Вот и все. И потом, что такое «книжная» поэзия, я не понимаю. Уилки Коллинз в своем «Лунном камне» от лица своего героя сказал: «Я человек с живым воображением, и мясник, и булочник, и налоговый инспектор не кажутся мне единственной правдоподобной реальностью». Как это ни удивительно, но иные критики или читатели верят в реальность налогового инспектора, а в реальность Шекспира, Моцарта, Пушкина – похоже, совсем не верят. Сам разговор о замечательных людях прошлого они уже считают заведомой обидой для себя, а значит – делом мертвым, книжным, призрачным. Эти люди смотрят на великих представителей прошлого, как на недурные, но отработавшие свой срок машины, от которых, дескать, изошло на нас энное количество информации. Ни в коем случае они не согласны взирать на великих людей, как на людей живых.

…Вы спросили меня о везении в литературе, существует ли оно. Кому, к примеру, больше «повезло» – тому ли, кто от природы наделен талантом, но не умеет работать, или тому, кто, быть может, не имеет семи пядей во лбу, но знает цену поту? Валерий Брюсов – хороший пример, ведь он многого добился в литературе своим неустанным трудолюбием, недаром Марина Цветаева называла его «героем труда».

…Что толкнуло меня написать первую песню? Вышло так. В детстве, когда я читала романы или повести, в которых герои местами должны были что-нибудь спеть, я невольно стремилась представить себе их песни и подбирала к ним свои мелодии. Это, наверное, и было моим первым сочинением песен. Мать довольно хорошо пела, аккомпанируя себе на гитаре. Едва подросла, я попросила ее показать мне все известные ей аккорды и ходы. С тех пор уже не оставляла гитару, хотя заниматься ею вплотную времени не было. Я работала тогда на подсобном хозяйстве при Чкаловском детдоме, – наша семья жила рядом с ним, в поселке служащих. Между делом я обновила свои детские мелодии, присочинив к ним новые. Но слова к ним все не шли и не шли… Целые годы еще после этого мои мелодии пустовали. А позже появились «Миссури», «Испанский патриот», «Песенка о штрафе»,

«Отчаянная Мэри». Еще раз замечу – мелодия, стихи, гитара, исполнение очень долго были врозь. Я объединила их только в 1961 году, когда поступила на Высшие литературные курсы при Литинституте в Москве.

…По-моему, постоянно показываясь на телеэкране, иной поэт становится театрален, а слушатель и читатель – соответственно превращаются в зрителей. Зритель, имеющий возможность сколько угодно разглядывать своего, до тех пор, может быть, любимого, автора, избаловывается, скучает. У него появляется чувство зрительной «собственности на поэта», – думаю, что с этим же благодушным любопытством в стране великанов разглядывали Гулливера, когда он сидел у девочки Глюмдальклич не то в игрушечном домике, не то в рабочей шкатулке.

Когда читатели постоянно видят перед собой авторов, мне кажется, глядя на них, они думают о чем угодно, только не об их стихах. Созерцая одного поэта, зрители, может быть, удивляются: ишь, какой шустрый… Озирая другого, думают: вот, если от его пиджака сейчас оторвется пуговица, то это увидит вся страна!.. Вид отвлекает от звука и смысла. Облик автора, навязываясь публике, отводит ее от внутреннего и сокровенного: от стихов. Если они, конечно, когда-нибудь были сокровенными, а то и они, может быть, только внешние? Тогда-то автор может, конечно, выйти и показаться. А вообще-то поэт – не зрелище.

…Я сказала – зритель избаловывается. Избаловываются обе стороны. Автор иной позирует, привыкает вдруг к «наставительству» масс, путает показывание себя, свое физическое явление народу с явлением таланта в себе, – настолько, де, очевидного, что всем даже на экранах видать! А с поэзией это, по-моему, никак не связано. Впрочем, не всегда же все так печально. Бывают ведь люди очень живые, артистичные по натуре. Выступая, они не устают, не напрягаются, но и не позируют. Говорят интересно – не дают никому времени заглядеться на пуговицы своего пиджака. Благо, если они еще и талантливы как поэты! Еще лучше, если они умеют совмещать природную уединенность поэзии с общительностью артистизма. Если так, то на телевидении они как рыба в воде, и трудно, да и незачем тогда возражать против их сколь угодно частых выступлений на телеэкране. Ведь и зарождение менестрелей осуществлялось, наверное, на том же стыке – замкнутости поэзии с открытостью артистизма. Хоть вариации тут бесконечны.

Что же до телевизионных позеров, то вот где эстрадная поэзия! Но к ним это определение почему-то никто не относит.

…Слово «барды» как-то не очень мне по душе. В моем словаре больше прижились «менестрели». Знаю, что и это не точно, но

хоть лучше звучит! Понятно, смысл у «бардов» хороший, но само звучание кажется мне сомнительным. Во всяком случае, ухо у меня как-то так устроено, что при слове «барды» я вспоминаю то «барда империализма» (как «предисловисты» и критики величали одно время Киплинга), то… миссис Бардл у Диккенса! Помните миссис Бардл, которая хотела во что бы то ни стало женить на себе мистера Пиквика? И даже, как на злостно уклоняющегося, подала на него в суд? А когда она падала в обморок, ее ребенок, «юный Бардл», со злобным криком вцеплялся мистеру Пиквику в ногу… И вся эта история упорно почему-то всплывает в памяти и я не могу отделаться от этой картины, чуть только заслышу слово «барды»!

Для людей, настроенных на всякий случай всегда иронически, звучание слова «барды» – бесценная находка! Она дает им все основания тут же применить к делу свою – до тех пор зря пропадавшую! – иронию. Зачем далеко ходить! В самые недавние месяцы меня тоже назвали – и довольно злорадно – «бардом»! А я должна была это стерпеть и чувствовала себя беззащитной, как тот мистер Пиквик, когда юный мистер Бардл с криком вцепился ему в гетры…

1978

Глава 7. Мария Чагина: поэты ей посвящали стихи

«Марочка, золотко мое, женушка моя единственная…»

Красавица Мария, бурный Петр и скандальный Сергей

Этот громадный старинный дом на Сретенском бульваре считается сегодня одним из самых дорогих домов в столице. Живут в нем в основном нувориши, сумевшие вовремя вложить свои капиталы в «золотую» недвижимость в самом центре Москвы. Высоченные кованые ворота преграждают путь любому чужаку, осмелившемуся просто заглянуть во двор уникального строения-комплекса знаменитого в прошлом страхового общества «Россия».

8 марта 1979 года я впервые пришел в квартиру, где жила известная в литературных кругах Москвы Мария Антоновна Чагина, вдова второго секретаря ЦК партии Азербайджана, в 1920-е годы главного редактора газеты «Бакинский рабочий» Петра Ивановича Чагина, друга Сергея Есенина. Хозяйка четырехкомнатной квартиры, открывшая дверь, радушно встретила гостей – Леонида Горового, начинающего журналиста, сотрудницу фотохроники ТАСС Тину и меня, тогда работавшего в отделе литературы журнала «Огонек». Именно Леонид и Тина привели меня в этот дом, чтобы я написал о женщине, которая знала Есенина. Поначалу я не поверил, что такое может быть, ведь со дня гибели поэта к тому времени прошло более полувека. Но мне повезло – все оказалось правдой: и Мария Антоновна, близко общавшаяся с великим поэтом, и автографы Есенина, сохранившиеся в этой квартире, где вовсю хозяйничало неимоверное количество кошек. Хотя после первого визита мы подружились с Марией Антоновной и я бывал у нее много раз, мне никогда не удавалось сосчитать их количество. Казалось, что их было не менее двух десятков. Они сидели на широких подоконниках, валялись на диванах, порой спрыгивали на ничего не подозревающих гостей со шкафа и даже (о, ужас!) нагло укладывались на столах, где у Марии Антоновны, во всяком случае во время визитов жданных и нежданных гостей, в беспорядке лежали письма мужа Петра Ивановича, прижизненные книги Есенина и даже автографы великого поэта… Само собой разумеется, что специфический кошачий запах витал по всему огромному жилищу.

Пожилая дама, не утратившая былой красоты и женского обаяния, гостеприимно пригласила нас в дальнюю комнату с окном, выходящим во двор.

– Ну, что ж, дорогие, сейчас я вас буду угощать едой, которую

любил Петр Иванович. И мы будем пить принесенное вами вино из тех же бокалов, из которых пил мой муж.

Завязалась долгая беседа. Память у Марии Антоновны была прекрасной, и я ловил каждое слово о ее молодости и, особенно, о Сергее Есенине, которого связывала с ее мужем сердечная дружба. Именно ему поэт посвятил свои «Стансы» и знаменитый цикл «Персидские мотивы»: «С любовью и дружбой Петру Ивановичу Чагину».

Как рассказывала в тот вечер Мария Антоновна, она познакомилась со своим будущим мужем осенью 1924 года в Баку. Приехавший тогда же в этот город Сергей Есенин остановился у Чагина, с которым подружился раньше в Москве. По воспоминаниям Марии Антоновны, Есенин, глядя на влюбленную пару, шутил, что «теряет» друга… Тем не менее они навещали Марию Антоновну почти всегда вместе.

– Надо заметить, – говорила Мария Антоновна, – Есенин и Чагин были абсолютно разными людьми. Первый – эмоциональный, порывистый, легко ранимый, подверженный быстрым сменам настроения. Второй имел твердый и решительный характер.

Вспомнила она и том, что день рождения Сергея Есенина 3 октября 1924 года отмечали у нее дома, где она и получила в подарок фотографию, на которой друзья запечатлены рядом.

На обороте Петр Иванович сделал надпись:

М.А Примите дружный дар двух рыцарей пера, скандального Сергея и бурного Петра.

Рядом Есенин написал своим мелким, бисерным почерком:

Дорогая Мария
Антоновна,
Сие есть истинно
И не условно.
Можно поклясться
Прелестью Ваших глаз.
Не забывайте грешных нас.

Скандальный Сергей.

3 октября 1924 года.

Эту лирическую новеллу хозяйка квартиры на Сретенском бульваре всегда заканчивала примерно так: через несколько дней поэт пришел к красавице и с улыбкой протянул ей пакетик из папиросной бумаги: «Это вам от Петра». Она развернула пакетик

и ахнула: там лежало обручальное кольцо.

Однажды я спросил Марию Антоновну, общалась ли она позже с Есениным. «Да, он жил у нас с Чагиным на даче в Мардакянах. В октябре 1925 года мы встретились с ним в Москве. Но разве могла я подумать, что никогда больше его не увижу!»

…Конечно, о своем муже Мария Антоновна могла говорить без конца. Вспоминала его веселый нрав, доброту, его терпеливость. Не могу не привести яркого словесного портрета, сделанного писательницей Марией Белкиной, приятельницей известного московского библиофила, друга многих столичных писателей Бориса Яковлевича Шиперовича, под началом которого я работал в отделе библиографии и пропаганды книги издательства «Советский писатель» в 70-х годах: «Чагин очень любил литераторов. Любил стихи, любил острое словцо, любил слушать всякие байки, любил застолье; было в нем что-то французистое, легкое, этакий распутный сластолюбец-рантье и уж никак не партийный деятель! Маленький, плотный, четырехугольный, с брюшком, с очень крупными, мясистыми чертами лица, отвислой чувственной губой, большими выпуклыми глазами, прикрытыми толстыми лепешками век; казалось, под этими тяжелыми веками глаза всегда дремали, оживляясь только после доброй порции коньяка… Имей он свое издательство, он бы обязательно прогорел, ибо ему было трудно отказать автору в авансе! За что, между прочим, и был снят из Гослита. Он слишком много назаключал авансовых договоров, не требуя с авторов рукописей. Попросту в тяжелые военные годы подкармливал писателей… В том числе Марину Цветаеву и Бориса Пастернака».

…Однажды гостеприимная Мария Антоновна принимала нас по случаю дня рождения своего любимого Петра Ивановича, обеденный стол украшал диковинный для того времени салат с гранатовыми зернышками. Среди гостей была Вера Бальмонт, близкая родственница знаменитого русского поэта.

Как-то Мария Антоновна пригласила нас с женой на сольный концерт Тамары Синявской. Конечно, это был один из редких выходов в свет пожилой, почти немощной женщины. Мы заехали за ней на такси и после концерта доставили домой. Но зато «в обществе» увидели совсем другую Марию Антоновну – помолодевшую, с горящими глазами светскую даму, которая раскланивалась со знакомыми, давала ручку для поцелуев, кокетничала с мужчинами…

«Сохраните это письмо»

В одну из наших встреч у нее дома Мария Антоновна неожиданно вытащила из потерто-драного кожаного (явно петраиванычева) портфеля пожелтевший листок и просто сказала: «Я хочу, чтобы это было у вас… Сохраните это письмо…».

На этом листке было послание (весьма интимного характера) Петра Ивановича Чагина своей любимой жене, написанное в 30-е годы.

Не без колебаний решил привести его в книге. Мне кажется, читателю будет интересно узнать о глубине, силе и нежности чувств живших так давно людей…

Тифлис. б. XII-34

Марочка, золотко мое, детка моя маленькая, родная, любимая, женушка моя единственная, желанная!

Сегодня телеграмма от тебя, и такой верностью веет от нее, что я прямо не знаю, как тебя благодарить, как тебя целовать. Устрой так, чтобы приехать ко мне на недельку… О, узнаю тебя, Марочка моя! Почему только на неделю? Помнишь твои прежние мечты побыть вместе, остаться вдвоем, «хотя бы только на неделю»? А оставались по месяцу и то не могли никак насладиться друг другом, налюбоваться, нарадоваться. Нет, не на неделю, и теперь уже не на месяц, а совсем, я тебе уже писал в прошлом письме, как я хочу и как будет. Писал искренно и честно. И того же прошу у тебя. Не хитри: «На неделю». Неужели думаешь, что меня, моего желания, моих буйных и тихих ласк, бесстыжих и нежных слов хватит только на неделю!? Нет, ты меня ведь знаешь, как никто, знаешь, что полюбил тебя любовью, которая на годы, которая не успокоится до тех пор, пока не свяжет, не сольет, не скует нас совсем. И тогда не успокоится, а будет еще беспокойней, тревожней, набатливей, жадней, ревнивей, а значит, сильней и крепче. Пишешь: «Хочу тебя видеть». Ведь не только видеть, да? И целовать, и ласкать, и быть моей без конца – и так, как бывало часто-часто. И так, как было только раз, и так, как еще ни разу не было! Хочешь, женушка, голубка моя? Будет, будет так! Сейчас только послал тебе телеграмму, что сделал так, чтобы мы были вместе совсем, и в предыдущем письме писал тебе об этом. Будет больше и лучше! Верь и знай! Друг ты мой, как хорошо читать «жду тебя». И как обидно, как больно, что заставляют ждать тебя, что не дают рвануться к тебе со всей силой истосковавшейся по тебе страсти. Что же, тем сильнее, тем неодолимее стремление, тем крепче мы прижмемся друг к другу,

тем неразлучнее сплетемся, когда останемся вместе. Не так ли, радость ты моя, Маринька моя? Меня скрутило здесь опять. Но от твоего «крепко целую… твоя…» я бы из гроба встал. Не беспокойся – отлежусь денек с этой телеграммой перед глазами, буду пить каждое ее слово измучившимся сердцем, как лекарство, – знаю, чувствую – все пройдет. И доктор говорит, что молодцом, крепыш, он дивится такой бодрости – он того не знает, откуда она, что она от Марочки моей, от того, что женушка издалека приласкала своего муженька и дала почувствовать, всем существом ощутить, что будет, когда она будет вблизи, рядом, губами в его губы, ногами в его руках, вся-вся в нем… О, как хочу целовать твои волосы там, где они почти черные. Целую тебя всю, напропалую! Люблю тебя, моя жизнь, люблю сумасшедше, неистово. Хочу тебя так буйно, как никогда еще не хотел! Только тебя, только тебя одну, потому что твой, весь только твой муж. Петя.

P. S. Вот видишь – какой я нехороший – в радости, в восторге от твоей ласки опять забыл о тебе. Почему сообщаешь так скупо: «здоровье по-прежнему». Наверное, бедняжка, мучаешься зверски? Когда же ты научишься беречь себя? Целую крепко, крепко.

В годы общения с Марией Антоновной я жил на улице Карла Маркса (ныне Старая Басманная). Так вышло, что с той поры мой адрес изменился, и теперь, проживая рядом с бывшим домом Марии Антоновны, я каждый день прохожу мимо здания общества «Россия» и иногда поднимаю голову, глядя в окна, за которыми когда-то жила одна из самых красивых женщин своего времени, жена крупного советского партийца, издателя, литератора, замечательного человека Петра Чагина, в которую наверняка был влюблен великий русский поэт Сергей Есенин (кстати, несравненная Мария Антоновна была уверена, что его стихотворение «Шаганэ, ты моя Шаганэ…» посвящено именно ей).

И всякий раз в память о нашей дружбе я мысленно говорю ей: «Привет, Мария Антоновна! Как поживают ваши кошки?»

1979, 2009

Глава 8. О Людмиле Кирсановой. Находка в моем архиве

«Люсенька, будьте моей женой…» – сказал ей Семен Кирсанов на другой день после знакомства.

Моя встреча с вдовой Семена Кирсанова Людмилой произошла в Москве в конце 70-х годов. Я не помню, кто познакомил меня с ней и где мы беседовали… Помню лишь, что молодая вдова культового поэта XX века, друга Маяковского и Есенина, после смерти мужа то появлялась в Москве, то надолго исчезала. По одним слухам, жила в Испании, по другим – где-то в Хорватии. Чем она занималась, на что жила, я так и не понял… Говорила и говорила, перескакивая с темы на тему, не давая мне возможности задать вопрос. После единственной нашей встречи в моем архиве осталось вот это полуинтервью, полумонолог Людмилы Кирсановой. Мне кажется, что он весьма интересен.

«Я не физик, я поэт…»

Известный советский поэт Семен Кирсанов родился 5 (18) сентября 1906 года в Одессе. Учился на филологическом факультете Одесского института народного образования.

В 1924 году познакомился с В. Маяковским, стал его горячим последователем. В 1926 году переехал в Москву, вошел в литературную группу «ЛЕФ». К поэзии С. Кирсанова неоднократно обращались композиторы-песенники. Особую известность приобрело его стихотворение «У Черного моря», положенное на музыку его земляком композитором М. Табачниковым, а получившаяся песня впервые исполнена еще одним одесситом – Л. Утесовым.

Умер Кирсанов в Москве 10 декабря 1972 года. Лиля Брик[6] почему-то сказала о нем: «Его не любила ни одна женщина».

Но многие его стихи – о любви.

– В то время я была студенткой МГУ и, как и все, занималась так называемой общественной деятельностью. Но я не любила ею заниматься. Это было не для меня. Москва тогда строила Черемушки. И я оказалась в числе строителей. Сохранилась фотография, где я таскаю кирпичи возле деревеньки Вознесение. Как-то меня послали в какой-то барак агитировать. Я увидела жутких обросших мужчин. В бараке не было ни горячей, ни холодной воды. Я сумела помочь ребятам и «пробила» им воду. И в знак протеста против того, что я повидала, перестала заниматься этой общественной деятельностью. Тогда меня сняли со стипендии. По отношению ко мне поступили жестоко, ведь я жила без помощи родителей. В семье нас было пятеро детей. Я единственная училась в Москве, и иногда по праздникам родители присылали мне сто рублей тогдашними деньгами. Окончательно поняв, что так жить невозможно, я устроилась на кафедру простой лаборанткой, подрабатывать…

Шел 1955 год. Вдруг однажды декан факультета, на котором я училась, приглашает меня к себе в кабинет и ошарашивает новостью: «Вюдмива (вместо „л“ он говорил „в“) Михайвовна, идите повучите стипендию». Я обомлела, но, тем не менее, мне и вправду выдали стипендию аж за четыре месяца сразу. – 1200 рублей! Я получала «хрустящую» сталинскую стипендию. И вот я, счастливая, врываюсь к подружке, девочке из Симферополя, жившей в соседней комнате, и буквально ору на все общежитие: «Лизка, сегодня гуляем!» И мы идем во МХАТ. Билеты на двоих купила я. Шла «Анна Каренина». Тот день мне запомнился

совершенно четко – 26 марта 1955 года. Эта дата прямо осела в моей памяти. Деньгами, МХАТом, такси. Ведь мы с Лизкой поехали на такси. Выходим из театра, вокруг которого тогда были какие-то маленькие магазинчики, заходим то в один, то в другой. И вдруг сталкиваемся с мужчиной необыкновенной красоты, волосы с проседью, шикарный шарф, пальто в рубчик… Он вошел в магазин и сразу обратно. А я была девочка интересная, и Лизка бросает: «Вон тот дядька на тебя посмотрел, зашел в магазин и вышел, наверняка за тобой…». Я шучу: «Ну, скажешь тоже, за мной… Давай-ка лучше купим лук». И вдруг слышу в спину вопрос: «Девушка, посоветуйте, что лучше купить». Я парирую: «Ну что покупают в марте! Конечно, зеленый лук…». И мы пятимся от него. А Лизка мне шепчет: «Фу-у-у, дура!» Спускаемся к старому «Националю», там была стоянка такси. Стоим, а Лизка все причитает: «Видишь ли, ей не нравится такой красавец». Я в ответ: «Почему? Он мне очень понравился». Ведь в каждой женщине есть какое-то особое свое зрение. И слух свой. Поэтому она сразу все схватывает. И я все поняла, хотя совершенно не знала этого человека. Вдруг этот «пальто в рубчик» подходит к нам и говорит: «Девушки, хотите, я подвезу вас?» Рядом стоит «Победа» серого цвета. А вы знаете, что значила в те времена «Победа»? Мы немного растерялись, а он представляется: «Семен, физик, – и показывает на своего шофера, – Анатолий Владимирович». И сразу дальше: «Ну, так куда вас подвезти?» – «На Ленинские Горы, – говорю, – В МГУ». А Лизка сзади щиплет меня и шипит: «Ты что, мы же их не знаем!» Но я решаюсь: «Поехали!» Садимся. Лизка продолжает шипеть… Я тогда еще не курила, только «для понта» носила в сумочке сигареты «Фэмэли» в такой красной длинной коробочке с серебряной или золотой окантовкой. Достаю эти сигареты, а «пальто в рубчик» вынимает из кармана шикарные английские сигареты в жестяной коробке с морячком. И тут началась блестящая игра. «Где вы учитесь, девочки?» – «На физическом», – не знаю, почему я так брякнула, ну просто хотелось поиграть. Нейтроны, позитроны, синхрофазотроны… (А были мы геологички.) В общем, домчались до МГУ. А я все сидела и думала, что делать, если этот господин напросится в гости. Ведь пройти в общежитие было очень трудно, почти невозможно. Ко мне как-то приезжала мама, так пропуск ей я выбила с большим трудом. И нам пришлось расстаться с незнакомцем. Прощаясь, он написал мне на коробке спичек свой телефон, а я на его коробке – свой. Расстались. С Лизкой еще долго обсуждали произошедшее. Она очень ругала меня за вольность мыслей.

Утром тороплюсь на лекцию, меня подзывают к телефону.

Он: «Люсенька, вы можете спуститься?» – «Да», – отвечаю я. О, господи! Такого в жизни я никогда не видела. И наверняка уже не увижу: мой вчерашний знакомый держит в руках огромную корзину цветов. Чего только в ней не было: тюльпаны, розы, гвоздики, гладиолусы, нарциссы, фиалки!..

«Люсенька, это вам! Мы можем поехать позавтракать?» – «Но у меня лекция…» Честно говоря, я растерялась. Все было так неожиданно, так необычно. Мелькнуло: «Как я понесу эту корзину? Куда я ее дену?» Стало так стыдно. Конечно, ни на какие лекции в тот день я не пошла. Договорились встретиться в три часа. Попросила Лизку отнести подарок в комнату, а сама побежала искать у студенток кофточку покрасивее. На каком-то этаже повстречалась с преподавателем, профессором университета (я дружу с ним и сегодня). Почему-то он неожиданно дал мне на прочтение томик Шопенгауэра.

Семен снова подъехал к МГУ и повез меня на Неглинную в ресторан «Арарат». В машине он обратил внимание на книгу, которую я сжимала в руках, и удивленно воскликнул: «Неужели нынешние студентки читают Шопенгауэра?» Говорю, что не знаю, как другие, а я читаю.

Тут же водитель Анатолий Владимирович поинтересовался:

– Вы, наверное, как все девушки, любите Щипачева?

– Нет, – говорю. – Я люблю Леонида Мартынова.

– А какие его стихи вы знаете?

И я начинаю читать «Геркулеса». Вдруг он спрашивает: «А вы знаете поэта Семена Кирсанова?» Вышло так, что наизусть стихи Кирсанова я не знала, но, еще учась в десятом классе, к сочинению на вольную тему о строительстве Волго-Дона я взяла эпиграф из Семена Кирсанова. Так что я знала этого поэта, но личность моего нового знакомого с ним не ассоциировалась. Вдруг Семен говорит: «Люсенька, хочу признаться: я вовсе не физик, я поэт Семен Кирсанов». Я почему-то не удивилась и бросаю: «Я сразу поняла, что вы не физик».

Надо сказать, что в ресторане я оказалась впервые в жизни. Мы сидели в каком-то отдельном зале за длинным столом. Бегали официанты, собиралась публика. И тут у меня мелькнула наивная мысль: «Как же так? Человек, который только что познакомился со мной, дарит цветы, ведет меня в дорогой ресторан…» Начали накрывать на стол, какой только чертовщины не принесли… Разные закуски, травы, напитки… Впервые в жизни я тогда попробовала вино. Выпиваем по бокалу. И вдруг Кирсанов наклоняется ко мне и говорит: «Люсенька, я хочу, чтобы вы стали моей женой». Эта фраза до сих пор стоит у меня в ушах.

Стали встречаться, все было очаровательно. Телеграммы,

письма, признания (к сожалению, я имела глупость сжечь письма Кирсанова ко мне). Моя жизнь стала иной. Уезжая в геологические экспедиции на Тянь-Шань, я скучала по Семену. Четыре-пять месяцев приходилось отсутствовать в Москве, жить в горах, при лавинах, часто рискуя…

Но было в моей жизни, конечно же, больше радостного, даже счастливого. Первый наш Новый год (с 1958 на 1959 год) мы встретили в Доме актера на улице Горького. Я видела, что Кирсанову приятно представлять меня своим друзьям. Я была молодой, красивой, никакой косметикой тогда не пользовалась, носила длинную косу. Кирсанов купил мне красивую одежду, хотя я и без нее выглядела прекрасно. И сейчас помню, кто сидел с нами за столом: Плучек[7] с женой Зиночкой, Тенин с Сухаревской[8]. Я как-то странно чувствовала себя в этой компании, ведь я была совсем девчонка. И оказалась в кругу таких людей… Как вести себя? И я повела себя естественно, танцевала, пела. Восхищенные мной друзья Семена спрашивали его: «Где вы нашли такую замечательную девушку?»

«Лиля Брик меня потрясла»

– Семена Кирсанова знала вся литературная Москва. Да что литературная, весь столичный культурный мир…

Первая встреча с Лилей Юрьевной Брик была фантастической.

Приехали на Кутузовский проспект, где она жила.

На мне свитерок, какая-то юбочка… Тогда я кормила сына Алешу. Я и вправду не любила косметику и не пользовалась ею. Тот день и те минуты я никогда не забуду. Я четко это вижу и сегодня, как в кино. Лиля Брик меня потрясла. Создались разные впечатления: и хорошие, и не очень… Когда она меня позже познакомила со своей сестрой Эльзой Триоле, то я сделала вывод, что сестра лучше Лили. О Брик и сейчас много сплетничают. Наверное, есть причины. Она имела, например, такую особенность как говорить о присутствующем в третьем лице. Кого-то это унижало, и человек замыкался. Помню, что как-то сразу, с первой встречи, я поняла Лилю своим крестьянским умом. Когда она спросила Кирсанова: «Сема, где вы ее нашли?», то он соврал, сказав, что я подошла к нему на вечере в Политехническом музее, чтобы взять автограф. Я не сдержалась: «Неправда! Ни у кого в жизни я не просила автографов!» Если честно, я сейчас жалею об этом. Ведь я общалась с разными известными людьми, в том числе и с Пабло Пикассо, но и у него не попросила автографа. Я ни перед кем никогда не испытывала благоговения, для меня существует человек и все. Лиля Юрьевна спросила меня: «Люсенька, вы комсомолка?» Отвечаю: «Ну да, я комсомолка…». Лиля опять: «Семик, где вы ее нашли?»

После нескольких встреч Брик позволила называть себя просто Лилечкой. И Эльзу Триоле я звала Эльзой. С домом на Кутузовском у нас установился «ритуальный четверг», когда мы с Семеном приходили к ней и к Василию Абгаровичу Катаняну[9]. Хочу сказать, что у Кирсанова было какое-то особое отношение к этому дому, к Лиле Брик. Иногда я на это злилась, потому что он перед ней просто вытягивался во фрунт. Лиля язвила, она была резким человеком. При муже она задавала мне неловкие вопросы: курю ли я, пью ли я? Могла задать любой вопрос, с потолка. «Люсенька, вы такая молодая, красивая… Скажите, у вас есть любовники?» У меня хватало какой-то девичьей искристости, и получалось отвечать на подобные вопросы, никого не обидев. Всякое случалось, но мы регулярно посещали этот дом. Я видела там Мстислава Ростроповича, Майю Плисецкую, Родиона Щедрина. Часто приходил Андрей Вознесенский. Были люди из

окружения Солженицына. Разные гости из других стран. Конечно, мне было очень интересно. Кто-то назвал эту квартиру салоном, в таком толстовском, хорошем смысле слова. Не то чтобы люди приходили туда посплетничать, поболтать, многих притягивал ореол Маяковского. Каждый год день 14 апреля обязательно отмечался. Один стул пустовал. Напротив стояла рюмка, которую ставили как бы для Маяковского. Несмотря на мой иногда проявлявшийся гонор, Лиля относилась ко мне все лучше и лучше. Однажды она меня спросила: «Люсенька, если бы сейчас (я как раз сидела напротив этого стула) сидел живой Володичка, между вами мог бы вспыхнуть роман?» Я растерялась и не нашла, что ответить. В этом доме о смерти Маяковского говорили постоянно. Именно от Лили я узнала подробности случившейся много лет назад трагедии. И я понимала, что Маяковский остался главным человеком всей ее жизни. Я дотошно расспрашивала Лилю о тех днях. И она почти была уверена, что он убил сам себя.

Рисковая выходка Кирсанова

– Правда, в общих застольных разговорах возникали и версии убийства. Помню, однажды мы с Кирсановым проговорили на эту тему у Брик целую ночь. Конечно, кое-что я уже забываю, но помню, что Лиля акцентировала, что предсмертная записка Маяковского датирована 12-м числом, а умер он 14-го. Лиля считала, что записка жгла его сердце, что он ее написал просто в минуту душевной слабости, еще не окончательно приняв страшное решение. Кирсанов «подливал масло в огонь», вспоминая эпизод, который случился за несколько дней до гибели Маяковского. В доме на Мещанской, где жили тогда друзья Маяковского – Катаев, Кирсанов и другие, была настоящая попойка, и Кирсанов «выкинул номер». Дело происходило на девятом этаже. Семен с кем-то поспорил, сколько времени продержится на вытянутых руках, держась за перила, над лестничным пролетом. И если бы его не оторвал какой-то пожилой господин (он был врачом), поднимавшийся по лестнице, Кирсанов разбился бы насмерть. Как знать, может быть, эта рисковая выходка Кирсанова каким-то образом подействовала на Маяковского?

Хочу сказать, что Кирсанов не вел дневников, только иногда беспорядочно что-то записывал. Уже в конце жизни он подолгу лежал в больнице на Рублевском шоссе и что-то набрасывал в блокнотах. У меня сохранилось несколько страничек из такой записной книжки, где он рассуждает, почему человек перед смертью вспоминает все самое яркое и сильное, что пережито им. Эти странички завершает такая фраза: «Вспомнил. Последний день перед гибелью Володи мы вышли с ним на лестничную клетку, и Катаев, подойдя к Маяковскому, взял его за подтяжки и сказал: „Ну, что же, Владимир Владимирович, когда же вы поставите точку-пулю в конце? Может, повеситесь на этих подтяжках?“ Маяковский отошел в сторону и заплакал». Я верю этим последним записям Кирсанова. Ведь они конкретны, они свидетельствуют. Хотя Кирсанов, если честно, никогда не говорил ни «да», ни «нет». Он говорил загадками и, в частности, о том, что касалось смерти Маяковского. Лично я всегда переживала во время этих разговоров, потому что очень нежно и пылко относилась к личности Маяковского.

Однажды в интервью польским журналистам Лиля Юрьевна заявила, что у Маяковского постоянно была повышенная температура, что он всегда был нездоров и поэтому мог покончить с собой… Друзья Маяковского, как мне кажется,

срослись, сжились с ритмом жизни и характером поведения великого поэта. Во всем, в том числе и в быту. Как-то Семен мне заявил: «Люся, почему-то мой голос стал хриплым. И почему-то я стал полнеть, а, может быть, мне плохо сшили костюм?» Хочу сказать, что Маяковский был мнительным человеком, и эта его черта волей-неволей передалась друзьям. Семен признался мне, что накануне трагедии с Владимиром Владимировичем он не мог уснуть, метался, пребывал почти в панике. Вообще на эту тему я могу говорить бесконечно. Считаю, что во всей этой трагической истории много неясного, и я пыталась подойти к ней со всех сторон. Вы, например, знаете, что Маяковский сначала был влюблен в Эльзу? И то, что он это свое чувство свято хранил? Ведь я, так вышло, Эльзу Триоле знаю лучше, хотя с Лилей Юрьевной виделась больше. Четыре месяца мы с Кирсановым жили на вилле Эльзы и Арагона[10] рядом с музеем Родена. Общались, разговаривали, завтракали, ужинали, посещали музеи.

«Люся, я хочу вас удочерить…»

– Эльза в то время (это был 1965 год) работала над романом «Великое никогда», в котором она описала свою будущую смерть. Вначале мы с Семеном жили в гостинице и платили по тогдашним временам не так уж дорого – 39 долларов в сутки. Вдруг примчалась Эльза и сказала: «Хватит», усадила нас в машину и привезла к себе. Она занимала целый этаж великолепного особняка – 10 комнат, и мы стали жить в двух из них. Рядом был кабинет Арагона. Мне казалось, что я была слегка влюблена в него. Ведь бывают пожилые мужчины стройными, красивыми, вдохновенными. Я просыпалась всегда очень рано. Я любила наблюдать, как он работал: глядя в окно, держа в руках перо, иногда что-то бормоча. Я всматривалась в стеклянную дверь, в которой отражался его кабинет. Он прислал нам с Семеном домработницу Ларису, которая молча ставила на стол кофе, булочки… Все было прелестно, красиво…

Потом мы куда-то уходили, у нас завязывались знакомства с писателями, художниками, актерами. «Люсенька, где вы шляетесь? – спрашивала Эльза. – Что вам больше всего нравится в Париже?» Я отвечала: Кафе «Флер». На другой день она повезла нас в другое кафе, тоже знаменитое, и нам очень там понравилось. В это кафе нужно было ехать к 12 часам ночи, когда собиралась богемная публика Парижа. Это было потрясающе! Никогда не забуду! Незадолго до поездки в Париж у меня неожиданно, в одну секунду, умерла мама. И Эльза мне сказала: «Люсенька, я вас очень люблю и сочувствую вам…». На другой день после этого разговора (Триоле мне иногда казалась странной) она неожиданно спросила: «Люсенька, что вы больше всего любите из еды?» Не растерявшись, я тут же ответила: «Устрицы». Эльза недоверчиво посмотрела на меня, ведь она знала, что я не жила возле моря, и поняла, что устрицы я полюбила в Париже. И тут же совершенно серьезно: «Люсенька, я хочу вас удочерить». Я ответила: «Ах, Эльза, конечно, я буду вашей дочкой». Хотя это было смешно. И добавила: «Эльза, я никогда не думала, что у меня появится вторая мама». Сказала искренне, но Эльзу почему-то обидели мои слова, больше она об этом не говорила. Потом мы уехали в Москву, Эльза проводила нас на вокзале. Она писала мне письма, не на французском, а на русском, который великолепно знала.

Я просила мужа свозить меня в Испанию. И вскоре мы полетели в Мадрид. Шел 70-й год. Потом мы были в Лондоне, там

нас принимал знаменитый английский писатель Чарльз Питер Сноу. И вдруг я открываю газету – это было в июне 70-го – и узнаю, что умерла Эльза Триоле. Мы бросились в советское посольство просить въездную визу во Францию. Лету 30 минут. Но нам отказали.

Эльза Триоле и Луи Арагон похоронены там же, на вилле, где мы у них гостили. Мне так радостно и так грустно вспоминать время, проведенное с ними.

Дверные ручки для Пабло Неруды[11]

– Семен Кирсанов очень дружил с Пабло Нерудой с 1948 года. В те времена при встречах великого чилийского поэта в московском аэропорту «товарищи» в пальто и в шляпах предупреждали: «В гостиницу не ехать, домой не приглашать, туда-то и туда-то не ходить…». Уже при мне у Неруды был юбилей – 65 лет, и Кирсанов летал к нему в Чили. В подарок он отвез ему дивные литые медные дверные ручки, которые я обменяла у какого-то типа на бутылку за 2,87. Это были ручки от порушенного старинного особняка на Пятницкой. Какие они были тяжелые, эти ручки! Я с трудом дотащила их до квартиры.

1979

Глава 9. Галина Серебрякова: она воспела женщин Французской революции

Преданный партии «Враг народа»

Писательница Галина Иосифовна Серебрякова родилась 7 декабря 1905 года в Киеве, умерла 30 июня 1980 года в Москве. Участница Гражданской войны. В 1919 году вступила в партию большевиков. В 1923 году вышла замуж за партийного работника Леонида Серебрякова, вскоре они расстались. В 1925 окончила медицинский факультет МГУ. В этом же году вышла замуж за наркома финансов Г. Я. Сокольникова. Начала печататься с 1925 года. Одна из первых в советской литературе обратилась к созданию образа Карла Маркса. В сентябре 1936 года мужа арестовали, за членами семьи установили слежку. Галину Иосифовну исключили из партии «за потерю бдительности и связь с врагом народа». После того как она написала письмо Сталину и Ежову, ее трижды вызывали на Лубянку для перекрестных допросов. Требовали дать ложные показания против мужа, отца и других деятелей государства, якобы организовавших заговор против Сталина. Попыталась совершить самоубийство и была помещена в психиатрическую больницу имени Кащенко. Книги писательницы изъяли из библиотек. 8 января 1937 года из больницы ее перевели во внутреннюю тюрьму на Лубянку, затем – в Бутырскую тюрьму. По легенде, в тюрьме кто-то заметил, увидев ее: «Умели враги народа выбирать себе баб». 13 июня 1937 года приговором Особого совещания при НКВД была выслана в Семипалатинск на 5 лет. В 1939 году ей было предъявлено обвинение по статье 58 пп. 10, 11 на основании оговора одного писателя. Серебрякова виновной себя не признала. Приговор Особого совещания при НКВД гласил – 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Серебрякову этапировали в Красноярск, где она работала в лагере на лесоповале.

В августе 1956 года решением бюро Джамбульского обкома Галину Иосифовну восстановили в партии, преданность которой она сохранила и после реабилитации. На собраниях писателей в 60-е активно выступала против либеральных тенденций. Старшая дочь Галины Иосифовны Зоря Серебрякова как дочь врагов народа Галины и Леонида Серебряковых была арестована в 14 лет. В тот момент в НКВД действовало личное распоряжение Сталина о полной ответственности детей с 15 лет за родителей. 14-летнюю Зорю не расстреляли (как, например, сына Каменева), а «всего лишь» сослали в Семипалатинск к матери. В 1945 году Зоря получила разрешение жить в Москве, поступила в МГУ, а в 1949 году была вновь арестована, ее муж получил 25 лет за «антисоветскую агитацию». Сына отправили в детский дом. Зорю

Серебрякову освободили при Хрущеве.

Среди произведений Галины Серебряковой – «Женщины эпохи Французской революции» (1929), трилогия «Прометей» («Юность Маркса», 1933–1934; «Похищение огня», 1951; «Вершины жизни», 1962), «Странствия по минувшим годам» (1962–1963), «Предшествие» (1965, о Ф. Энгельсе), «О других и о себе» (1968).

Последнее интервью

– Это правда, что у вас есть книга с автографом Бернарда Шоу?

– Да, эта книга, подаренная мне Шоу, сохранилась чудом. Она исчезла из моей библиотеки в середине 30-х годов. Я очень жалела этот уникальный экземпляр гранок пьесы «Плохо, но правда», который Шоу специально для меня «одел» в красную кожу с тисненым советским гербом и моими инициалами. Он вручил мне свой подарок, когда я навсегда покидала Англию, и в привычном для него шутливо-игривом тоне сделал надпись: «Галине Серебряковой ввиду ее отъезда из несчастной Англии. Увы! Бернард Шоу. 1 окт. 1932 г.».

И вот лет восемь-десять назад Константин Симонов однажды мне сказал, что эта книга находится у него. Как несказанно я обрадовалась, когда он вручил ее мне. Вручил торжественно и в то же время с долей грусти: «Жаль мне с ней расставаться, не помню, по какому случаю я приобрел ее, но вот решил наконец вернуть книгу истинному владельцу». Я считаю, что так мог поступить только человек щедрой души.

– И настоящий ценитель книги! А при каких обстоятельствах вы познакомились с Шоу?

– На одном из приемов в посольстве СССР в Лондоне. Тогда я познакомилась и с Гербертом Уэллсом. В ту первую встречу великий драматург много расспрашивал меня о Советском Союзе.

Его интересовала организация у нас народного образования, жизнь писателей, книгоиздательское дело. Мы подружились.

«Горький сказал, что зря я читаю Джойса…»

…Разговор коснулся той давней поры, когда Галина Иосифовна выпустила свою первую книгу «Женщины эпохи Французской революции» с иллюстрациями Добужинского. Было ей тогда чуть больше двадцати лет. Книга имела необыкновенный успех, ее хвалили в печати, перевели на иностранные языки. Молодую писательницу поддержал Горький.

– Однажды он спросил меня, что я читаю, и когда я ответила – Джойса, Алексей Максимович сердито сказал, что зря я время трачу, что все это красивость и пустословие. Я попыталась возразить, но Горький заговорил о том, что надо изучать сегодняшнюю жизнь, что знание истории, конечно, важно и необходимо (а я тогда уже работала над книгой «Юность Маркса»), но писателю надо быть впереди крупнейших дел и событий своего времени, что надо читателя вести за собой, и посоветовал мне после окончания работы взяться за книгу очерков о современной жизни. Позднее я поняла правоту Горького, действительно, писать надо только о том, что прочувствовал сам.

Вместо квартиры-музея Маркса меня привезли в меховой магазин «Маркс»

– Как же можно было «прочувствовать» время Маркса молодой советской женщине, выросшей в иной стране, в иных жизненных обстоятельствах?

– Естественно, я прочитала гору книг о великих революционерах всех времен, проштудировала Ленина, встречалась со многими борцами за свободу, заставшими время, когда жили Маркс и Энгельс. А это время казалось мне не таким уж далеким. Чуточку воображения, и можно было представить, как Энгельс, к примеру, спускается в лондонскую подземку. А в Москве тогда, в 30-е годы, появилось метро.

Но главное, пожалуй, в том, что я объездила всю Европу и побывала там, где жили два великих друга. Многое из тех поездок осталось в памяти до мельчайших подробностей. Как во сне, как в сказке. Именно тогда Маркс стал для меня живым человеком, а не бронзовым монументом. В Лондоне я побывала в доме, где он жил какое-то время. Я нашла прачечную на первом этаже, которая функционировала при его жизни. Когда я поднялась в его бывшую квартиру, то меня поразил едкий запах стирки. Значит, эти запахи ощущал и он, значит, этот осколочек лондонского быта окружал великого человека. Да, думала я, он вдыхал этот запах, хотя прошло с той поры почти сто лет. И я словно услышала его голос, его смех, мне показалось, что он вот-вот войдет.

Побывала я и на родине Маркса, в Трире. На вокзале взяла такси и обрадовалась тому, что при одном упоминании Маркса меня повезли туда, куда мне нужно, однако через десять минут я «получила холодный душ»: таксист привез меня в меховой магазин «Маркс». Меня поразило, что даже на его родине величайшего из людей знали далеко не все.

На кладбище в Лондоне я с трудом нашла его могилу. Она мне показалась полузаброшенной. И я с еще большим упорством продолжала собирать материалы для новой книги. Мне хотелось поведать о счастливых и трагических моментах в судьбе Карла Маркса всему миру.

– И ваши романы стали едва ли не первыми беллетристическими произведениями о Марксе и Энгельсе в мировой литературе. Как же вы все-таки решились на такую огромную и такую ответственную работу?

– Тут надо учитывать традиции нашей семьи, где все были профессиональными революционерами и где имена Маркса и

Энгельса произносились так, будто они были еще живы. И потом, молодость… Казалось, что я смогу все, что преград в жизни нет. Я ведь в партию вступила в 14 лет.

– А в 20 выпустили книгу?

– Да, все первые мои книги были серьезными, не соответствовали возрасту автора: о Французской революции, о положении в Китае, где я к тому времени побывала, о современности. Мне не стыдно было дарить их своим старшим товарищам, в том числе Марии Ильиничне Ульяновой. Книги, подаренные сестре Ленина, до сих пор стоят в том самом шкафу в кремлевской квартире, куда их поставила Мария Ильинична. Вот почему в эту теперь уже квартиру-музей я прихожу, как в свой родной дом.

Снова возвращаемся к разговору о любви к книгам, об этой высокой страсти, которую Галина Иосифовна пронесла через всю свою трудную жизнь.

– Чтение спасало меня всегда, раздумье над любимым произведением окрыляло, возвышало, придавало силы. Без книги я не представляю себя ни человеком, ни писателем. Всегда находясь рядом с замечательными людьми своего времени – писателями, художниками, дипломатами, партийными деятелями, я то и дело слышала от них вопрос: «Что вы сейчас читаете?» Не раз меня спрашивали об этом и Надежда Константиновна Крупская, и Мария Ильинична Ульянова. И я отвечала, что, по совету Бабеля и Всеволода Иванова, в данный момент изучаю античную литературу, что Горький «приказал» мне штудировать историков Французской буржуазной революции Мишле и Тьера, что сама я безо всякой подсказки тянулась к русским былинам, к поэзии Востока, к финскому эпосу «Калевала». Да, книги прошлого, книги о прошлом были моими друзьями, моими помощниками, маяками. Они как бы переносили меня в те давние времена и помогали быть современницей тех событий.

Однажды от Горького услышала упрек в том, что я, изучая Маркса, взялась за безумно трудную тему, что дело это мужское, мужской воли, мужских знаний, мужского таланта. Но слова его меня только взбодрили. Ведь любимым моим чтением в те годы были книги писательниц-женщин: Жорж Санд и Сельмы Лагерлеф, Марии Конопницкой и Элизы Ожешко. Я чувствовала, читая их, что женщина тоже может стать интересным писателем. К моменту окончания работы над книгой «Юность Маркса» моя библиотека насчитывала более трех тысяч томов. С уверенностью могу сказать, что почти все книги были прочитаны, изучены.

– Галина Иосифовна, остались ли с того давнего времени книги, которые прошли с вами через всю жизнь, до сегодняшнего дня?

– Да, в самое тяжелое для меня время каждодневным чтением был Лев Толстой, его «Война и мир». Этот роман обрел для меня почти мистическое значение своеобразного талисмана, выручающего в трудную минуту. Открываешь страницу, прочитываешь первые строки и ощущаешь легкость души, жизнь наполняется солнечным светом.

Заговорили о друзьях писательницы, их у нее много: от безызвестных книголюбов где-нибудь в Караганде или Муроме до выдающихся деятелей литературы и искусства. И я вспомнил слова, сказанные одним из друзей Галины Серебряковой казахским ученым Т. Какишевым: «Меня привлекает мужество этой женщины и верность в дружбе. Если она однажды удостоверится, что человек, которого она встретила, хороший, она уже не переменит мнения о нем. Какие бы неприятности ни сулила ей дружба с этим человеком, она не изменит этой дружбе». Прекрасные слова!

Галина Иосифовна рассказывала о дружбе с Н. Жуковым, Е. Вучетичем, Г. Рошалем, Е. Тарле, А. Манфредом, В. Матвеевым… О многих она написала воспоминания, о некоторых собиралась написать.

– Этот год для меня был очень радостным – в школьную программу для старшеклассников внесена моя книга «Прометей». Радостно оттого, что в обширной переписке с читателями мы обсуждаем вопросы воспитания молодежи и всегда сходимся в суждениях на одном: молодые люди нашего времени в ответ на вопрос «делать жизнь с кого?» должны брать образы Маркса, Энгельса, Ленина, тех прекрасных людей, которые творят сегодняшнюю историю. (Галина Иосифовна показывает мне книгу карманного формата в мягкой обложке. *– Ф. М.)*

– Это еще одно издание моих произведений. Вышло в Японии. 26 томов. С гордостью могу сказать, что его тираж – пять миллионов экземпляров. Представляете, романы о Марксе и Энгельсе в Японии читают миллионы людей! Они стали, как говорят на Западе, бестселлером, но хорошим бестселлером! Японские издатели поразили и другим: они сумели раздобыть в качестве иллюстрации портрет одной из героинь книги «Женщины эпохи Французской революции» Мэри Вунлстонкрафт, хотя считалось, что изображения ее не сохранилось.

В ее коллекции было четыреста фигурок трубочистов

Я обращаю внимание хозяйки дома на ее портрет, висящий над рабочим столом.

– Это Верейский-отец рисовал меня, когда я была молодой. Портрет принадлежит Третьяковской галерее, но, пока я жива, он будет находиться здесь. Мне он очень нравится, он напоминает о далекой счастливой молодости.

Спускаемся со второго этажа, где находится рабочий кабинет писательницы, вниз, в домашний музей. Он создан по инициативе близких Галины Серебряковой: целая комната книг, фотографий, всевозможных подарков со всех концов света. Здесь же коллекция фигурок трубочистов, их более четырехсот, – предмет страстного собирательства. Фотография Д. Шостаковича с надписью: «Дорогая Галя, будь всегда здорова и счастлива»; работы народного художника СССР Н. Жукова, подаренные Галине Иосифовне; шкаф с ее книгами, изданными за рубежом, бюст писательницы работы Л. Кербеля; фотография из газеты «Правда», сделанная в дни приезда в Москву Ромена Роллана – Горький, Роллан, Садуль, Новиков-Прибой, Катаев, Барто, Шагинян, Серебрякова…

Прощаюсь с хозяйкой дома до новой встречи.

А через неделю – вечерний телефонный звонок: не стало Галины Иосифовны Серебряковой, прекрасного писателя, мужественного человека.

Переделкино – Москва, 1980

Глава 10. Татьяна Ройзман: хозяйка шкафа с «прижизненным Есениным»

В поисках литературных соратников Сергея Есенина

В 1970—80-е годы слава Есенина, если можно так сказать, достигла самого пика: выходили собрания его сочинений, постоянно переиздавалось «Избранное», в творческих клубах столицы, во дворцах культуры проходили памятные вечера, на которых выступали есениноведы, поэты, ну и, конечно же, те, кто мог рассказать о Есенине «из первых уст». Ведь были еще живы сестра Есенина и его дети, а также некоторые литераторы есенинского круга. Пресса и телевидение постоянно говорили о сложном творческом пути скандального пиита. Но советская цензура в угоду идеологии жестко ограждала читателей от разного рода «разночтений» в отношении и самой поэзии Есенина, и его драматической судьбы.

Я многое читал о Есенине из выходившего в те годы, и, чувствуя некую недосказанность, уход от подлинной его биографии, всегда стремился приблизиться «к оригиналу», приглашая на литературные вечера, которые вел в разных столичных клубах, людей, лично знавших поэта или глубоко изучивших его биографию. Перед публикой выступали Константин Сергеевич Есенин, Рюрик Ивнев, Мария Чагина, Василий Казин, Илья Шнейдер, литературоведы Сергей Кошечкин, Петр Юшин, Владимир Вдовин, Владимир Белоусов… Надо сказать, что моя журналистская карьера в популярном журнале «Огонек» началась именно с есенинской темы. Я обнаружил в Москве некоего Лазаря Борисовича Фридмана, который в 20—30-х годах занимался издательской деятельностью и был знаком с Есениным. Почему «обнаружил»? Лазарь Борисович всю жизнь никому не рассказывал о близости с «опальными» литераторами 20-х годов. Считал: меньше болтаешь – крепче спишь… Времена были «скользкие». Но мне удалось его разговорить. Показал он и свои сокровища, разложив передо мной, точно алмазные россыпи, прижизненные сборники Есенина и его соратников, на некоторых из них стояли дарственные надписи. Об этих редкостях я написал заметку и принес ее заведующему отделом литературы журнала «Огонек» Владимиру Петровичу Енишерлову. Материал опубликовали, и я стал постоянным автором популярного издания, а вскоре и его штатным сотрудником.

Однажды мой тогдашний начальник по работе в издательстве «Советский писатель» Борис Яковлевич Шиперович (он был

завотделом библиографии и пропаганды книги, а я редактором этого отдела) на каком-то книжном вечере в Центральном доме работников искусств познакомил меня с легендарной тогда персоной в столичных литературных кругах – Ильей Ильичом Шнейдером.

Судьба Шнейдера яркая и трагическая. В 20-е годы по направлению Луначарского он работал секретарем у Айседоры Дункан, сопровождал ее в гастрольных поездках. Целых три года волей-неволей был свидетелем горького романа Дункан и Есенина.

С 1922 по 1946 руководил школой, студией, а потом и Московским театром имени А. Дункан. 2 апреля 1949 года Шнейдера арестовали и приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Валил лес, грузил щебень, чистил общежития. В лагере начал записывать свои воспоминания и после реабилитации в 56-м, закончив их, издал знаменитую книгу «Встречи с Есениным». Воспоминания имели колоссальный успех. По слухам, Шнейдер, живший после возвращения из лагеря на Пушечной улице, спал на развалюхе-диване, замечательном тем, что его хозяин якобы много лет назад предоставлял его для свиданий поэта и танцовщицы. Если это не плоды его старческой фантазии, то я, бывая в гостях у Ильи Ильича и расспрашивая его о былом, сам сиживал на этом «раритете».

Так вот, однажды он назвал имя Матвея Ройзмана, которое мне было знакомо по книге воспоминаний «Все, что помню о Есенине». Илья Ильич добавил, что Матвей Давыдович умер несколько лет назад, но жива его вдова – Татьяна Лазаревна. «Если тебе интересно с ней пообщаться, я дам телефон, живет она в центре», – сказал Шнейдер.

Рукописный первоисточник рассказов о мятежной молодости

…Дверь квартиры на третьем этаже дома 1а по Козицкому переулку открыла довольно приятная большеглазая дама. Я сразу понял, что еще в недалеком прошлом, скажем, лет двадцать назад, она была весьма и весьма привлекательна. И не ошибся: когда мы подружились, она подарила свою фотографию – на ней красивая, чувственная женщина, по которой наверняка воздыхали мужчины.

Темные густые волосы, едва заметная еврейская горбоносость, пронизывающий, но теплый взгляд выдавали неравнодушную к мужскому вниманию особу, мягкий приветливый голос волей-неволей звал к ответным, естественным знакам внимания собеседника противоположного пола.

– Я Татьяна Лазаревна, а вы – Феликс? Очень рада. Проходите вначале сюда, на кухню. Я угощу вас чаем с малиновым вареньем.

Так началось мое общение, переросшее в теплую, искреннюю дружбу с вдовой близкого Есенину человека, его литературного соратника. Когда Татьяна Лазаревна повела меня по квартире и я еще в коридоре увидел полки, уставленные книгами с пола до потолка – собраниями сочинений в твердых кожаных переплетах конца XIX века; изданиями, вышедшими до революции и ставшими раритетами, ибо почти все были уничтожены как не вписавшиеся в советскую идеологию; прижизненными томами Толстого, Чехова, Амфитеатрова, Бунина, Мережковского, Андреева, Достоевского; книгами по пресловутому еврейскому вопросу, специально переплетенными, видимо, с целью спрятать корешки с названиями, и многими-многими другими, привлекшими мой библиоманский взгляд, – я задрожал, как осиновый лист в бурю.

Но это было только начало – другая сторона коридора (о боже!) была увешана фотографиями самых знаменитых поэтов и писателей от начала XX века до 30-х годов с их дарственными надписями Матвею Ройзману. Блок и Городецкий, Кусиков и Маяковский, Гиппиус и Демьян Бедный, Рукавишников, Катаев, Ивнев… И, конечно же, Есенин… Целая экспозиция уникальных снимков.

Думаю, что их было не меньше тридцати-сорока.

Но самое главное, самое потрясающее ждало меня впереди! В дальней комнате я не мог не обратить внимания на старинный резной шкаф, заполненный тоненькими, изящными книжечками

(я мгновенно понял, что здесь хранится самое сокровенное) – прижизненными изданиями Есенина, а также альманахами символистов, имажинистов и акмеистов, мемуарами первых послереволюционных лет, папками с какими-то документами…

Но до поры до времени я сдерживался, как мог. Исчерпав темы наших разговоров, касающиеся моего интереса к Матвею Ройзману как близкому Есенину человеку, я почувствовал, что меня тянет в этот дом уже другое – охотничий инстинкт библиофила. И в одну из встреч я решил раскрыться…

– Не хотели бы вы, дорогая Татьяна Лазаревна, расстаться с какой-нибудь из книг? – несмело спросил я.

– Что вы имеете в виду?

– Никак не могу раздобыть для своей коллекции сборник Есенина «Русь советская», изданный в Баку с предисловием Петра Ивановича Чагина.

– А вы знаете, что вдова Чагина – Мария Антоновна – живет в Москве?

– Знаю, конечно, и знаком с ней. Но этой книги у нее нет.

Неожиданно Татьяна Лазаревна произнесла:

– Ну, покопайтесь в этом шкафу, может быть, найдете…

Несмотря на свою занятость в журнале «Огонек», регулярные командировки, я старался при любой возможности попасть в дом, примыкающий к знаменитому дворцу княгини Волконской на улице Горького, давно уже занимаемый легендарным Елисеевским магазином. Что греха таить, приходил я сюда не только из-за приглашений гостеприимной хозяйки квартиры попить чайку с малиновым вареньем, но и по библиофильскому влечению. «Шаря по полкам жадным взглядом», я не выклянчивал приглянувшиеся мне раритеты, а платил за них столько, сколько просила Татьяна Лазаревна. Иногда я, ориентированный в книжном рынке намного лучше, чем она, поправлял ее и, не жадничая, давал истинную цену редкого издания. Но бывало и такое: «Я дарю вам эту книгу, – радушно-искренне восклицала Татьяна Лазаревна, – вижу, как вы в нее вцепились…»

Приходил я в дом на Козицком с цветами или с бутылкой шампанского, и мы подолгу, иногда часами, вели светские беседы. Хозяйка с удовольствием рассказывала о своем муже, о его дружбе с Сергеем Есениным и другими литераторами 20—30-х годов. Я расспрашивал вдову писателя и о ее судьбе, о том, что помнит она о литературно-театрально-элитной Москве прошлых десятилетий. Она называла имена московских красавиц, подруг, любовниц писателей и актеров, вспоминала громкие вечера в Центральном доме актера, по соседству с которым жила. Я

расспрашивал ее о трагической судьбе Зинаиды Райх, одной из жен Есенина, о возлюбленной Колчака Анне Тимиревой, о Лиле Брик, о Зое Федоровой… Меня интересовала реакция ее мужа, видного московского культурного деятеля, на партийные решения по Ахматовой и Зощенко, на письмо Булгакова Сталину и, конечно же, то, как он выжил в страшные сталинские годы. Одним словом, я все чаще рвался в квартиру, где витал в самом прямом смысле книжный дух прежних легендарных эпох, дух Есенина, имажинистских скандалов, любовных историй и драм. Ведь о многом я узнавал прямо из первоисточника – из толстенного, специально переплетенного фолианта, заполненного записями Матвея Давыдовича о давних временах, о друзьях-товарищах, о своей мятежной литературной молодости. Записи, казавшиеся мне особенно любопытными, я наговаривал на диктофон. Иногда Татьяна Лазаревна меняла тему и рассказывала о своем сыне Вениамине, который занимался наукой и, что ей было очень приятно, с большим уважением относился к отцу, его творчеству.

Сейчас мне трудно сказать, кто первым из нас звонил друг другу: я – Татьяне Лазаревне или она – мне. Но помню, мне начинало казаться, что Татьяна Лазаревна, встречаясь со мной, приглашая меня в свой дом и заводя беседы на отвлеченные от книг и литературы темы, скажем, о том, что женщина должна как можно дольше сохранять свою женскую сущность и притягательную силу, пыталась, возможно, хоть на самую малость вернуть себя в былые романтические года. Недаром она оглядывалась на примеры Любови Орловой или Татьяны Окуневской, которые как будто совсем не старели…

В один из вечеров после нашей долгой беседы на разные темы она протянула мне нашумевшую книгу Матвея Давыдовича «Все, что помню о Есенине», вышедшую в 1973 году, за несколько месяцев до его смерти, и произнесла: «Это вам на память о нашем знакомстве».

Дома, перелистывая книгу, я обнаружил небольшой листок бумаги, на котором рукой Татьяны Лазаревны были написаны четыре стихотворные строчки.

Прочитав их, я смутился: это было почти признание в любви. Оно привело меня в замешательство. Как теперь вести себя с Татьяной Лазаревной? Говорить ли ей о своей находке или промолчать? Я решил промолчать.

Вскоре я узнал о ее смерти.

1985

Неожиданное предложение

Во время перестройки мои журналистские интересы вышли за пределы Советского Союза, и одной из тем стала тема русской эмиграции, судеб соотечественников, оказавшихся после революции и войны на чужбине. США, Франция, Италия, Канада, Германия… Поездки, встречи, интервью, работа над книгами… Кстати, одна из передач «Зеленой лампы» была посвящена есенинской теме. Ко мне в гости пришли известный литератор, написавший исследование о гибели поэта в гостинице «Англетер», актриса, декламировавшая «Персидские мотивы», журналист, раскопавший неизвестные данные об Айседоре Дункан. Могла бы участвовать в передаче и Татьяна Лазаревна, но, увы…

Однажды раздался телефонный звонок. Звонил Вениамин Матвеевич Ройзман. Он попросил меня прийти к нему поговорить по важному делу. Может, наследник библиотеки хочет расстаться с какими-то книгами? Время-то на дворе голодное. Я знал, что он работал в техническом институте научным сотрудником, а наука в нашем государстве особо не кормит.

Вениамин Матвеевич принял меня на кухне. По его настроению я сразу почувствовал: что-то случилось.

– Феликс, у меня к вам есть одно предложение. Моя жизнь резко меняется. Я уезжаю в Америку. Вы же видите, что здесь происходит…

Он тяжело вздохнул и решительно проговорил:

– Вы не могли бы купить эту квартиру?

Несмотря на то что Ройзман увидел в моих глазах легкую растерянность и ощутил, что я без особого энтузиазма реагирую на его предложение, он добавил:

– Моя ситуация требует срочного разрешения. Так вышло. Выездные документы уже готовы.

Надо сказать, что наш семейный бюджет испытывал явный недостаток, и, если честно, я должен был сразу отвергнуть эту абсолютно нереальную для меня сделку. Но некий азарт обуял меня в те минуты.

– Ну, хорошо, Вениамин, сколько же стоит ваша квартира? – выдохнул я.

– Я бы хотел 86 тысяч долларов… Не удивляйтесь – со всей мебелью, с библиотекой и автографами. Часть архива, правда, сдана мною в литературный музей.

Этот, выражаясь современным языком, бонус, предложенный хозяином квартиры, меня добил. Я окаменел. Мне показалось, что я схожу с ума. На мгновение я представил себе содержимое

старинных шкафов, стоящие на полках книжные раритеты, автографы знаменитых писателей и поэтов, украшавшие длинный просторный коридор. Но в те же секунды я понял, что эти сокровища никогда не станут моими. Названная Ройзманом сумма была по тем временам (начало 90-х) огромной и для меня неподъемной. Наверное, в тот вечер я постарел на несколько лет.

Эта драматическая история кончилась банально: для приличия взяв на раздумье какое-то время, через пару дней я позвонил и отказался от волшебного предложения сына незабвенной Татьяны Лазаревны.

Что стало с квартирой в Козицком переулке, кому достались библиофильские сокровища друга Есенина, не знаю. Но сегодня, спустя много лет после тех событий, я решил рассказать о семье, пережившей многое из того, чем был богат и беден XX век. О дружбе с прекрасной большеглазой женщиной, загадочно не чувствовавшей своего возраста.

Глава 11. Дочь своего отца – Софья Радек

«Однажды начальник спецчасти лагеря „Минлаг“ в городе Инта мне сказал: „Я читал ваше дело – там ничего нет, кроме того, что вы дочь своих родителей. Пишите!“ Будучи человеком здравомыслящим, я твердо знала, что никакие мои писания не помогут. Но раз просят – напишу. И я написала так: „Я, конечно, очень виновата, что выбрала так неудачно себе родителей, в следующий раз я отнесусь к этому вопросу более ответственно“.

И сейчас, чтобы получить полагающиеся мне деньги в размере двухмесячного оклада отца, я почему-то должна доказывать, что я дочь своих родителей. А поскольку не сохранилась ни у меня, ни в архивах загса моя метрика, я должна привести в суд двух свидетелей, которые сказали бы, что я это я, а не Иисус Христос. С меня требуют метрику, которую я уже сто лет в глаза не видела, ибо долгие годы была на „гособеспечении“ в местах не столь отдаленных. До бумаг ли мне было там? За меня знали не только кто я, когда родилась, но и в каких „заговорах“ против Советской власти и лично товарища Сталина участвовала. Поэтому мне остается признаться, что я самозванка, из чисто познавательных побуждений отправилась в восемнадцатилетнем возрасте в ссылку, где и пробыла 13 лет, а в промежутке между ссылками отхватила еще десять лет лагерей».

…Характер у Софьи Карловны Радек нелегкий. Завязан круто, жестко, своенравно. Такого в жизни навидалась, вытерпела, что на мякине ее не проведешь. В первый наш разговор весной 1988 года она и по перестройке «пальнула». Правда, к тому времени еще не был реабилитирован ее отец Карл Радек, и она имела к перестройке личные претензии. А после сообщения о реабилитации сказала: «Да, конечно, это радостное событие, но ведь это надо было сделать тридцать лет назад».

А тут еще эта история с компенсацией. Положено так положено. Зачем унижать уже униженных и оскорбленных? От политических речей ей скучно. «Хватит, – говорит, – отец с матерью предостаточно политикой назанимались». Предпочитает лирику. Много стихов знает наизусть. Запомнила еще с лагеря. Переписанная ее рукой книжечка стихов Агнивцева навечно пригвоздила эпоху к позорному столбу штампом: «Проверено цензурой». А иначе отобрали бы при освобождении. Показывает сочинения отца, его фотографии, газетные вырезки, еще не так давно этого ничего не было. Ведь все, что связано с именем Карла

Радека, «заговорщика, шпиона всех разведок, наймита всех империалистов» и прочая, и прочая, и прочая, уничтожалось, преследовалось. Добрые и, надо сказать, смелые люди что-то сумели уберечь. Два тома сочинений Карла Радека «Портреты и памфлеты» подарила ей жена Горького Екатерина Пешкова, замечательный портрет отца работы Юрия Анненкова преподнесла Ирина Анатольевна Луначарская. Низко кланяюсь ей, что сохранила такую «крамолу», – говорит моя собеседница.

А вот книги о Радеке и издания его трудов в разных странах, вышедшие в последние годы. Да, было так: у нас полный мрак и запрет, в других странах – человек-легенда. В книге, изданной в ФРГ, говорится, что за голову Радека в свое время в Германии обещали огромную сумму. Значит, стоил того, просто так вознаграждения не выплачивают. В Англии вышла книга под названием «Последний интернационалист».

«Я привыкла к нищете и прекрасно с ней обхожусь»

…Маленькая квартирка на самой окраине Москвы на Зеленоградской улице. У Межирова в стихах сказано: «В крупноблочных и панельных разместили вас домах». Но она не жалуется: «Рядом электрички? Ну и фиг с ними. Зато малина прямо перед окном». Диван, стол, стул, кухня-пятиметровка заставлена вареньями, соленьями. Несколько полочек с книгами, журналы «Новый мир», «Знамя». В комнате ничего лишнего, тем более дорогого, почти нищета. Невесть какими путями (оказалось, подарок) залетела сюда толстенная в кожаном переплете с тиснением на корешке знаменитая старинная поваренная книга Елены Молоховец. «Форель в сметане… Рябчики запеченные… – уже даже не смешно», – ворчит Софья Карловна.

– В Доме на набережной[12] больше не бываете?

– Нет, а что я там потеряла? Впрочем, потеряла много. Но имущество наше мне ведь не вернут. Все развеяно по свету. Управляющий домом оказался мародером, конфискованное он присваивал себе. Приговорили его к высшей мере за это, но началась война, и он попал в штрафбат. Может, и сейчас жив. А обеспеченность, богатство меня не волнуют. Я привыкла к нищете и прекрасно с ней обхожусь. К роскоши не приучили. Единственное огорчение – не хватает денег на книги, люблю читать.

– Сталина вы видели, общались с ним?

– Нет, не приходилось, хотя жили мы какое-то время в Кремле, по соседству. С сыном его Васькой училась в школе. Однажды даже тумаков ему надавала, девчонка я была драчливая. Отец мне говорил: «Сонька, не давай спуску никому, бей первая. Не жди, когда тебя ударят». Как-то позже Василий напомнил мне об этом, смеясь. Но ничего, обошлось.

– При вас арестовывали отца?

– Я была в Сочи, когда отец вызвал меня телеграммой, чувствуя, что его вот-вот возьмут. Звоню ему: «Что случилось, что-то с мамой?» – «Нет, ничего не случилось. Но срочно приезжай».

В момент ареста отца меня не было дома. И он заявил, что не уйдет из квартиры, пока не простится с дочерью. Хоть стреляйте. И они ждали моего возвращения. Вернулась я поздно ночью, терпение непрошеных гостей уже, по-видимому, иссякало, и отца

выводили. На прощание он успел мне сказать: «Что бы ты ни узнала, что бы ты ни услышала обо мне, знай, я ни в чем не виноват». Перед своим арестом отец собрал для меня деньги, пять тысяч, старыми, естественно, отдал моей тетке по матери, а она тут же отдала НКВД. Отца арестовали, жить не на что. Я говорю матери: «Давай продадим часть книг отца». А мать в ответ: «Ни в коем случае. Я не позволю, ведь библиотека уже конфискована, нельзя нарушать законы». И ничего не продала. А сейчас хоть одну бы книжечку с экслибрисом, с пометой отца. Где они все? Вот в какие игры играли с товарищем Сталиным.

– Вы, конечно, верили в невиновность отца?

– Когда я прочла в газетах всю белиберду об отце, поняла, что если даже в мелочах допущена ложь, то все остальное – чушь несусветная. Господи, как много было тогда наивных людей! И как удалось этому тирану надуть миллионы и миллионы, не могу понять?!

– И отец ваш был наивным?

– Конечно! И товарищи его. Ведь они считали, что если при Ленине можно было открыто дискутировать, убеждать друг друга в чем-то, то так будет всегда. А так потом никогда уже не было. Конечно, отец был наивным человеком. И он наивно надеялся, оговаривая себя, что спасает меня и маму.

– В чем обвинили отца?

– Мне дали прочесть стенограмму того процесса. Отца обвиняли чуть ли не в попытке реставрации капитализма. Отцу моему была нужна реставрация капитализма, члену партии с 1903 года, выходцу из нищей семьи? Мать была народной учительницей, но все равно беднота. Такой бред собачий я прочитала в этой стенограмме, такие неслыханные обвинения, в которых отец признал себя виновным, что, если думать об этом, кажется, можно сойти с ума. Кроме физических воздействий, на осужденных действовали методом запугивания. Мы, члены семей, были как бы заложниками у палачей.

Вспоминаю такой эпизод. Отец совершенно не пил. Один-единственный раз в жизни видела я его нетрезвым. Он пытался открыть свою комнату и никак не мог попасть ключом в замочную скважину. Возился и приговаривал: «Хозяину никого не жаль, а вот мне дочку жаль». Сами понимаете, что «хозяин» – это Сталин. Тот эпизод я запомнила на всю жизнь. Да, все мы, члены семей, были заложниками, ибо то, что арестованные наговаривали на себя или на кого-то, было результатом угроз расправиться с близкими.

– Вам известны какие-либо подробности об отце после его ареста?

– После процесса матери дали свидание. Мать была человеком замкнутым и, придя с Лубянки, только сообщила: Я ему сказала: «Как ты мог наговорить о себе такой ужас?» А он ответил: «Так было нужно». Вот и все. Еще он спросил: «А Сонька не хотела прийти?» Мать ответила: «Нет, не хотела».

– Почему же вы не пошли на свидание с отцом?

– Было обидно, что близкий мне человек мог так чудовищно оговорить себя. Тогда я не могла ему этого простить. Только став взрослым человеком, сама пройдя все круги ада, могу понять, что можно сделать с человеком в заключении.

– И сейчас вы прощаете отцу?

– Безусловно.

– А когда вы впервые почувствовали, что прощаете?

– Когда меня за шкирку взяли и выбросили из Москвы. После ссылки я, нарушив подписку о неприезде в Москву, приехала на несколько дней домой. Тут-то по доносу соседки меня и взяли. Моего наказания палачам показалось недостаточно, они меня упекли еще раз, и я отсидела семь лет из десяти. Мне на роду написано сидеть по тюрьмам да лагерям, потому что я родилась 15 февраля 1919 года, а в этот день моего отца арестовали в Германии. Так что мне надо сетовать только на свою судьбу.

– В чем вы конкретно обвинялись во второй раз?

– Якобы я кому-то заявила, что отомщу за родителей. Но как я могла отомстить за родителей? Как? Сейчас я думаю, что эту бешеную собаку, тирана усатого, нужно было кому-то пристрелить. Ведь все равно каждому, кто был с ним близок, грозила смерть. Какие мужественные люди были, решительные. Ходили с оружием. Хотя бы Тухачевский. И никто не решился порешить эту гадину. Даже Орджоникидзе, с его горячей кровью. Вот как Сталин сумел всех околдовать. А вообще, я считаю, что умными и решительными были только Томский и Гамарник. Они покончили с собой, потому что их тоже заставляли обливать себя и других помоями. Многие из окружения Сталина понимали, что их ждет. Помню, когда в газетах сообщили об убийстве Кирова, отец был невменяем, я его в таком состоянии никогда не видела, а мать произнесла вещие слова: «А вот теперь они расправятся со всеми, кто им не угоден». Так и случилось. Говорят иные: не Сталин виноват, а Берия, Ежов… Так не бывает, чтобы царь-батюшка был хорошим, а министры плохие.

О книге К. Радека «Портреты и памфлеты»

– Что вы скажете о книге Радека «Портреты и памфлеты»? Она произвела на меня тягостное впечатление. Читать ее сегодня горько и обидно. Талантливейший человек, публицист, умница Карл Радек, извините меня, талантливо воспевал сталинский режим…

Эту книгу я в 1972 году с огромным для себя риском приобрел у одной женщины, дочери расстрелянного ГПУ «оппортуниста».

«…Мы уверены, что народные массы всех стран, угнетаемые и терроризируемые маленькими кучками эксплуататоров, поймут, что в России насилие употребляется только во имя святых интересов освобождения народных масс, что они не только поймут нас, но пойдут нашим путем.

…Нельзя высчитать на счетах „преступлений“ и благодеяний то, что представляет собой Советская власть, по той простой причине, что если считать капитализм злом, а стремление к социализму благом, то не может существовать злодеяний Советской власти. Это не значит, что при Советской власти не существует много злого и тяжелого. Не исчезла еще нищета, а то, что мы имеем, мы не всегда умеем правильно разделить. Приходится расстреливать людей, а это не может считать благом не только расстреливаемый, но и расстреливающие, которые считают это не благом, а только неизбежностью.

…Через десять лет удельный вес интеллигенции будет равен нулю. Начнет исчезать разница между умственным и физическим трудом. Новое крепкое поколение рабочих овладеет техникой, овладеет наукой. Оно, может быть, не так хорошо будет знать, как объяснился в любви Катулл коварной Лесбии, но зато оно будет хорошо знать, как бороться с природой, как строить человеческую жизнь.

…Есенин умер, ибо ему не для чего было жить. Он вышел из деревни, потерял с ней связь, но не пустил никаких корней в городе. Нельзя пускать корни в асфальт. А он в городе не знал ничего другого, кроме асфальта и кабака. Он пел, как поет птица. Связи с обществом у него не было, он пел не для него. Он пел потому, что ему хотелось радовать себя, ловить самок. И когда, наконец, это ему надоело, он перестал петь.

…Попробуйте изолировать ребят от таких событий, как процесс вредителей. Среди детей, которых я знаю, помилование вредителей вызывало целую бурю негодования. Как же это: предали страну, хотели обречь на голод рабочих и крестьян и не были расстреляны?»

– Софья Карловна, вам, наверное, это неприятно слышать, но

согласитесь, что размышления Карла Бернгардовича из книги «Портреты и памфлеты» просто чудовищны. В какие времена, в какую эпоху, в какой стране детей призывали к жестокости и поощряли вызывать бурю негодования из-за того, что человека не лишают жизни? Как все это объяснить? Задачами «момента», ослеплением, трусостью или, как вы выразились, тем, что Сталин всех околдовал?

– К сожалению, все, что вы говорите, справедливо. И цитаты из отцовской книги весьма характерны не только, по-видимому, для его пера, его взглядов и позиций, но и для многих литераторов того времени. «Портреты и памфлеты» я не читала, когда они вышли. Не читала тогда, не буду читать и сейчас. Из-за этих статей я и с отцом ругалась. Я ведь говорила ему в глаза все, что думаю.

– Кстати, Софья Карловна, эта книга посвящена «Памяти незабвенного друга Ларисы Михайловны Рейснер». Это не случайно?

– Да, они очень дружили. Может быть, между ними было большое чувство. У меня до сих пор такая тоска по Ларисе Михайловне… Красивая она была женщина. Отец даже меня брал на свои свидания с Ларисой.

Уезжая в ссылку, я хотела взять с собой портрет Рейснер, висевший над столом отца, но мать твердо сказала: «Это оставь».

– Какова судьба вашей матери?

– Она умерла в лагере.

– Когда вы обратились по поводу реабилитации отца?

– Долго не обращалась, считала, что бесполезно, бессмысленно. Только недавно и написала.

Году в 57-м, когда реабилитировали меня и мать, я была на приеме у Микояна. Мне запомнилась сказанная им фраза: «Напрасно Карл не захотел жить». На это я ему ответила: «Анастас Иванович, а какой ценой?» И больше на эту тему разговора не было. Я, кстати, несколько раз обращалась с просьбой сообщить об обстоятельствах смерти отца. Мне ни разу не ответили. Во всех биографиях, опубликованных, к примеру, в Польше, говорится, что он умер в 1939 году, но не сообщается, при каких обстоятельствах. А теперь я знаю, что моего отца убил в лагере наемный убийца. Почему наемный? Потому что плохих отношений с людьми у отца быть не могло. Убил его наверняка человек, которому за это обещали свободу. Ужас, как я до сих пор не сошла с ума при воспоминаниях о бедном моем отце. Вопрос о его реабилитации стоял еще в 1957 году, но тогда не довели до конца. До справедливости. Тридцать лет ждали этого момента. Хотя я понимаю, что и сегодня сопротивление этому процессу железное. Не все хотят реабилитаций, справедливости, правды.

– Софья Карловна, расскажите подробнее о вашем отце. Ведь его биография, его работа, его человеческие качества для многих и многих – белый лист.

– Ну что сказать? Начну с конца. Этим летом я получила бумаги, в которых говорится о том, что решение коллегии ГПУ от 6 января 1928 года в отношении Карла Радека отменено и дело прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Карл Радек по данному делу реабилитирован посмертно. Реабилитирован он посмертно и по второму делу от 30 января 1937 года.

До ареста 16 октября 1936 года мой отец был заведующим Бюро международной информации ЦК ВКП(б). Говорить об отце трудно, хотя я была ему, безусловно, близким по духу человеком. Никаких воспоминаний о нем я не писала. То, что я сейчас навспоминаю, пожалуй, мои первые «официальные» мемуары.

…Он не был резонером. Не морализаторствовал, но говорил очень важные для жизни вещи. Об уважении к человеческому труду: «Если ты осмелишься невежливо разговаривать с домработницей, можешь считать, что я тебе не отец, а ты мне не дочь». Говорил о том, что не надо входить в чужой монастырь со своим уставом, напоминал, что человек должен быть интернационалистом. Все это мне пригодилось потом. На этих заповедях я выросла. В эвакуации в Средней Азии, проживая в глухом ауле, в простой семье, я ни разу не позволила себе сделать хозяевам даже малейшего замечания. Хотя поводы, конечно, были. Я была благодарна казахам, которые делили со мной последний кусок хлеба. Отец считал, что ни национальность, ни вероисповедание не должны разделять людей. Ты веришь в Бога? Да повесь хоть свой собственный портрет и молись на него, считал он. А ведь тогда многие думали иначе: если человек верующий, то он уже почти враг народа. Лично я не верю ни в какого бога: ни в земного, ни во всевышнего, но считаю, что отец был прав. Главное отличие людей – хороший ты человек или дрянь. Вот и все.

Отец был веселым, жизнерадостным.

Работая в «Известиях», печатаясь чуть ли не в каждом номере, он зарабатывал немало. Но в доме никогда не водилось лишних денег. Потому что всегда находились товарищи, которым надо было помочь. Особенно по линии Коминтерна. Вообще он никому не отказывал, если был нужен. В школе, где я училась, несмотря на занятость, выступал с докладами о международном положении. С каким приподнятым настроением он шел на эти встречи! Отец выходил во двор, и его окружали ребятишки. Мы жили в Доме на набережной. Стоило только отцу выйти во двор,

как он забывал про свои доклады и забавлялся с детьми.

Очень любил животных. У нас в доме всегда водилась какая-то живность. Когда отца забрали, наша собачка Чертик долго не ела, и мы думали, что она сдохнет. Вот это протест так протест! Я бы сказала, что чрезмерная любовь отца портила меня. Но именно память об этой любви поддерживала меня всю жизнь. Это был человек, которому ничего не надо было для себя, кроме, пожалуй, одного: книг. Он очень много читал, библиотека его была огромна, тысяч двенадцать томов. Он читал на многих языках мира. Родным языком его был польский. Доклады свои и статьи он не писал, а диктовал стенографистке, ее звали Тося.

Мне кажется, что так, как работал отец, мало кто из журналистов сегодня умеет работать.

Много общался с людьми. Часто работал ночами. Из-за этого я виделась с ним мало. Я уходила в школу, а он спал. Жили мы скромно, хотя вроде бы все было. Одевали нас всех одинаково. Пионерская форма состояла из сатиновой юбочки и ситцевой белой кофты. В школе я была хулиганка. В связи с этим помню один разговор с отцом. Прихожу как-то раз из школы, а он меня встречает и с порога: «Сонька, ты должна быть честной». – «А что я тебе соврала?» – «Так тебя, оказывается, из пионеров выгнали, почему ты мне ничего не сказала?» – «Папа, я тебе решила сказать все сразу: меня и из школы выгнали». – «За что?» – «За драку». – «Ну вот иди и сама устраивайся куда хочешь, я хлопотать за тебя не стану». И я пошла. Пришла в одну школу, директор спрашивает, почему я именно в эту школу хочу устроиться. «А здесь моя подруга учится». – «Кто же она?» – «Наташа Сиротенко». – «О, с нас достаточно Наташи Сиротенко, ее подруг нам не надо».

И выпроводил меня. Побрела я в другую школу, у Никитских ворот. Директор, помню его имя, Иван Кузьмич Новиков (он преподавал необязательный предмет «Газета») спрашивает: «Читаешь ты статьи Карла Радека?» – «Нет, не читаю», – отрезала я.

Отец мне никогда ничего не запрещал, и я читала все, что вздумается. Воспитывали меня по так называемому саксонскому методу. В тринадцать лет вручили ключи от квартиры и сказали, что я могу уходить, приходить, когда вздумается, и никто не имеет права спрашивать, куда я иду. И в мою комнату никто не имел права заходить без стука. Считаю, что система правильная.

Своим долгом отец считал таскать меня на всевозможные заседания. Так и «заседала» я с трехлетнего возраста то в Коминтерне, то на съездах разных. Побывала и на Первом съезде писателей СССР. Помню, вышел Алексей Максимович[13], открыл

съезд, и говорил, между прочим, на мой взгляд, плохо. Я запомнила, что он почему-то расплакался.

По заданию Ленина отец бывал в Германии, там его «засекли» и посадили в тюрьму Моабит. Смешно, но он потом вспоминал об этом периоде по-доброму. Говорил, что мог изучать в тюрьме русский язык. Ведь по-русски он говорил очень смешно, с акцентом, коверкая фразы. Например: «За ничто на свете я этого не сделаю». Я говорю: «Папа, по-русски говорят: ни за что на свете». – Так я же так и говорю: «За ничто на свете».

Его часто приглашали на приемы, и надо было ходить в смокинге. А смокинга у отца не было. Даже черного костюма не имелось. Ему прощали как чудаку «неполноту» гардероба. В жизни, в быту у него были три слабости: книги, трубки и хороший табак. Из множества его трубок сохранилась только одна. Передала мне ее Мария Малиновская. Трубка побывала с новыми хозяевами в лагерях, но друзья отца, которые выклянчили эту трубку у него незадолго до ареста на память, сумели ее сохранить.

На валюту, которую выдавали ему при поездках за границу, он позволял себе покупать только трубки. Больше ничего. Остальное привозил и сдавал государству. Помню, как-то собирался в Женеву, и я попросила привезти мне рихтеровскую готовальню. Отец отрезал: «Обойдешься, буду я валюту тратить на твою готовальню, сходи в комиссионку и купи». Время, проведенное за любой игрой, считал потраченным даром. Мы с мамой играли в карты, а отец все возмущался, он не знал даже названия карт. Мама имела разряд по шахматам, и ей надо было поддерживать форму, играть, так отец в такие минуты иронизировал: «Сонька, мать-то опять в шахматы играет».

– А почему в стихотворении Александра Межирова, опубликованном в «Новом мире», говорится, что «Соня Радек бьет соседку»? И кто такая Таша Смилга?

– Я давно знакома с Александром Петровичем. Как-то вышло, что многие мои подруги, с которыми я была в местах не столь отдаленных, с ним дружны. Вот он и решил посвятить всем нам, а в особенности Галине Шапошниковой (кстати, невестке маршала Шапошникова) стихотворение. Таша Смилга – дочь одного из соратников Ленина Смилги. Что касается эпизода, описанного в стихотворении, то история такова. Когда я вернулась окончательно в Москву в 1961 году, жить мне было негде. Ждала, пока дадут вот эту квартиру, жила в комнатке. Соседка попалась сволочь, пьяница. Однажды говорит мне: «Ты одна, вражина, и я одна, буду хулиганить как мне вздумается, и ничего не докажешь». А я в ответ ее же оружием, меня голыми руками не

возьмешь. Однажды, когда после очередного перепоя она стала выяснять со мной отношения, я надавала ей по морде. Она одна, и я одна. Вот так.

– *В стихотворении есть и другие, более возвышенные строки:*

Слава комиссарам красным
Чей тернистый путь был прям…
Слава дочкам их прекрасным,
Их бессмертным матерям.

– Конечно, жизнь нас потрепала, но знаете, – это, наверное, звучит кощунственно – я считаю: наверное, правильно потрепала.

– *Не понимаю…*

– Скольких людей сломал этот тиран! И каких людей! Если уж жертвами оказались Тухачевский, Бухарин, Рыков, Радек, если они дали себя растоптать, то что взять с нас, бедных и сирых? Так вот, мы сами позволили Сталину распоряжаться нашими судьбами, сами отдали себя на его произвол. Вот почему я и считаю, что пенять-то нечего. Жаль только, что слишком поздно это поняли. Жизнь прошла.

1988

Глава 12. Красавица Анна Бухарина и чудовище Иосиф Сталин

«То кровь от смертных мук…»

«Бухарин – золотое дитя революции»

Однажды Евгений Евтушенко рассказал мне о нелегкой судьбе художника Юрия Ларина.

– Между прочим, сын Бухарина, – добавил он многозначительно. – Его мать, Анна Михайловна, – вдова Николая Ивановича Бухарина.

– Разве она жива?

– Жива…

Генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Михаилу Сергеевичу Горбачеву.

Несмотря на напряженное международное положение, я ставлю перед Вами вопрос о посмертной партийной реабилитации моего мужа и отца моего сына – Бухарина Николая Ивановича… С настоящим заявлением я обращаюсь не только от себя, но и по поручению самого Бухарина. Уходя в последний раз на февральско-мартовский Пленум в 1937 году (Пленум заседал не один день), Николай Иванович, предчувствуя, что он уже больше не вернется, и учитывая мою тогдашнюю молодость, просил меня бороться за его посмертное оправдание. Этот невыносимо тяжкий момент никогда не умрет в моей памяти. Измученный страшными, необъяснимыми для него подозрениями, ослабевший от голодовки в знак протеста против чудовищных обвинений, Бухарин пал передо мной на колени и со слезами на глазах просил, чтобы я не забыла ни единого слова его письма, адресованного «Будущему поколению руководителей партии», просил бороться за его оправдание: «Клянись, что ты это сделаешь. Клянись! Клянись!» И я поклялась. Нарушение этой клятвы противоречило бы моей совести…

Такое письмо отправила вдова Н. И. Бухарина Анна Михайловна Бухарина-Ларина Генеральному секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву.

…Летом восемнадцатого года Н. И. Бухарин находился в Берлине. Его командировали для подготовки документов, связанных с мирным Брестским договором. Однажды услышал об удивительной гадалке, предсказывающей судьбу. Любопытства ради решил посетить обитавшую на окраине города предсказательницу. То, что наворожила ему хиромантка, было поразительно:

– Вы будете казнены в своей стране.

Бухарин оторопел, ему показалось, что он ослышался,

переспросил:

– Вы считаете, что Советская власть погибнет?

– При какой власти погибнете – сказать не могу, но обязательно в России…

А. М. Ларина росла в семье профессиональных революционеров, после Октября ставших у руля государства. Поэтому вся ее жизнь проходила в сложной общественной атмосфере той поры: политические дискуссии, споры, распри и, наконец, террор. Имя отца Анны Михайловны сегодня забыто, хотя похоронен он у Кремлевской стены.

Анна Михайловна помнит себя очень рано. На четвертом году жизни она стала настойчиво интересоваться, где ее родители, – она видела их крайне редко. Ей запомнился ворчливый ответ деда: «Твои родители – социал-демократы, они предпочитают сидеть по тюрьмам, бегать от ареста за границу, а не сидеть возле тебя и варить тебе кашу». Девочка не поняла, что такое социал-демократы, но тюрьма была невдалеке от дома, и дед говорил ей, что там сидят воры и бандиты. Подавленная, Аня больше не решалась спрашивать о родителях, которых увидела после Февральской революции, когда они вернулись из эмиграции.

– Мама очень понравилась, – вспоминает Анна Михайловна, – она была красивая, стройная, с большими добрыми серыми глазами, обрамленными длинными пушистыми ресницами. И я решила, что социал-демократы вовсе не так уж плохи.

…Момент знакомства с Бухариным мне хорошо запомнился. В тот день мать повела меня в Художественный театр смотреть «Синюю птицу» Метерлинка. Весь день я находилась под впечатлением от увиденного, а когда легла спать, сновидение повторяло спектакль. И вдруг кто-то дернул меня за нос. Я испугалась, ведь Кот на сцене был большой, в человеческий рост, и крикнула: «Уходи, Кот!» Сквозь сон услышала слова матери: «Николай Иванович, что вы делаете, зачем вы будите ребенка!» Но я уже проснулась, и передо мной все отчетливее стало вырисовываться лицо Николая Ивановича. В тот момент я и поймала свою синюю птицу, символизирующую стремление к счастью и радости, не сказочно-фантастическую, а земную, за которую заплатила высокую цену.

…Из всех многочисленных друзей отца моим любимцем был Бухарин. В детстве меня привлекали в нем неуемная жизнерадостность, озорство, страстная любовь к природе и знание ее (он был неплохим ботаником, великолепным орнитологом), а также его увлечение живописью.

…Я не воспринимала его в то время взрослым человеком. Это

может показаться смешным и нелепым, тем не менее это так… Если всех близких товарищей отца я называла по имени и отчеству и обращалась к ним на «вы», то Николай Иванович такой чести удостоен не был. Я называла его Николаша и обращалась только на «ты», чем смешила и его самого, и своих родителей, тщетно пытавшихся исправить мое фамильярное отношение к Бухарину, пока они к этому не привыкли.

…Одна из первых встреч с Николаем Ивановичем связана с воспоминанием о Ленине. Однажды в кабинет отца, где, как обычно, было полно народу, пришел Ленин. Для меня в ту пору он был равным среди равных. Помню его смутно. Но один забавный эпизод запал в память на всю жизнь. Когда я вошла в кабинет отца, только-только ушел Бухарин. Речь, по-видимому, шла о нем, я не могла понять всего, что говорилось Лениным, но запомнила одну фразу: «Бухарин – золотое дитя революции». Это высказывание Ленина о Бухарине стало потом хорошо известно в партийных кругах и воспринималось как образное выражение. Я же пришла от сказанного в полное замешательство, так как все поняла буквально, и заявила Ленину протест. «Неправда, – сказала я, – Бухарин не из золота сделан, он же живой!» «Конечно, живой, – ответил Ленин, – я так выразился потому, что он рыжий».

…21 января 1924 года поздним вечером из Горок позвонил Николай Иванович и сообщил, что жизнь Ленина оборвалась. Я еще не спала и видела, как две слезы, только две, катились из скорбных глаз отца по его мертвенно-бледным щекам. День похорон – 27 января – совпал с моим днем рождения. Отец сказал: теперь твой день рождения 27 января отменяется, этот день – день траура навечно. Твой день рождения мы будем отмечать 27 мая, когда пробуждается природа и все цветет.

Самое примечательное заключается в том, что отец поехал со мной в загс на Петровку, чтобы заменить метрическое свидетельство. Изумленный его просьбой, сотрудник загса долго упирался, советуя день рождения отмечать 27 мая, но документы не менять. Наконец сдался. И я была зарегистрирована вторично спустя десять лет после моего рождения. По этому метрическому свидетельству мне выдали паспорт, в котором и по сей день значится датой моего рождения 27 мая.

…Когда Николай Иванович уходил от нас, я очень огорчалась и все чаще сама забегала к нему. Много раз я заставала Сталина у Николая Ивановича. Однажды, это было году в двадцать пятом, я написала стихотворное послание, которое заканчивалось словами: «Видеть я тебя хочу. Без тебя всегда грущу». Показала стихи отцу, он сказал: «Прекрасно! Раз написала, пойди и отнеси

их своему Николаше». Но пойти к нему с такими стихами я постеснялась. Отец предложил отнести стихи в конверте, на котором написал «От Ларина». Я приняла решение: пойти, позвонить в дверь, отдать конверт и тотчас же убежать. Но получилось не так. Только я спустилась по лестнице с третьего этажа на второй, как неожиданно встретила Сталина. Для меня было ясно, что он идет к Бухарину. Недолго думая, я попросила его передать письмо, и Сталин согласился. Так, через Сталина (какая же зловещая ирония судьбы), я передала Бухарину свое первое детское объяснение в любви.

…1927 год был для меня очень печальным. По настоянию Сталина Бухарин переехал в Кремль. Пройти туда без пропуска было нельзя. Хотя впоследствии Николай Иванович оформил для меня постоянный пропуск, застать его в ту пору дома было почти невозможно. Я специально изменила свой маршрут в школу, шла более длинным путем, лишь бы пройти мимо здания Коминтерна – оно находилось против Манежа, возле Троицких ворот, – в надежде встретить Николая Ивановича. Не раз мне везло, и я, радостная, устремлялась к нему.

…Случалось так, что Николай Иванович приезжал к нам на дачу в Серебряный бор. Мать немного посмеивалась над нашим увлечением, не принимая его всерьез: отец молчал и в наши отношения не вмешивался.

Осенью и зимой 30-го и в начале 31-го года свободное время мы старались проводить вместе. Бывали в театрах, на художественных выставках. Я любила часы общения с ним в его кремлевском кабинете. Николай Иванович любил читать вслух…

«Платить за квартиру не имею возможности…»

…Весь день 2 ноября 1987 года Анна Михайловна провела у телевизора. Она ловила каждое слово в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС, произнесенном им на торжественном заседании, посвященном 70-летию Октябрьской революции. Волновалась, нервничала, ожидая чего-то очень для нее важного. Важного, как она понимала, для многих, но для нее – как ни для кого. Когда до нее донеслись слова, сказанные когда-то Лениным, о том, что «… Бухарин… законно считается любимцем всей партии…», она удовлетворенно вздохнула.

Несколькими днями позже она с радостью прочитала в газете «Известия», что имя Бухарина восстановлено в советской истории.

«Бывают мрачнейшие люди с оптимистическими идеями, бывают и веселые пессимисты. Бухарчик был удивительно цельной натурой, он хотел переделать жизнь, потому что ее любил», – писал о Бухарине Илья Эренбург.

…На мои расспросы о том, каким был Бухарин в быту, в домашней обстановке, Анна Михайловна рассказала о нескольких эпизодах.

– Однажды Сталин, обсуждая поездку в Париж, заметил Николаю Ивановичу: «Костюм у тебя, Николай, поношенный, так ехать неудобно, надо быть одетым…»

В тот же день раздался телефонный звонок портного из Наркоминдела, который просил как можно скорее снять с клиента мерку для пошива. Николай Иванович попросил сшить костюм без мерки и пытался объяснить портному, как сильно занят. «Как это – без мерки, – удивился портной, – поверьте моему опыту, товарищ Бухарин, еще ни один портной без мерки костюм не шил». «Сшейте по старому костюму», – предложил Николай Иванович. Но он забыл, что такой выход из положения был неосуществим прежде всего потому, что единственный старый костюм был на нем. Отдав костюм портному, главный редактор газеты мог явиться на работу только в нижнем белье. Минуту для посещения портняжной Бухарин нашел. Новый костюм ему сшили, он съездил в нем в Париж, в нем же впоследствии был арестован.

Через два месяца после ареста мужа Анна Михайловна с сыном, отцом Николая Ивановича и его первой прикованной к постели женой Надеждой Михайловной, его другом, также позднее репрессированной (она написала письмо Сталину, что не

желает быть членом партии в то время, когда Бухарину предъявляют чудовищные необоснованные обвинения, и лично ему отослала свой партийный билет), были переселены из Кремля в Дом правительства у Каменного моста (Дом на набережной), к тому времени уже наполовину опустошенный. Прислали счет за квартиру. Платить было нечем, и, поскольку дом находился в ведении ЦИКа, Анна Михайловна написала М. И. Калинину маленькую записочку: «Михаил Иванович! Фашистская разведка не обеспечила материально своего наймита Николая Ивановича Бухарина – платить за квартиру не имею возможности, посылаю Вам неоплаченный счет».

Последние месяцы перед арестом

…Коснулись темы «Бухарин и Пастернак». Говорили о прекрасной оценке творчества Бориса Леонидовича, данной Бухариным в докладе на Первом съезде советских писателей. Вспомнили стихотворение поэта «Волны», посвященное Николаю Ивановичу:

Он сам повествовал о плене
Вещей, вводимых не на час,
Он плыл отчетом поколений,
Служивших за сто лет до нас.

Анна Михайловна отметила, что в дни тягостных предарестных событий, когда однажды в газетах сообщили (это была очередная уловка Сталина), что дело Бухарина прекращено, Николай Иванович получил телеграмму от Ромена Роллана и поздравительное письмо от Пастернака, чем он был глубоко взволнован. А позже, когда во второй половине января 1937 года была снята подпись Бухарина как ответственного редактора газеты «Известия» и стало яснее ясного, что дела Николая Ивановича совсем плохи, Борис Пастернак вновь прислал Бухарину коротенькое письмо, как ни странно, не задержанное. В письме он писал, что никакие силы не заставят его поверить в предательство Бухарина. Он также выражал недоумение по поводу происходящих в стране событий. Получив такое письмо, Николай Иванович был потрясен мужеством поэта.

…По моей просьбе Анна Михайловна рассказала о последних месяцах и днях ее жизни с Н. И. Бухариным, когда Сталин во всей полноте показал деспотическую сущность своего характера. События развивались следующим образом. Как считает Анна Михайловна, последние месяцы жизни Бухарина до ареста – это время, когда подготовка его физического уничтожения стала явной, и отсчет тем дням начался с процесса Зиновьева и Каменева, то есть с августа 1936 года. Но Николай Иванович жил обычной для него жизнью: работа в редакции «Известий», в Академии наук СССР, подготовка новой, так называемой Сталинской, конституции.

Родился сын, и сорокасемилетний отец пребывал в радостном возбуждении. Он был счастлив. Через месяц после рождения семья уехала на Сходню, где находились дачи «Известий». В

начале августа Николай Иванович получил отпуск и отправился на Памир осуществить свою давнюю мечту – поохотиться в горах. Сопровождал его в поездке секретарь Семен Ляндрес (кстати, отец писателя Юлиана Семенова).

На Памире Бухарин забрался в такие дебри, где не было ни почтовой, ни телеграфной связи. Две недели Анна Михайловна с нетерпением ждала вестей. И вести, неожиданные, страшные, появились 19 августа. Она прочитала в газетах о начале процесса так называемого троцкистского объединенного центра, о том, что многие его участники дали показания против Бухарина. Вскоре появилось заявление Прокуратуры о начале следствия по делу упомянутых на процессе лиц, в том числе и ее мужа. На собраниях выносились гневные резолюции: «Посадить на скамью подсудимых…» Опубликовали извещение о самоубийстве Томского.

– От Бухарина вестей не было, – продолжала Анна Михайловна, – но вот, наконец, он прилетает самолетом из Ташкента, случайно узнав о нависшей над ним смертельной опасности. Волновался, что арест произойдет прямо в аэропорту. Увидев меня, воскликнул: «Если бы я мог предвидеть подобное, убежал бы от тебя на пушечный выстрел». «Куда поедем?» – спросил подавленный шофер. Бухарин лихорадочно соображал, откуда ему позвонить Сталину. «Будь что будет!» – решил он и поехал на квартиру в Кремль. Дежурный охраны как ни в чем не бывало отдал честь члену ЦИКа.

Лихорадочный звонок, уже из своего кабинета, Сталину. Незнакомый голос ответил: «Иосиф Виссарионович в Сочи». «В такое время в Сочи?» – удивился Бухарин.

Сидел целыми днями в своем рабочем кабинете, ожидая звонка.

В начале сентября пригласили в ЦК для разговора с Кагановичем. «Почему с Кагановичем?» – недоумевал Бухарин. Вновь решил позвонить Сталину, последовал тот же ответ: «Иосиф Виссарионович в Сочи». Вернувшись из ЦК, рассказал невообразимое: ему устроили очную ставку с Сокольниковым, другом его юности, и тот показывал против него. 10 сентября 1936 года в газетах появилось сообщение Прокуратуры СССР, в котором говорилось о прекращении следствия по делу Бухарина и Рыкова, – тактический шаг Сталина, дабы показать «объективность» следствия.

Николай Иванович пытался не бездействовать: читал, делал выписки из немецких книг, работал над большой статьей об

идеологии фашизма. К концу ноября нервное напряжение стало столь велико, что работать больше он не мог. Метался по квартире, как загнанный зверь. Заглядывал в «Известия» – не подписывают ли газету фамилией другого редактора. Но подпись была та же: «Ответственный редактор Н. Бухарин». Он недоуменно пожимал плечами. В первых числах декабря по телефону оповестили о созыве Пленума ЦК. О повестке дня сказано ничего не было. Придя с Пленума домой, Бухарин закричал:

– Познакомься! Твой покорный слуга – предатель, террорист-заговорщик.

Новый нарком НКВД Ежов со страшной силой обрушился на Бухарина, обвиняя его в организации заговора и в причастности к убийству Кирова. «Молчать! – закричал Бухарин прямо в зале, когда услышал столь чудовищное и абсурдное обвинение: нервы его не выдержали. – Молчать!» Все обернулись, но никто не произнес ни слова. Сталин сказал, что не надо, дескать, торопиться с решением, а следствие – продолжить. Бухарин подошел к Сталину и сказал, что надо бы проверить работу НКВД, разве можно верить клеветническим показаниям. Сталин ответил, что прошлые заслуги Бухарина никто не отнимает, затем отошел в сторону, не желая продолжать разговор.

Три последующих мучительных месяца Николай Иванович провел главным образом в небольшой комнатке своей квартиры, в бывшей спальне Сталина (по его просьбе Бухарин поменялся квартирой со Сталиным после того, как трагически погибла Надежда Аллилуева). Анна Михайловна почти постоянно находилась возле мужа, за исключением тех минут, когда выходила к ребенку. Однажды она увидела пистолет в руке Николая Ивановича, закричала. «Не волнуйся, я не смог, – сказал Николай Иванович. – Как подумал, что ты увидишь меня бездыханного…» Он встал, снял с полки том Верхарна, прочел: «То кровь от смертных мук распятых вечеров пурпурностью зари с небес сочится дальних… Сочится в топь болот кровь вечеров печальных, кровь тихих вечеров, и в глади вод зеркальных везде алеет кровь распятых вечеров…» Заточенный в квартире, Бухарин похудел, постарел, рыжая борода поседела. Снова бесполезное объяснение со Сталиным. Все шло к развязке давно уже продуманного приговора, хотя в мгновения относительного просветления Николай Иванович надеялся на жизнь. «А что, если вышлют к чертям на рога, – поедешь со мной, Анюта?»

Однажды Анна Михайловна вышла на улицу вдохнуть глоток свежего воздуха и столкнулась у соседнего подъезда с Серго

Орджоникидзе. Тот остановился. Слов Анна Михайловна найти не могла. Серго смотрел на нее такими скорбными глазами, что и по сей день она не может забыть его взгляда. Затем он пожал ей руку и сказал два слова: «Крепиться надо!» Сел в машину и уехал. Орджоникидзе оставалось жить считанные дни.

Снова звонок в дверь: извещение о созыве Пленума ЦК ВКП(б). Это уже «февральско-мартовского». Повестка дня: вопрос о Бухарине и Рыкове. Бухарин решает не идти на Пленум и объявляет голодовку. Письмо в Политбюро: «В протест против неслыханных обвинений объявляю смертельную голодовку…» Звонок в дверь, трое мужчин, приказ о выселении из Кремля. Звонок от Сталина. «Что у тебя, Николай?» – «Вот пришли из Кремля выселять…» – «А ты пошли их к чертовой матери». Пришедшие слышат разговор и разбегаются к «чертовой матери». 16 февраля Бухарин простился с отцом, первой своей женой Надеждой Михайловной, ребенком и начал голодовку. Побледнел, осунулся, синяки под глазами. Попросил глоток воды. Анна Михайловна выжимает апельсин, всего каплю. Стакан летит в угол: «Ты вынуждаешь меня обманывать Пленум, я партию обманывать не стану». Из-за похорон Орджоникидзе Пленум откладывается. Потом новая повестка дня с вопросом об антипартийном поведении Н. Бухарина в связи с объявленной голодовкой. Принимает решение: на Пленум идти, голодовку не прекращать. Лишь двое решаются пожать руку Бухарину: Уборевич и Акулов, секретарь ЦИКа. Сталин: «Кому ты голодовку объявил, Николай, ЦК партии? Проси прощения у Пленума…» – «Зачем это надо, если вы собираетесь меня исключить из партии?» – «Никто тебя из партии исключать не будет». Бухарин в очередной раз поверил Кобе и попросил прощения у Пленума ЦК.

«Мы понимали, что расстаемся навсегда»

– Наступил роковой день 27 февраля 1937 года. Вечером позвонил секретарь Сталина Поскребышев и сообщил, что Бухарину надо явиться на Пленум.

Непередаваем трагический момент страшного расставания, не описать душевную боль, что и по сей день живет в душе. Николай Иванович упал передо мной на колени и со слезами на глазах просил прощения за мою загубленную жизнь. Просил воспитать сына большевиком. «Обязательно большевиком», – повторил он. Просил бороться за его оправдание и не забыть ни единой строки письма-завещания.

– Ситуация изменится, обязательно изменится, – твердил он, – ты молода, ты доживешь. Клянись, что ты сумеешь сохранить в памяти мое письмо!

Я поклялась. Он поднялся с пола, обнял, поцеловал меня и произнес дрожащим голосом:

– Смотри, не обозлись, Анютка, в истории бывают досадные опечатки, но правда восторжествует!

От волнения меня охватил внутренний озноб, и я почувствовала, что губы мои дрожат. Мы понимали, что расстаемся навсегда. Николай Иванович надел кожаную куртку, шапку-ушанку и направился к двери.

– Смотри не налги на себя, Николай! – только это смогла я сказать ему на прощание.

Письмо «Будущему поколению руководителей партии» было написано Бухариным за несколько дней до ареста. Надежду на оправдание он окончательно потерял и принял решение заявить будущим потомкам о своей непричастности к преступлениям и просить о посмертном восстановлении в партии. В то время мне было 23 года, и Николай Иванович был убежден, что я доживу до такого времени, когда смогу передать письмо в ЦК. Будучи уверен, что письмо его будет отобрано при обыске, и опасаясь, что в случае обнаружения его я буду подвергнута репрессиям, Николай Иванович просил выучить письмо наизусть. Много раз он читал мне свое письмо, много раз вслед за ним я повторяла написанные им строки. Наконец, убедившись, что содержание письма я запомнила твердо и окончательно, он уничтожил рукописный текст.

Фотографию сына затоптали грязными сапогами

– Фотографию сына я сделала после ареста Николая Ивановича в надежде передать ее в тюрьму. «Мой ребенок», – чуя недоброе, ответила я на вопрос надзирателя. «Ах ты, сука, – заорал он, – щенка бухаринского с собой таскаешь». На моих глазах он разорвал фотографию, плюнул на нее и затоптал грязными сапогами.

– Вы заговорили о сыне… Расскажите о Юрии Николаевиче.

– Расставшись с сыном, когда ему был год, я увидела его через много лет – двадцатилетним юношей, летом 1956 года, когда он приехал ко мне в Сибирь, в поселок Тисуль Кемеровской области – последнее место моей ссылки. Поселок Тисуль отстоял от ближайшей железнодорожной станции Тяжин километров на 40–45. Регулярный транспорт в Тисуль не ходил. Добиралась на мотоцикле.

Как трудно мне сейчас передать свое душевное состояние! Я ехала к сыну и в то же время к незнакомому юноше. Что он представляет собой, воспитанник детского дома? Найдем ли мы общий язык? Сможет ли он понять меня? Наконец, он спросит меня, кто его отец. Я металась в сомнениях – надо ли раскрывать тайну страшной трагедии, не будет ли это слишком обременительно для юной души? Конечно, мы встретились после XX съезда партии, и я запаслась вырезками из газет на актуальную тему «культа личности Сталина». В газетном ларьке купила «Письмо к съезду», завещание Ленина, изданное брошюрой. Увидев издали приближающийся поезд, я, завернув в привокзальный палисадник, свалилась в обморок. Поезд оказался не тот, а к следующему, на котором приехал Юра, я уже отошла. Взглядом я старалась охватить весь состав одновременно, боясь, что пропущу Юру. Ведь я видела только его детские фотографии. И вдруг неожиданно я почувствовала объятия и поцелуи. Сын подбежал ко мне сбоку, я не заметила этого. Узнать его можно было только по глазам – такие же лучистые, как в младенчестве. Каким худющим он был, трудно рассказать, брюки еле держались на костлявых бедрах, каждое ребрышко можно было пересчитать. Я вглядывалась в его лицо, искала знакомые до боли родные черты. Как только он заговорил, у меня защемило сердце: тембр голоса, жестикуляция, выражение глаз – точно отцовские…

– Вот как бывает, Юрочка!.. Вот как бывает!.. – иных слов в

первое мгновение я найти не могла.

– Теперь я понимаю, в кого я такой худой, – сказал он.

К вечеру мы добрались до Тисуля. Следующий день прошел спокойно. Юра был веселый, пел песенки, бегал в огород за гороховыми стручками. То был счастливый, удивительно легкий, светлый день. Будто камень с души свалился. Я познавала сына, расспрашивала его обо всем на свете. Юра был студентом Новочеркасского гидромелиоративного института, но мне хотелось знать, не интересуется ли он естественными науками или математикой. Рассказала, что дед его, Иван Гаврилович, был математиком и когда-то преподавал в женской гимназии. Об увлечении отца естественными науками умолчала, не хотела напоминать о нем. В конце концов, сын стал художником, и я думаю, что это увлечение перешло к нему от отца. Гены есть гены.

На следующий день Юра наконец спросил:

– Мама, скажи, кто мой отец?

– Ну, как ты думаешь, Юрочка, кто твой отец?

– Должно быть, профессор какой-нибудь. – Его ответ меня рассмешил.

– Не профессор, а академик. Но главное, – продолжала я, – не то, что он академик, а то, что он известный политический деятель.

– Назови его фамилию.

– Фамилию я назову тебе завтра. – Я все оттягивала момент признания, все думала, назову фамилию, а он мне в ответ: «Так это тот самый – враг народа Бухарин»… Как страшно мне было в те минуты.

– Если ты не хочешь сейчас назвать фамилию отца, то я попробую сам, а ты, если я назову правильно, подтвердишь. Хорошо? – Я согласилась.

– Предполагаю, что мой отец Бухарин.

Я с изумлением посмотрела на сына:

– Как же ты догадался?

– Я действовал методом исключения. Ты сказала, что мой дед Иван Гаврилович, что мой отец был видным политическим деятелем. И я стал думать, кто из видных политических деятелей был «Ивановичем», и пришел к выводу, что это Бухарин, Николай Иванович.

Меня поразило, что Юра знал имена и отчества всех видных политических деятелей, соратников Ленина… Но я и по сей день не исключаю того, что, быть может, детская память ребенка запечатлела фамилию отца.

Прощаясь с сыном, я просила его не разглашать своей

действительной фамилии, опасаясь тех или иных трудностей в его дальнейшей жизни. В детском доме сыну выдали паспорт, в котором указали фамилию моих родственников, от которых он был взят в детдом. Так он стал Гусманом Юрием Борисовичем, хотя формального усыновления не было. Однако тайну своего происхождения хранить ему было трудно. Незадолго до окончания института, перед присвоением ему офицерского звания, Юре предстояло заполнить подробнейшую анкету. Умолчание об отце он рассматривал как умышленное укрывательство, и это его угнетало. В письме ко мне он просил разрешения на разглашение, и я отправила телеграмму, назвав фамилию, имя и отчество его отца.

– С кем свела вас судьба за долгие годы пребывания в лагерях и тюрьмах? Что больше всего поразило?

– Судьба свела меня с матерью, сыном которой гордилась вся страна, а уж мать и подавно, может, неосознанной внутренней гордостью, но не могла не гордиться. Зато и проклинала страна его дружно. Я не была матерью такого сына, я была женой такого всенародно проклятого мужа.

Я встретилась с семьей Тухачевского в самые трагические для нее дни, в поезде Москва – Астрахань 11 июня 1937 года по пути в ссылку. Меня довез на машине до вокзала и посадил в вагон, плацкартный, зато бесплатный, сотрудник НКВД, нарочито вежливо распрощавшись со мной и будто в насмешку пожелав всего хорошего. По дороге на станциях выходили из вагонов пассажиры и хватали газеты с сенсационными известиями. В них сообщалось, что «Военная Коллегия Верховного Суда СССР на закрытом судебном заседании рассмотрела… что все обвиняемые признали себя виновными…». В тот день погибли крупнейшие военачальники. В их числе и маршал Тухачевский.

Я заглянула в газету через плечо соседа, чтобы своими глазами прочесть сообщение, но буквы запрыгали, как только я прочитала: приговор приведен в исполнение.

Был теплый день, я смотрела в окно и незаметно утирала слезы. Через окно виднелись обширные степи, зеленые перелески и ясное небо – чистое-чистое. Поезд мчал меня в незнакомую Астрахань, с каждой минутой отдаляя от родной Москвы, от годовалого сына, которого мне пришлось увидеть через 19 лет. Я чувствовала себя одинокой среди посторонних людей, не понимавших моей трагедии, в свои 23 года заброшенной в чужие края, как занесенная ветром песчинка.

И вдруг у противоположного окна я заметила двух женщин – старуху и женщину лет 35, а с ними девочку-подростка. Они также внимательно прислушивались к читавшим газету, к тому,

как реагируют на это окружающие. Черты лица старухи мне кого-то напоминали. Меня словно магнитом потянуло к ним. Я сорвалась с места и попросила пассажира, сидящего против них, поменяться со мной местом. Я понимала, что в такой обстановке они не назовут себя, прежде чем я не объясню им, кто я. Но как сказать? Я же могла ошибиться в своих предположениях, что они свои – теперь уже больше, чем родные.

Я подошла вплотную к молодой женщине и очень тихо сказала: «Я жена Николая Ивановича». Сначала я решила не называть фамилии; имя и отчество Бухарина были так же популярны, как и фамилия. Ну а уж если не поймет, решила назвать и фамилию. Но ответ последовал мгновенно: «А я – Михаила Николаевича».

Так я познакомилась с семьей Тухачевского: его матерью Маврой Петровной, женой Ниной Евгеньевной, дочерью Светланой.

Тогда мать маршала еще не знала, даже, может, никогда и не узнала, что еще два ее сына – Александр и Николай – тоже расстреляны. Не знала она и то, что дочери ее тоже арестованы и осуждены на 8 лет лагерей.

Умерла Мавра Петровна в ссылке.

Эта встреча – одна из многих, оставивших память во мне на всю жизнь. А поразило? Поражало все…

«В шапке Сталина меня вели на расстрел…»

– Двое с револьверами в кобуре вывели меня из помещения на дорогу, ведущую к оврагу. Это было под вечер, солнце на три четверти упало за горизонт. В мглистой дали предвечерних сумерек виднелся тот зловещий овраг, о котором я уже знала, с редкими березками, забрызганными человеческой кровью. Я сделала несколько шагов, и вдруг во мне наступило ощущение того, что я полностью отрешена от жизни. То был конец – конец восприятия реальности. Охватившее меня оцепенение парализовало мышление. Будто я катилась вниз, в пропасть, как бессмысленная каменная глыба после горного обвала. Неожиданно до меня донесся шум, нарушивший гробовую тишину нашего шествия, поначалу воспринятый мной как раздражающее гудение сирены. Потом я различила человеческий голос, а затем стала понимать доносимые до меня слова. Мы остановились у самого края оврага. Я обернулась, вдали бежал человек в светлом полушубке. «Назад! Назад!» – кричал он…

Стоял лютый декабрьский мороз. Я продрогла. На мне была старая, уже изношенная шубка, высокие фетровые валенки Николая Ивановича, с загнутыми голенищами, старые, прохудившиеся, в ноги проникал снег. На голове теплая пыжиковая шапка-ушанка, принадлежавшая когда-то Сталину, – мое случайное «наследство». В конце 1929 года, после окончания конференции аграрников-марксистов, мой отец (а возможно, и Сталин) из двух пыжиковых шапок, висящих на вешалке рядом, по ошибке надел не свою. Шапки отличались друг от друга лишь цветом подкладки. По обоюдному согласию шапки вновь не были обменены. В единственной посылке, которую до своего ареста успела прислать мне мать, оказалась и эта шапка. Так, по иронии судьбы, шапка Сталина оказалась на мне, когда меня вели на расстрел. В шапке Сталина я провела весь срок заключения…

– Когда и к кому вы обращались с просьбой о своей реабилитации и о реабилитации мужа?

– С заявлением о своей реабилитации я обращалась дважды. Впервые, вскоре после смерти Сталина – к Генеральному прокурору и в ЦК КПСС. В ответ на мою просьбу я была реабилитирована по последнему постановлению Особого совещания (а их было по моим «делам» великое множество). Судей своих я никогда не видела. В 1955 году отменена ссылка, которая была продлена Особым совещанием в 1952 году еще на

10 лет, это после восьмилетнего заключения в лагере и семилетней ссылки, которую я к 1952 году отбыла. В постановлении Верховного Суда СССР было сказано, что ссылка отменяется за недоказанностью преступления.

Такое постановление Верховного Суда СССР меня не удовлетворило по двум причинам. Недоказанность преступления в моем случае выглядела смехотворно. Я была женой Н. И. Бухарина, за это была осуждена, от него не отрекалась, и это было вполне доказано. Оно не удовлетворяло меня и потому, что впервые я была осуждена Особым совещанием по той же причине в июне 1937 года, и, логически рассуждая, с 1937 до 1952 год я, можно думать, действительно совершала контрреволюционные преступления. Поэтому я потребовала отмены приговора от 9/VI 1937 года. Тем самым отменялись и все остальные приговоры Особого совещания. Об этом я написала в Верховный Суд СССР, затем лично Н. С. Хрущеву. 27 августа 1959 года Верховный Суд СССР отменил так называемое мое дело, по которому я была осуждена Особым совещанием 9/VI 1937 года, за отсутствием в моих действиях состава преступления.

И вот только теперь, через пятьдесят лет после позорного судилища и бесчисленных моих и сына обращений в президиумы партийных съездов о реабилитации Николая Ивановича, мое большое мотивированное заявление, направленное в Президиум XXVII партийного съезда и лично Михаилу Сергеевичу Горбачеву, привело к желаемым результатам: «Приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 13 марта 1938 года в отношении Бухарина Н. И. отменен и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления». Такая справка лежит у меня на столе.

– Анна Михайловна, полный текст письма-завещания «Будущему поколению руководителей партии», продиктованного Николаем Ивановичем вам перед арестом, существует только в вашей памяти. Могу я обратиться с просьбой прочитать сейчас это письмо?

– Как бы мне ни было тяжело, я сделаю это с глубоким удовлетворением. Этих дней, этого момента я ждала долгие годы…

Ноябрь 1987 – апрель 1988

Сегодня перечитывать это письмо Н. И. Бухарина нет смысла: оно, конечно, о победе социализма, о «победоносном шествии к коммунизму», о любви к Ленину и партии…

Я о другом – о том, что вечно. О любви и силе духа, которые

помогли слабой женщине, проведшей почти двадцать лет в тюрьмах, лагерях и ссылках, выстоять и пронести через долгие годы небытия память о любимом.

Анна Михайловна Бухарина-Ларина умерла от рака в 1996 году, пережив своего мужа почти на шестьдесят лет.

Глава 13. Непримиримая Зинаида Шаховская

«Не будь Хрущева, не было бы Солженицына…»

– Ко мне попадают только избранные. И никому не давайте моего телефона. Характер у меня трудный, я не люблю пустых разговоров, и здесь, в Париже, мало людей, с которыми мне хотелось бы повидаться.

Еще совсем недавно наши «выездные» посещали ее тайно. А потом полушепотом в кулуарах ЦДЛ рассказывали о непримиримой антисоветчице Зинаиде Шаховской. Крайне редко имя ее попадало в нашу печать, и почти всегда в негативе.

Зинаида Шаховская родилась в Москве в 1906 году. Эвакуировалась с матерью и сестрами в феврале 1920 года из Новороссийска. Училась в Константинополе, Брюсселе и Париже. В 1926 году вышла замуж за Святослава Малевского-Малевича. В 1940 году с санитарными частями французской армии принимала участие в Сопротивлении. В январе 1942 года была переброшена через Гибралтар в Англию (где находился ее муж, доброволец бельгийской армии). В Лондоне работала редактором Французского информационного агентства, в 1945–1948 годах – военным корреспондентом при союзных армиях в Германии, Австрии и Италии и корреспондентом в Греции. Много путешествовала, жила в Африке, побывала в США, Мексике и Канаде. В 1956–1957 годах с мужем, в то время бельгийским дипломатом, жила в Москве. С 1968 по 1978 год редактировала газету «Русская мысль» в Париже. Выпустила много книг стихов и прозы, в том числе четыре тома воспоминаний. Член Союза французских писателей, ПЕН-клуба, Международной ассоциации литературных критиков, лауреат премии Парижа, дважды лауреат Французской академии, офицер ордена Почетного легиона, командор Ордена искусств и словесности.

Свой колоссальный архив она продала (не на что было жить) в Америку частному лицу (плакать хочется!). Вторая часть завещана одному парижанину.

При прощании княгиня попросила меня не делать из нее героини (она этого не любит) и в следующий раз привезти ей из Москвы буханку бородинского хлеба и клюкву в сахаре.

– Вы хотите знать, кто я? Отвечаю: я – французская писательница русского происхождения, бельгийского гражданства. У меня есть король.

– Значит, вы подданная Его Величества короля Бельгии Бодуэна?

– У нас, слава богу, нет подданных. Мы – граждане. Раньше присягали, а теперь не присягаем. Когда мы недовольны королем, выбираем другого. Так было, например, после войны. Меня это вполне удовлетворяет, потому что дает большую свободу. Я одновременно как бы внутри и вне событий. Благодарю Бога, что он дал мне живой интерес к истории, к жизни, к людям. На моем веку немного было таких важных событий, как перестройка, она и меня обновила. Я люблю кризисы. В кризисах движение. Мне кажется, что тот переворот, который произошел в России, во всем мире произойдет. К несчастью, к концу этого переворота меня уже не будет, и я его не увижу. Есть такое выражение: для того чтобы править, нужно предвидеть. Но вот с перестройкой никто ничего не предвидел.

– А Октябрьскую революцию предвидели? Кстати, вы по-прежнему считаете, что Октябрьская революция – роковая ошибка истории?

– Да, это роковая ошибка, но… Я знала Феликса Юсупова[14], он был недалекий, но очень хороший, милый, добрый человек. Однажды я ему сказала, что если бы тогда, в плохое время, не ухлопали Распутина и если бы государь послушался Распутина и заключил тот самый Брест-Литовский мир, то в России не было бы революции. И вы, сказала я вашему тезке, благополучно жили бы в своем имении в Архангельском, а я была бы в Париже женой посла. Все самое трагическое началось с Первой мировой войны, с немцев…

– О вас говорят, что вы непримиримы с советской властью, что никогда не пойдете на контакт с представителями «красных»…

– Это неправда. Да, я не люблю идеологий. Капитализм то ругают, то хвалят, но капитализм – это не идеология, а предприятие. Я не состояла и не состою в партиях. Ни в одной. Я слишком дорого заплатила за свободу и я «двух станов не боец, а только гость случайный»… Контакты с «красными»? К сожалению, я знаю, что творилось в России, кое-что видела своими глазами, когда с мужем-дипломатом жила в Москве. Поэтому была осторожна. А потом, мой характер… Когда несколько месяцев назад позвонили из одного московского журнала и спросили разрешения напечатать выдержки из книги о Набокове, я чуть со стула не упала, но сделала вид, что не упала, что будто все

семьдесят лет только и ждала этого звонка. Я разрешила, но при этом сделала оговорку, что, если напечатают что-нибудь не так, возьму самолет и, несмотря на мой возраст, прилечу в Москву и им всем набью морду. Сначала в трубке было тихо, а потом раздался взрыв хохота.

– Значит, наша гласность дошла и до Зинаиды Шаховской. Немного поздновато, но ничего…

– Не забывайте, что я французская писательница. Прозу по-русски я начала писать, когда мне было семьдесят лет. Училась понемногу «чему-нибудь и как-нибудь» в разных местах, куда история забрасывала мою семью; кроме чтения с раннего детства «запоем» книг по литературе и истории никакого образования у меня не было. А прочла я многое еще в нашем тульском имении Матово с 1917 до 1918 года, когда моя мать, как бы предчувствуя, что от матовских книг вскоре ничего, кроме пепла, не останется, открыла мне безо всякой цензуры библиотеку. Были тут Шекспир и Мольер, Толстой и Боборыкин, Лесков и Лажечников, Надсон и Фет, Писемский и Достоевский, Белинский и Вальтер Скотт, вся «Нива» и все приложения к ней – добрая окрошка, из которой я, не все, конечно, понимая и в шкале ценностей не разбираясь, вынесла немало, а главное, пристрастилась к чтению даже трудных для одиннадцатилетнего ума книг.

То, что я считаюсь французской писательницей, почему-то стесняет тех, кто издает мои книги. Они стараются затушевать это, им кажется, что это измена. Но это никакая не измена, я осталась русской. В шестнадцати моих романах, изданных на французском, написано и о России, о русских. Разве можно мне было без России, когда часть России (семьсот тысяч человек) была здесь? Это была «Россия вне России». Книга под таким названием выходит у меня в Ленинграде. Я всегда думала о судьбе своей родины, и у меня, и у моей семьи нет вражды с русским народом. Мы помним, как в лихие годы нас спасали крестьяне, и потомки тех крестьян пишут мне сегодня письма.

Я хочу, если вашим читателям это интересно, рассказать о своей жизни, об эмиграции, о людях, с которыми я общалась. Моя память сохранила интересные исторические свидетельства. Я хорошо помню, к примеру, Гражданскую войну. Помню Троцкого, въезжающего на коне в Харьков, запомнилось почему-то, как красиво он сидел в седле. Справа от него – латышские стрелки, слева – китайцы. Мы же ждали Белую армию, потому что с Красной нам было опасно. Я жила рядом с «чрезвычайкой» и, одиннадцатилетней девочкой, дрожа от страха, подбирала раненых.

– Вы монархистка? Некоторые считают, что царский род

выродился, деградировал…

– Я всегда жалела их, несчастных, и когда сегодня встречаю Великого князя, делаю маленький реверанс, потому что, как бы это выразить… не хочу воспользоваться революцией. Я не против царя, но при этом я предпочитаю конституционную монархию, ибо абсолютизм могут исповедовать совершенно отсталые люди. Если бы не было революции, то в России, возможно, была именно такая форма правления. На это был способен Александр III, но, поскольку убили его отца, он отошел от решительных действий. В Западной Европе шесть республик и шесть королевств. По-моему, королевства нисколько не хуже республик.

– Как вы относитесь к развернувшемуся у нас движению за канонизацию царя?

– Вы знаете, три поколения нашей семьи были либералы. Письма от потомков наших крестьян, которые относились по-доброму к хозяевам, подтверждают это. А жили мы верой в царя и Отечество. Но поскольку у нас отобрали царя и Отечество, у меня, как и у моего брата Димитрия Шаховского, осталась только вера. И мы не обеднели. Но канонизировать? Не знаю, как бы отнесся к этому мой брат. Я не богослов, но мне кажется, что вы торопитесь. Не знаю, что-то здесь не то… Мой брат говорил, что нельзя политику примешивать к церкви потому, что она стоит так же высоко над политикой, как небо над деревом. Вера очень сильна! Тому, кто верит, легко жить. Вера укрепляет.

– Любопытно, кого вы считаете самым крупным политическим деятелем советской России, начиная с семнадцатого года?

– Думаю, что это Горбачев… По-доброму вспоминаю Хрущева, с которым нередко общалась в Москве. Хрущев мне импонировал: при всей его глупости и ужасах, которые он творил на Украине, миллионы людей он выпустил из лагерей. Не будь Хрущева, не было бы Солженицына. Меня всегда шокировало, что Хрущева ругает ваша интеллигенция за плохие манеры, за грубость. Я подумала: это неблагодарно. Я защищаю Хрущева перед оппонентами, он был единственным живым человеком в Кремле, не мумией. Только Никиту Сергеевича я могла с присущей мне бойкостью языка расшевелить и рассмешить. Могла я его и рассердить, но он не обижался. Я пишу книгу, где расскажу и о Хрущеве. Да, Хрущев допустил много ошибок, но эти ошибки как бы усугублял Запад тем, что всегда поддерживал бунты. Мы с мужем были в Москве, когда возникли венгерские события, мы думали, что Запад вот-вот введет свои танки или, наоборот, уговорит Хрущева не вводить советские. Мой муж-дипломат считал, что многое в мире зависит от перемен в Советском Союзе, потому что это самая сильная страна, она не допустит изменений

в Европе, пока не будут перемены внутри нее.

Я считаю, что при Хрущеве взошли ростки перестройки; немного терпения, и перестройка пришла бы к вам раньше. А Хрущева сбросили потому, что он стал ошибаться. Потом пришел Брежнев, и все остановилось. Вообще признаюсь, когда началась перестройка, я так боялась, что у вас снова все друг друга перережут. Я очень люблю Испанию, и после смерти Франко тоже очень боялась, что там прольется кровь. И так была рада, что и в том и в другом случае все произошло достойно. Подумать только – 70 лет никакого парламентского правления, люди не знали правды и только ругались.

– С Франко вы не встречались?

– Нет, у меня с ним не было никаких отношений. Как многие, участвовавшие в Сопротивлении, я очень благодарна Франко, потому что если бы он пропустил после того, как Франция пала, германские войска через Испанию и Гибралтар, то Америка не была бы в войне. Погибла бы и Англия, погибла бы вся Европа.

Гитлер кому-то сказал, что он ночами разговаривал с Франко, и тот твердил, что не надо жить прописными истинами, что истины надо проверять. Вот и я, «проверяя истины», как журналистка 1 ноября 42-го года нелегально перешла границу Испании по дороге в Гибралтар. Из нищей страны Франко сделал богатую Испанию, при этом еще и воспитал короля преемником. Большой был человек. А о кладбище, где лежат вместе кости всех героев, белых и красных, вы знаете? Эта общая усыпальница впечатляет. Если бы так везде – на земле был бы мир. Я – за Франко. Хочу, чтобы ему воздали должное.

Вы, кстати, знаете, что я, наверное, единственная из журналистов была против Нюрнбергского процесса?

– В каком смысле «против»?

– Да, из тысячи я была одна против. Конечно, я обычная бельгийская журналистка, величина небольшая. Но я показала, что надо быть честным, чего бы это ни стоило. Почему же я была против? Во-первых, закон не имеет права ретроактивной силы, то есть не может приниматься после событий; положим, совершается преступление, а потом, чтобы осудить преступника, принимается закон. Однажды к этому прибег генерал де Голль, и я перестала его уважать. Во-вторых, на Нюрнбергском процессе победители судили побежденных. Но это же невозможно! Судить побежденных должны или нейтральные государства, или, что проще, сами немцы, которые, видя разорение своей страны, и решали бы судьбы виновных в катастрофе, убийствах безвинных людей, во всех преступлениях.

– Что осталось в вашей памяти о Москве 1956 года?

– Да, мой муж был первым советником посольства Бельгии в СССР. Что сказать, спустя полвека приехала я в свой родной (я в Москве родилась), но совершенно чужой город. Глядя на грустные лица, я почувствовала себя особенно чужой именно в Москве. Я много ездила по свету, но нигде не испытывала такого отчуждения. Жила в столице полтора года, вроде бы стала привыкать, стала смотреть на людей иначе, видела их в парках, в магазинах и постепенно стала находить то, что знала и ценила раньше в русском человеке, его замечательные нравственные качества.

Конечно, много воспоминаний от приемов в Кремле. Меня поначалу почему-то сажали около генерала Серова, тогдашнего председателя КГБ. Тот все старался подлить мне побольше водки, выспрашивал о чем-то, все куда-то нервно выбегал, возвращался. Однажды я решилась его спросить: «Вы записываете мои разговоры?» – «Нет, не волнуйтесь», – ответствовал генерал. – «А что же вы постоянно встаете из-за стола?» Нисколько не смутившись, генерал парировал: «Вы гость, и мне нужно, чтобы все вокруг было спокойно». «Ну, уж если в самом Кремле неспокойно, тогда извините…» – развела я в недоумении руками. Когда я рассказала о своем соседе мужу, он побледнел и попросил меня не открывать рта, не отвечать ни на какие вопросы. Французская пресса называла шефа КГБ «Иваном Грозным».

А один журналист, видно, из страха, написал о нем как о гиганте. Когда же я увидела рядом совсем маленького, тщедушного человечка с красненькими глазами (видно было, что он любил выпить), то я была удивлена неточностью журналистского впечатления. Но не всегда, конечно, я сидела рядом с ним.

Помню Екатерину Фурцеву, такую статную красивую женщину, Марию Ковригину, кажется, она была министром здравоохранения. Встречалась и с маршалом Жуковым, но его я видела и раньше, когда военным корреспондентом разъезжала по фронтам.

– Вы живете в стране, которая первой провозгласила лозунг: «Свобода, равенство, братство». Как вы понимаете эту формулу?

– Я всегда говорила французам, что свобода и братство – хорошо, но вот в равенство я совершенно не верю. Считаю, что равенство – это уравниловка.

Всем понятно, что для того, чтобы окупались фильмы, нужен массовый зритель. А массовый зритель не посещает глубоких, серьезных фильмов, ему до них не подняться. Это понижает высоту восприятия искусства. Вот вам и равенство. Еще пример.

Когда вы находитесь в какой-то компании и среди вас один дурак, то из вежливости все как бы становятся глупыми, потому что дураку ужасно неприятно, что вы думаете, допустим, о Сахарове. Вы знаете, я отношусь к старому миру, где вопрос вежливости играет некоторую роль, хотя я человек суровый. В мире все так быстро меняется. Наука не знает добра, морали у нее нет. И она единственная может сделать так, что от одной коровы родятся телята одинаковой масти. Мне уже начинает казаться, что и с человеком можно сделать то же самое. Хотя трудно. Если мне дадут тысячу долларов, то они у меня разойдутся в одну минуту, а мой знакомый превратит их в пять тысяч. В чем же дело? Идея равенства родилась у французов из зависти. Я это утверждаю. Я придумала такой афоризм: «Человека можно уважать, но его всегда можно пожалеть». Равенство ужасно мешает. Я вам скажу больше, только не удивляйтесь, бесклассовое общество вредно.

– Что вы думаете о свободе человека, о свободе художника? Кто, по-вашему, свободнее: Горбачев, Сахаров, Солженицын, Римский папа…вы?

– Думаю, что только тот человек свободен, кто ни от кого не зависит, ни от кого ничего не хочет, и если он писатель и его не печатают – доволен и этим. Настоящая подлинная свобода – внутренняя свобода. К примеру, я научила себя совершенно не страдать, если меня кто-то предает… Я готова к этому с детства.

А вот Монтескье считал, что свобода должна быть ограничена законом, потому что, если она не ограждена законом, начинается насилие. И то, что сейчас случилось в России, – неизвестно к чему приведет. Мы-то это уже пережили. Сейчас поговаривают, что, дескать, не надо жить так свободно, слишком многое позволено. Оглядываемся на Достоевского. Почему молодежь объял скепсис, почему ей так трудно жить сегодня? Потому что она ни во что не верит. Идет процесс разрушения семьи, нас окружает много одиноких людей. Брак не спасает. По-моему, брак – это не только половые отношения. Через пятнадцать лет совместной жизни пол уже может не интересовать, но ведь остается содружество людей, верность друг другу. Так, во всяком случае, было раньше. Ныне нет. Супружеская мораль разрушена абсолютно. И поэтому мир потерян. Мир не знает, что хорошо.

Характер у меня неприятный, но я как-то стараюсь не обижать людей. Считаю, что в условиях свободы можно все сказать и можно против всего протестовать. Но в определенных рамках.

– Судьба эмиграции… Что будет с русскими людьми, осевшими во Франции? Они сольются с ее языком, нравами, историей?

– Третье поколение русской эмиграции доказывает, что

Европа-то была одна, в особенности с XIX века, разница лишь в нравах. Вы знаете, сколько сегодня во Франции неграмотных? Два миллиона. В России, конечно, в свое время было больше. Россию просвещали Бальзак, и Дюма, и Лист, посещавшие и Петербург, и провинциальные города. Культуры, конечно же, во многом переплелись. Я считаю, что, несмотря на какое-то французское влияние, русские свое русское сохраняют, как нечто драгоценное, как фамильный жемчуг.

– Особая полоса в вашей жизни – редакторство в газете «Русская мысль». Расскажите об этом!

– После внезапной смерти редактора газеты ко мне пришел ее администратор, мой старый знакомый американец Петр Шувалов, кстати, женатый на младшей дочке Шаляпина, и стал уговаривать меня взять газету в свои руки, стать ее редактором. Если честно, «Русская мысль» в то время была от меня далека. С русской эмиграцией я не была особенно близка, ее плохо знала, газету не читала, она мне виделась узко провинциальной. Шувалову мы с мужем отказали. Он повздыхал, повздыхал и сказал: «Тогда мне придется ее закрыть». И я решилась, подумала, что газета все еще нужна «второй» эмиграции. И потом, мне приятно, что старшие коллеги – Слоним, Струве – хотели, чтобы я взяла дело в свои руки. В общем, очертя голову (ведь я никогда не делала журнал или газету) бросилась в этот омут. Первым делом в газете открыла свободную трибуну. Это не всем нравилось. К примеру, за то, что я напечатала Жореса Медведева, меня побранил Александр Исаевич[15], бывший в то время уже на Западе. Да и многие бранились, не привыкли к такой плюралистической газете, где оппоненты могут свободно высказывать свои суждения. С коллективом у меня были чудесные отношения, работали мы без склок и ругани. Это в основном были пожилые дамы-эмигрантки, которые получали мизерную зарплату и трудились во имя дела. Но когда в штате газеты появились сотрудники – представители так называемой «третьей» эмиграции – тут я растерялась. Я поняла, что с ними работать не смогу. На работу приходили с опозданием, к делу проявляли незначительный интерес, жалованье ведь было по-прежнему малым. В коллективе появилась одна дама с высшим университетским образованием, но она так ругалась, что один из старых моих сотрудников сделал мне представление, что в такой ругани работать дальше невозможно.

Авторы требовали, настаивали, чтобы газета публиковала все, что они приносили, иногда это были материалы огромного размера.

В общем, я была очень рада освободиться от всего этого.

Я отказалась даже от почетного директорства.

– А сейчас вы читаете «Русскую мысль»?

– Я получаю, но, как правило, смотрю лишь, простите, некрологи. Там бывают подчас хорошие статьи, но перестроиться уже не могу.

– Кто, по-вашему, наиболее талантлив в эмигрантской литературе?

– Георгий Иванов, которого я не любила, терпеть его не могла. Но он принадлежал к Серебряному веку. В следующем поколении очень талантливым был Иван Елагин. Считаю, что сегодня Бродский самый большой поэт. Я знаю, что мои слова многих обидят, но что поделаешь, я так считаю. Я предпочитаю его первые, ранние стихи, нынешние же слишком элитичны. А, кроме того, у него иногда встречается маленький недостаток – прокол вкуса. Ахматова себе такого не позволяла. Ни в едином стихотворении. В ее поистине царственной поэзии все на месте.

Считаю Бродского очень большим поэтом, но не люблю надменных поэтов. Я даже Ахматову за это не очень люблю. Когда я читала книгу Лидии Чуковской об Ахматовой, я поняла, что Анна Андреевна была надменной. При моем характере я бы разошлась с Ахматовой. Поэт не должен быть надменным. Пушкин не был надменным, он со всеми шутил, он, конечно, был обидчив, потому что у него не было денег, он всегда считал себя обиженным, маленьким… Но когда поэт уже «на месте», когда уже признан, тут он не должен свысока смотреть на мир, на людей.

– А Марина Цветаева была надменной?

– По-своему да, но она была несчастным человеком, глубоко несчастным человеком, в ее надменности сквозила какая-то самозащита, она многое выдумывала. Она могла первой написать кому-то извинительное письмо, могла унижаться, не думая об этом, просто импульсивно.

Бунин надменность играл очень сильно, он мне всегда говорил: «Зина, помните, перед собой надо всегда держать свечу»…

Из ваших поэтов очень люблю Беллу Ахмадулину, очень. Она бывала у меня в гостях. Я интересуюсь современной поэзией.

– Как вы отнеслись к тому, что Ирина Одоевцева уехала из Парижа в Советский Союз?

– Очень хорошо. Ей было очень трудно жить здесь. У нее не было славы, и она сама шутила: «Поеду в Россию за славкой». Вы знаете, я не сужу людей, всякий волен поступать так, как ему угодно. Берберову я мало знаю. Но я не люблю ее книгу «Курсив мой». Она, по-моему, местами неблагородна. Ирина Одоевцева в

своих мемуарах благожелательна, у нее есть фантазия. А Берберова, я не знаю почему, но вся такая озлобленная, ощеренная. Особенно меня возмутили страницы, посвященные Ивану Алексеевичу Бунину. Там сплошное вранье. Когда я еще работала в «Русской мысли», мне принесли эту книгу. Прочитала и очень возмутилась. Я предложила Вейдле, Слониму, Адамовичу и Струве разобраться в книге и написать в газету. Но они все отказались. Они заявили, что в книге столько неточностей, что нужно потратить много времени, чтобы очистить зерно от плевел. А недавно ко мне пришли представители телевидения и сообщили, что о Бунине готовится фильм. Я предложила свои услуги с тем, чтобы защитить память Бунина от Берберовой.

Вы знаете, я человек прямой, если вы будете у Берберовой в Принстоне, вы можете ей сказать, что она действительно много наврала о Бунине. В ее книге есть места, которые искажают облик Бунина в последние годы его жизни. Она пишет о его слабости, о каком-то, простите, «горшке». Но он мужественно держался до самой смерти, никакого послабления ума у него не было, я знаю это по личным встречам. Конечно, дожить до таких годов, как Иван Алексеевич, непросто, да и я, знаете ли, не буду вальсы танцевать.

– Вы упомянули о своем брате, князе Димитрии Алексеевиче Шаховском, архиепископе Иоанне Сан-Францисском. Я слышал о нем как об очень интересной личности от поэта Евгения Винокурова, с которым дружу. Евгений Михайлович переписывался и даже встречался с вашим братом.

– К сожалению, во мне нет духовного достоинства брата, скончавшегося недавно. Поэтому, наверное, я такая жесткая. Он всех прощал, любил, не видел в людях зла. Приучил себя не видеть. С мальчишеских лет, еще лицеистом, он был очень остроумным, сочинял всякие эпиграммы, веселился, но, став монахом, отказался видеть смешное в жизни. Когда его в свое время навещали писатели из России, я ему говорила, чтобы он не верил всем подряд, чтобы был осторожен. Я ему говорила: «Для меня как для писателя всякий человек – это сено, а для тебя нет». Он на это отвечал: «Я тебе запрещаю так думать, ты должна в людях видеть только хорошее. Я рад им всем, дело не в вере. Может быть, в них что-то колышется, они ищут поддержки».

Я скажу вам, друг мой, ничего в них тогда не колыхалось.

На этот счет у меня нет никаких иллюзий.

В 1924 году брат стал главным редактором журнала «Благонамеренный», одного из лучших эмигрантских журналов. К сожалению, вышло только два номера. Как поэт он был не совсем моего вкуса: казался мудреным, модерным. После пострига

первое время он никого не принимал, отошел ото всех, мало писал, отказавшись от искуса изящной поэзии. Снова к поэзии его привел уже не искус, а проповедничество. Стихи его надо принимать как проповеди. Но, насколько мне известно, Иоанн Шаховской (его литературный псевдоним Странник) у вас еще не печатался.

– Извините за такой вопрос: где вы хотите быть похороненной?

– Да что извиняться, я сама об этом думаю. Даже советовалась как-то с Никитой Алексеевичем Струве по этому печально-деликатному вопросу. Вот вы, наверное, побывали на кладбище Сент-Женевьев де Буа, видели, в каком состоянии русские могилы. К примеру, могилу моего мужа вы не найдете. Разрушаются памятники, зарастают могилы, нет списков имен людей, захороненных в разные годы. И дело даже не в каких-то громких именах, хотя, конечно же, святыми для каждого русского навсегда будут могилы писателей, художников, актеров, дело в том, что там покоятся останки воинов: корниловцев, марковцев, дроздовцев, простых людей, отдавших жизни во имя России. Мне так их жалко.

Вы знаете, мне все равно, где я буду лежать, здесь ли, где прошла почти вся моя жизнь, или где-то в другом месте, но придет время, когда из русской эмиграции никого не останется и кладбище придет в полный упадок. Могилы станут для всех чужими. Хорошо бы уже сегодня найти возможность сохранить русские кладбища, маленькие островки России, российской истории. Это было бы приятно и Франции, давшей приют эмигрантам, и России – сегодняшней и будущей, которая бы рано или поздно поняла, что здесь лежат ее дети.

1989–1990

Глава 14. Екатерина Мещерская: бывшая княжна, бывшая дворничиха…

– Я хочу вас познакомить с человеком необыкновенной, фантастической судьбы, – сказала Белла Ахмадулина. – Бывшей княжной. Увы, бывшей дворничихой. Ее отец дружил с Лермонтовым (Фантастика! Отец моей современницы дружил с Лермонтовым. Но как такое возможно? – Ф. М), она появилась на свет, когда отцу было за семьдесят. Этот случай – матримониальные фантазии природы.

Мы вышли на улицу Воровского, миновали арку старинной постройки. Узкий дворик – неправильной формы колодец – упирался в убогую, выщербленную дверь. Зарешеченные окна. Ни души.

– Это здесь.

Мы постучались…

Шел самый перестроечный и во многом действительно светлый, «надеждный» год нашей новой истории – 1987. Весна, еще многое закрыто, запрещено, еще балом правит Егор Лигачев, еще идет война в Афганистане и Сахаров томится в горьковской ссылке. И Ельцин еще состоит в членах Политбюро. И многие свободы еще были впереди. К одной из подвижек к демократии я как журналист оказался счастливо причастен – к реабилитации, возрождению в России дворянского сословия.

Познакомившись с княжной Екатериной Александровной Мещерской, представительницей знаменитейшего русского рода, и узнав перипетии ее драматической биографии, я начал готовить статью о ней для журнала «Огонек». Как говорила моя героиня, она гордилась не тем, что среди Мещерских были герои, а тем, что среди героев были Мещерские. Командиром молодого Суворова был Иван Мещерский, а его сын Алексей служил у Суворова адъютантом. Герой Шипки князь Эмануил Мещерский несколько месяцев держал осаду Шипки, пока не подошли скобелевские войска, он умер геройской смертью. Мещерский Иван Николаевич, магистр высшей математики, создал «теорию переменной массы тел». «Уравнения Мещерского» использовались при разработке гвардейских минометов «Катюша», а появление советских искусственных спутников Земли было бы невозможно без его теории.

За неподобающее происхождение Екатерине Александровне

пришлось заплатить сполна. Голодная и полулегальная, на правах приживалки, жизнь во флигеле своего имения, скитания, лишение права работать и иметь паспорт, арест, опять арест…

Роковые серьги Натальи Гончаровой

…В один из вечеров, угостив меня непревзойденной рисовой кашей, сваренной по старинному рецепту, Екатерина Александровна подошла к окну и, как мне показалось, поплотнее задернула штору. Потом заперла дворницкую свою комнатенку на лишний крючок.

– Я вам доверяю и хочу попросить об одной услуге, – вернувшись в кресло, стоявшее возле шкафа красного дерева, негромко произнесла хозяйка. – Мне восемьдесят три года, моя жизнь идет к концу. И я хотела бы отблагодарить человека, который много лет был рядом, помогая мне, разделяя все мои невзгоды. Эту женщину вы видели. Она здесь домоправительница. И потом, нужны средства на будущие похороны, ведь сбережений у меня нет. Как я живу, вы видите. Перед вами остатки когда-то огромного отцовского наследства – картина кисти художника прошлого века, старинный подсвечник и несколько редких книг. Нет ни Рокотова, ни Кипренского, ни Рубенса, ни Боттичелли, обращенных в пользу государства приказами Ленина и Дзержинского. Не могу же я требовать сегодня возвращения незаконно изъятого имущества. Меня и так арестовывали тринадцать раз. И последний раз в 1953 году. Но совесть моя перед Господом чиста. (Я весь превратился в слух. Екатерина Александровна была серьезным, честолюбивым, жестким человеком, и я понимал, что только обстоятельства непреодолимой силы заставляют ее раскрыться передо мной.)

Екатерина Александровна поднялась из кресла и, как мне показалось, торжественно-печально подошла к комоду, повернула ключик, куда-то вглубь просунула руку и извлекла оттуда нечто в старинной коробочке. От комода до меня четыре шага. Я замер.

– Вот, откройте…

Я нажал малюсенькую кнопочку, и коробочка открылась.

– Что это?

– Это серьги, которые принадлежали Наталье Николаевне Гончаровой. Она их получила в подарок к свадьбе от матери.

Я потерял дар речи. Что говорить, как реагировать на услышанное. Серьги Натальи Николаевны Пушкиной? Но как они оказались в этом доме?

Словно уловив мое волнение, Мещерская продолжала:

– Знаете ли вы о том, что Мещерские связаны родственными узами с Гончаровыми? Да, да, с теми самыми, пушкинскими. Сначала брат Натальи Николаевны Гончаровой, Иван, женился на

красавице-княжне Марии Мещерской, тетке моего отца, а последней владелицей гончаровского Яропольца была княжна Елена Мещерская – дочь старшего брата моего отца, вышедшая замуж за одного из Гончаровых. Каждое лето до семнадцатого года вместе с мамой я ездила в Ярополец на могилы родственников.

Наталья Николаевна носила эти серьги недолго. Мать Натали была в отчаянии, что ее красавица-дочь вышла замуж «за какого-то поэта-полунегра, который был охоч до карт и погряз в долгах». Насмотревшись на сумбурную жизнь молодой четы, она отняла у дочери рубиновые серьги. Затем они оказались у Марии Мещерской. У Елены Борисовны Мещерской-Гончаровой, тети Лили, как мы ее называли, детей не было, и она передала сережки моей матери, чтобы я, когда мне исполнится 16 лет, их носила.

– Но как же вы смогли сохранить такую реликвию? Ведь чтобы заработать на хлеб, вы после революции работали швеей!

– Так и сохранила. Мне, еще девчонкой начавшей кормиться собственным трудом, незнакома алчность к вещам. Пожалуй, мы с мамой особенно тяжело переживали лишь в тот день, когда у нас реквизировали портрет отца работы Карла Брюллова. Кстати, сейчас он находится в Киеве в Русском музее, а бронзовый бюст отца, сделанный Паоло Трубецким, – в запасниках Третьяковской галереи. Единственную реликвию семьи Мещерских, с которой я не расставалась и, несмотря на нужду и голод, хранила и даже носила, это «пушкинские серьги». Я думала, что перед смертью передам их народу, как и все, что у нас было, но, как говорится, «земля приглашает, а Бог не отпускает». Я так тяжело больна и слаба, что превратилась в беспомощного инвалида. По правде сказать, мне никогда не хватало пенсии, так как при моем больном сердце, а тем более после того как я сломала шейку правого бедра, а позже и левого, без такси я никуда. Вот почему сейчас, на пороге могилы, я вынуждена расстаться с этой, – Екатерина Александровна отчетливо произнесла, – реликвией.

Я впился глазами в чуть поблескивающий под бликами сорокаваттной электролампочки удивительный раритет. Дрожащей рукой вынул из коробки и положил на ладонь. Это были изящной работы золотые сережки – на изогнувшейся веточке рассыпались бриллиантовые капли, а среди них кровавыми огоньками горели гладкие красные рубины. Казалось, они ничего не весили. Но от сережек, и я это отчетливо ощущал, исходила какая-то аура. Казалось, что я держу в руках одушевленное существо. Недаром считается, что вещи прирастают к владельцам и что в них переселяется часть души человека. Да, да, в природе нет ничего мертвого. Даже камень

имеет душу. Мистические аллюзии в моей голове остановила Екатерина Александровна:

– Помогите мне продать эти серьги… Купите их для своей жены. У вас есть деньги?

Вопрос, так решительно обращенный ко мне, был для меня не столь неожиданным, сколь сакраментальным: я коллекционировал автографы и фамильные реликвии, но не многие знают, что «живые» деньги для собирателей редкостей – явление иллюзорное. И у меня вырвалось:

– Но как оценить сережки, которые держал в руках сам Пушкин?! Разве они имеют цену? Быть может, обратиться в музей?

Екатерина Александровна не то чтобы немного смутилась, но мне показалось, ей стало как-то неловко. Ведь речь шла о тонкой нравственно-материальной субстанции, о судьбе сокровища, которое пуще ока хранилось в ее доме более века. Мещерская как-то скомкано заговорила о несомненной бесценности пушкинского раритета, который трудно измерить деньгами, и назвала сумму, которая, безусловно, была достойна этой «диковины». Сразу ответить на столь неожиданное предложение я не решился, пообещав подумать несколько дней.

Прошло недели три, за время которых я не звонил в дом на улице Воровского. Ждал отсутствующего в Москве знакомого антиквара. Но, если честно, каким бы заманчивым ни было для меня приобретение уникальных серег, душа моя, что называется, не лежала к экзотической сделке. Да и тем более, моя скромная и почти равнодушная к дорогим украшениям жена Мила не проявила интереса к этой покупке: «Носить серьги жены Пушкина – это уж слишком…»

Меня вызывает товарищ Яковлев

И вдруг однажды редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич сообщил, что меня вызывает к себе Александр Яковлев, в те времена член Политбюро, главный идеолог партии.

– Яковлев? Но зачем я ему понадобился?

– Вам скажут на месте. Что-то, связанное с княжной Мещерской.

Сломя голову я помчался в здание на Старой площади, получил пропуск, поднялся на четвертый этаж и вошел в помещение, на котором висела табличка «А. Н. Яковлев».

Но к члену Политбюро меня не пригласили. Помощник Александра Николаевича с ходу деловито протянул какое-то письмо и предложил ознакомиться с его содержанием здесь же, в комнате, за столом у окна.

– Мы хотели, чтобы вы использовали это письмо для публикации в «Огоньке». Сегодня это очень важно, считает товарищ Яковлев, – напутствовал меня цековский чиновник.

Письмо оказалось довольно длинным, на тринадцати страницах, и, как только я начал читать, меня околдовала красивая, интеллигентная русская речь. Это было письмо Мещерской к Раисе Максимовне Горбачевой с приколотой к верхнему уголку маленькой запиской «А. Н. Яковлеву: Прошу помочь».

Екатерина Александровна рассказывала о тяжелой своей судьбе, об отце и матери, о роде князей Мещерских, верой и правдой служивших государю и Отечеству. Особенно красочно сообщала она о несметных богатствах своих предков. И это при том, что в советское время ей пришлось служить и ткачихой, и дворничихой. Моя героиня молила Раису Максимовну о помощи. Она извещала о сохраненных ею для потомков серьгах Натальи Николаевны, которые могла бы предложить заинтересованным лицам за соответствующую материальную компенсацию.

Ознакомившись с письмом, сам факт которого был для меня, конечно же, неожиданным, я обратился к референту с просьбой взять письмо с собой в редакцию. Через пять минут, получив захватывающее своим содержанием послание, я покинул здание, вызывавшее у многих его посетителей волнение и страх. А буквально через день кто-то, словно опомнившись, прислал со Старой площади курьера, который отобрал у меня этот документ. Но копию с него я все же успел снять…

Через некоторое время в журнале «Огонек» вышла моя статья «Княжна Мещерская: жизнь прожить…». Она вызвала

оглушительный резонанс, волны которого ушли далеко за пределы Советского Союза. Мещерская стала известной повсюду. Журнал «Новый мир» опубликовал написанную ею автобиографическую повесть, которая вскоре вышла отдельным изданием. В СССР возникло заново возрожденное Дворянское общество, получили право гражданства многие традиции и атрибуты отечественной истории.

Как-то я позвонил Екатерине Александровне. Она поблагодарила меня за публикацию и между прочим сказала, что стала получать большую пенсию. «Всесоюзную, – с гордостью произнесла Мещерская. И добавила: – Умирать теперь будет спокойнее… Я рада, что мое письмо прочитали на самом верху».

«Что ж, – думал я, – княжне-страдалице, раздавленной российским переломом, пусть и на самом краю жизни, наконец-то воздано». Но все-таки какова судьба серег Натальи Николаевны? Где они? Сохранились ли? И чьи ушки украшает невесомый шедевр замечательного мастера? Носит ли их любимая женщина какого-нибудь долларового нувориша или супруга сановного «хозяина жизни»? А может быть, они попали в музей? Или на аукцион? Ответить на эти вопросы я не мог.

1992

Кристаллы, таящие смерть

Версия князя Евгения Мещерского, изложенная им в письме в газету «Мир новостей», где я опубликовал ранее приведенную историю о княжне Мещерской и серьгах Натальи Николаевны Гончаровой:

Много тысяч лет цари Ширинские передавали из поколения в поколение таинственные кристаллы. Их было много. Какая-то тайна хранилась в их сверкающих гранях. Не секрет, что древние бриллианты заключают в себе непостижимую для человеческого разума таинственную силу. Бог – на небе, а царь или князь – наместник Господа – на земле, и то, что принадлежит или принадлежало ему, должно к нему вернуться, ибо его собственность дана ему Господом и Господом же может быть только отобрана. Как только алмазы похищались, они несли последующим владельцам неисчислимые беды. Смерть и кровь всегда сопутствовали дальнейшей истории этих камней. По-видимому, алмазы обладают способностью хранить информацию и воздействовать ею на людей. И кристаллы Ширинских царей обладали способностью нести беды и смерть… Их дарили врагам. И враги погибали. Их вставляли в перстни и серьги и дарили неверным женам. Эти легенды очень древние, и я не знаю, что здесь правда, а что вымысел. Но из поколения в поколение передавались в роду князей Мещерских – потомков Ширинских царей – таинственные кристаллы.

Князь Петр Иванович Мещерский был самым младшим в семье моего прапрапрапрадеда князя Ивана Сергеевича Мещерского. Именно он был наиболее дружен с Александром Сергеевичем Пушкиным. Ведь усадьба князей Мещерских Лотошино находилась в нескольких верстах от гончаровского Яропольца. Поэтому молодые люди могли ездить друг к другу каждый день. Гостеприимство князей Мещерских было общеизвестно. Звучала музыка. Вечерами пели романсы. Читали свои и чужие стихи. Петр Мещерский обожал Пушкина. В компании со своим старшим братом Иваном он часто ездил с ответным визитом в Ярополец. Видимо, там и проговорился кто-то из братьев о таинственных серьгах, что хранились у отца князя Ивана Сергеевича Мещерского. Сначала это только вызывало желание поговорить о непонятном и мистическом, особенно когда потухал закат и серый сумрак расползался по закоулкам старинного дома.

Но спустя несколько лет Александр Сергеевич Пушкин вдруг

вспомнил об этих алмазах. Ревность? Да, именно ревность воскресила в памяти давно забытое. Наталья Николаевна Пушкина (урожденная Гончарова) блистала на балах. Очаровательная, юная – она не могла не привлекать к себе внимания. И царя в том числе. Я не знаю всей истории о том, как поэт уговорил князя Петра дать для Натальи эти серьги. Знаю только, что они не были куплены. Возможно, поэт взял их для Натальи Николаевны лишь на время, чтобы проверить, как она ему верна. Петр отговаривал его от опасной затеи, рассказывал странные истории о гибели женщин, носивших эти украшения и замысливших измену. Но, очевидно, эти истории еще больше распаляли воображение Александра Сергеевича. Да, Наталья Николаевна носила эти серьги с алмазами, но смерть настигла не ее, а супруга. Как серьги вернулись в семью, также неизвестно. О них упоминала последняя владелица Яропольца, моя двоюродная прабабка княжна Елена Борисовна Гончарова (урожденная Мещерская).

Потом, очевидно, они попали к князю Александру Васильевичу Мещерскому – владельцу Алабинского дворца, а от него – к его второй супруге Екатерине Прокофьевне Мещерской (урожденной Подборской).

Ее отец организовал брак восемнадцатилетней дочери с шестидесятидвухлетним (вот почему князь Мещерский мог знаться с Михаилом Лермонтовым! – Ф. *М.)* старцем князем Мещерским. Я не берусь обсуждать законность этого брака, хотя весь свет и дочь Наталья (от первого брака) возмущались происшедшим. Известны слова Натальи Мещерской, будущей герцогини Руффо: «Сокровища Мещерских погубят вас и вашу душу. Эти алмазы не приносят счастья…». Действительно, революция разрушила все планы новоиспеченной княгини Екатерины Прокофьевны Подборской. А перед этим событием были и скоропостижная смерть мужа-старца, и отказ князя Паоло Трубецкого (того самого, знаменитого скульптора. – Ф. *М.)* жениться на ней и признать свою дочь Екатерину, которая родилась 4 апреля 1904 года, спустя четыре года после смерти Александра Васильевича Мещерского (автор письма здесь не точен, по одним источникам, князь умер в 1903, по другим – в 1909 году. – Ф. *М.)* Екатерина Александровна потом всю жизнь будет называть его отцом и путать даты своего рождения и его смерти. Она говорила мне, показывая серьги «от Наталии Гончаровой», что мать всегда очень чувствовала их на себе, и невыносимая усталость и подавленность возникали каждый раз, когда она их надевала.

Мать и дочь тринадцать раз сидели в тюрьме. Бедствовали.

Страдали и боролись со своими несчастьями. Они называли много причин, которые вмешались в их судьбу, но я думаю, что все эти несчастья смодулировали для них ширинские алмазы, которые сияли в тайном свете ночных ламп и… мстили. Незаконное обладание убивало владельцев. Лишь в конце своей жизни Екатерина Александровна Мещерская решилась избавиться от злополучных кабошонов. Она их кому-то продала или подарила, и сразу благополучие, может быть, впервые в жизни, повернулось к ней…

1998

В 2002 году меня пригласили в Литературный музей А. С. Пушкина для участия в телевизионной передаче.

«Мы снимаем сюжет о серьгах Натальи Николаевны Гончаровой, о которых вы когда-то писали, – сказал мне режиссер столичного канала. – Мы ждем вас на Пречистенке».

Каково же было мое удивление, когда я увидел в витрине ту самую реликвию, пришедшую из пушкинских времен.

Несмотря на съемочную суматоху, я, конечно же, оглянулся на события пятнадцатилетней давности, вспомнив рассказ Екатерины Мещерской о ее трудной судьбе, и порадовался неожиданной встрече с загадочным рубиновым артефактом, который я когда-то держал на своей ладони.

«Если прав князь Мещерский, приславший когда-то письмо в газету, хорошо, что эти злополучные драгоценности хранятся теперь под толстым пуленепробиваемым стеклом в музейном „плену“ и никому уже не смогут навредить», – подумал я.

А как же «пушкинские серьги» попали в музей? Ах, ну да, письмо княжны Мещерской Раисе Максимовне! Но сотрудники музея мое любопытство не удовлетворили.

Во время работы над книгой я решил позвонить одному влиятельному активисту Фонда культуры и поинтересовался, не знает ли он истории с серьгами княжны Мещерской. «Конечно, знаю, – буднично-равнодушно ответил он, – я сам их держал в руках. Так же как и все, кто присутствовал на заседании Фонда (человек двадцать), когда Раиса Максимовна Горбачева поведала собравшимся музейщикам, историкам, пушкинистам о судьбе серег, которые когда-то принадлежали Наталье Николаевне Гончаровой. Цель того заседания была конкретной: определить подлинность серег, оценить их и решить их дальнейшую судьбу. Решили: „пушкинские серьги“ должны находиться в литературном музее великого поэта».

Для меня в этой почти детективной истории наконец была

поставлена точка.

Глава 15. Встреча с дочерью Соломона Михоэлса

Телевизионная передача «Зеленая лампа», которую я вел в годы перестройки, снималась в моей квартире на улице Покровка. Сегодня трудно сосчитать, но думаю, что не менее ста пятидесяти гостей побывали под светом «Зеленой лампы». Специально, чтобы рассказать миллионам людей о гибели своего отца, великого еврейского советского актера XX века Соломона Михоэлса, которого, как считается, убили по приказу Сталина, из Израиля приезжала его дочь Наталия Вовси-Михоэлс. Вот фрагменты ее воспоминаний.

– Удивительно, почему перед своим отъездом в Минск, откуда отец не вернулся, он заезжал прощаться ко многим своим друзьям. Что за предчувствие сидело в нем? А может быть, он что-то знал, чувствовал, откуда дует черный ветер в его сторону. Позже нам стало известно, что в последние месяцы жизни отец систематически получал по телефону анонимные угрозы. На примере Осипа Мандельштама мы знали о сталинском искусстве тихо избавляться от людей. А если находился свидетель, избавляться и от него. Подобная участь постигла спутника отца по командировке в Минск.

Отца нашли убитым в глухом переулке, куда не могла заехать ни одна машина. Это было 13 января 1948 года. А 19 февраля к нам явились «двое в штатском», которые сообщили, будто в Минске обнаружен «студебеккер», на колесах которого найдены волоски меха. Они хотели бы сравнить их с мехом на шубе Михоэлса. Инсценировка была грубая – шуба еще находилась в Минске, и они это знали лучше, чем кто бы то ни было. Правда, в Москве имелись еще две точно такие же шубы: одна принадлежала поэту Феферу, другая – Сталину. Шубы им подарили меховщики США во время гастролей Михоэлса в Америке. Со Сталиным отец не встречался, подарок передал через Молотова.

…Примерно в середине марта 1948 года какие-то люди принесли нам чемодан. Поверх вещей лежала бумага, не бланк, а просто желтовато-серая бумага. От руки неразборчивым почерком было написано: «Список вещей, найденных у убитого Михоэлса». Видимо, какой-то незадачливый милиционер сунул этот листок в предназначавшийся для передачи нам чемодан, а халатные сотрудники забыли проверить. «Вот они и проболтались», –

пришло мне в голову. Сами открыли непроизносимое слово. Папу убили. Нам-то это и так было ясно. Так же, как ясно, по чьему повелению убили великого актера.

Начали с подругой вынимать вещи из чемодана. Сверху лежала шуба. На меховом воротнике сзади остался след запекшейся крови. Такой же след на шарфе. Палка сломана (отец хромал). Стрелки на часах остановились без двадцати девять. «Значит, утра», – почти беззвучно сказала подруга. Я кивнула – ведь вечером в десять он еще был в гостинице. Костюм. На дне чемодана сложено содержимое карманов. Одну за другой вытаскиваем крохотную куколку, игрушечный автомобильчик с приставшим к нему табаком, какие-то стеклянные шарики, резинового негритенка – последний подарок моей двухлетней дочери. В ту ночь я не сомкнула глаз: бедный папа, любовь моя…

1988

Глава 16. Встреча с Великой княжной Верой Романовой

«Россия всегда сама себя спасала…»

16 января 2001 года в домовом храме Российского дворянского собрания иеромонах Никон (Белавенец) отслужил панихиду по скончавшейся Великой княжне Вере Константиновне Романовой, последней из Царского Дома Романовых, родившейся в России. Младшая дочь Великого князя Константина Романова и правнучка Императора Николая I умерла в Нью-Йорке в возрасте 95 лет.

Кончина княжны Романовой стала неожиданной для миллионов россиян в том числе и потому, что большинство из них не знало, что еще живет на Земле человек, по крови и достоинству самый близкий к последнему российскому императору.

Судьба Великой княжны – еще одно свидетельство трагической участи представителей Дома Романовых: от попавших в алапаевскую и коптяковскую могилы до разбросанных былинками по неласковому чужеземью отпрысков российской монархии. В Соединенных Штатах Вера Константиновна жила с 1931 года. Приехала сюда из Европы, попав в водоворот послевоенных мытарств. Работала в Толстовском фонде, заболела, устроилась в Общество помощи русским детям за рубежом, потом перешла в Синод. Выйдя на пенсию, окончательно поселилась на территории Толстовского фонда. Выделили Ее Высочеству Великой княжне (она одна из всех потомков Романовых имела право так именоваться) две маленькие комнатки в деревянном домишке для коротания времени «земных тягостей».

Вера Константиновна никогда не бывала в России после революции, но никогда не меняла гражданство. Так и умерла на 95-м году жизни российской подданной.

А началась ее жизнь в апреле 1906 года в богатейшем Павловском дворце под Петербургом.

…Считаю, что эта встреча была для меня одной из самых удивительных в жизни. Летом 1989 года мои русско-американские (или американо-русские) друзья, потомки Ивана Пущина, друга Пушкина, Пущины-Хлебниковы-Небольсины

посоветовали мне навестить Великую княжну Веру Романову, которая жила в получасе езды от Нью-Йорка. «Сам Бог тебе велит повстречаться с княжной, у вас в России о ней, наверное, забыли, а она между тем самая близкая убиенному Императору родственница на Земле. Мало того, – говорили мне, – возможно, Вера Константиновна – единственная из оставшихся в живых людей, которые общались с Николаем II. И еще имей в виду, Великая княжна никого не принимает, мы сами повезем тебя к ней». И вот в одно прекрасное нью-йоркское утро Михаил Хлебников повез нас с женой в знаменитый Толстовский фонд.

В тот день я общался с Верой Константиновной более трех часов. Прикасался к семейным реликвиям, держал в руках книги ее отца-поэта, рассматривал мемориальные фотографии, любовался коллекцией оловянных солдатиков, которую много лет собирала Вера Константиновна, попечительница Кадетского корпуса зарубежья.

– Каким запомнился вам Император Николай II? – начал я свое интервью.

– Как-то он пил у нас в Павловске чай. Мне нужно было идти на свою детскую половину, часы показывали шесть, и я заторопилась на музыкальный урок. Подошла к папеньке и маменьке проститься. Император повернулся ко мне, внимательно посмотрел, погладил по головке и сказал какие-то ласковые слова… Вот и все. Но знаете, столько лет прошло с той поры, а помню, будто вчера. Он меня заворожил.

Другая подробность. Шла война. Моя мама и я с братом Георгием были приглашены на завтрак к Государю. Помню Государыню и одну из Великих княжон, помню, что она была в сестринско-хирургическом облачении, значит, служила в госпитале. На сладкое подали замечательный шоколадный крем. Какой же он был вкусный! И нам предложили добавочную порцию. Конечно же, мы воспользовались любезностью хозяев и съели ее. Предложили в третий раз. Но, как нам искренне и настойчиво ни предлагали, мы с братом отказались. Считали, что это уже нарушение этикета. На обратном пути в автомобиле моя мать сидела сзади, а мы с Георгием впереди. Он был старше меня на три года, и это означало: что бы он ни говорил, он всегда прав, его мнение для меня, младшей, считалось законом. Так нас воспитывали. Он говорит: «А знаешь, это было и в самом деле очень вкусно, но для царского стола слишком просто». Мне ничего не оставалось, как только поддакивать: «Да, да, да». А сама думаю: «Говоришь же ты глупости».

А вообще-то скромность Царской семьи была общеизвестной.

Дети воспитывались в почитании, смирении, воздержании. Девочки вроде бы стеснялись своих титулов, и домашние их звали по именам. Платья со старших донашивали младшие, в быту у них не было ничего лишнего.

Вот видите, мои впечатления от Государя связаны с какими-то семейными встречами, с обедами. Что называется, гастрономические… Еще одно из этого ряда. Снова Павловск, летняя веранда, чай. Был у нас замечательный садовник Федор Селезнев, дворецкий моей мамы, когда-то служивший в роте Его Императорского Величества Преображенского полка. Такая необыкновенная урождалась у него земляника, объеденье. И вот Государь медленно, с расстановкой ест эту землянику. Положит ягодку в рот и смакует, растягивает удовольствие. Проглотит, снова берет и нахваливает ее: «Какая божественная земляника…». Так и осталась в памяти эта идиллическая картина.

– А как вы узнали о расстреле царя?

– Шла по улице, по Миллионной, и вдруг слышу: мальчишка – разносчик газет кричит с надрывом что есть мочи: «Убийство Николая Романова! Убийство Николая Романова!» Так и узнала.

Помню и весть об отречении. Возвращаюсь домой с прогулки. А мой собственный лакей Иванов, довольно несимпатичный мужичонка, встречает меня с красным бантом. Я на него набросилась: «Как ты смеешь? Это против царя!» А он: «Гы-гы, царя больше нету». – «Да ты врешь». Но нет, он оказался прав, Император отрекся от престола. Эту новость я «прогуляла» по Миллионной.

– Вера Константиновна, у вас ведь была большая семья, что с нею стало?

– У меня было шесть братьев и две сестры. После семнадцатого года Иоанн, Константин и Игорь были сосланы в Вятку, а потом в Алапаевск. Там их уничтожили, сбросив в старую угольную шахту. Чудовищное убийство. В гнилой воде они жили еще три дня. У моего брата Константина во рту была земля, не знаю отчего, то ли оттого, что было нечеловечески больно, то ли оттого, что хотелось пить. Раненный в голову брат Иоанн лежал подле Великой княгини Елизаветы Федоровны, сестры Императрицы. Она перевязала его апостольником. Колчаковцы перевезли тела погибших в Пекин, а останки Елизаветы Федоровны нашли упокоение в Иерусалиме. Таково было ее желание. Она стала святой новомученицей. Не знаю, как вы к этому относитесь, но сюда, в Америку, привозили святые мощи – правую руку Елизаветы Федоровны. Вы знаете, такое исходило благоухание, совершенно что-то особенное. Бог наградил за муки алапаевские. Много раз приходил ко мне сон: будто стою я

спиной у какой-то ямы и меня сейчас расстреляют. А когда просыпалась, всякий раз боялась открыть глаза.

– Я слышал, что ваш отец Константин Романов умер на ваших руках. Так ли это?

– Точнее, на моих глазах. Когда он скончался, мне было девять лет. Отец болел грудной жабой, припадки повторялись приблизительно раз в месяц. Ему становилось все хуже и хуже. Но однажды после сильнейшего припадка ему стало вдруг лучше, и настолько, что мама, обрадовавшись, стала собираться в деревню. Примеряла летнее платье, хотела хоть ненадолго сменить черные траурные одеяния. В семье постоянно кто-то умирал. Последний траур был по моему брату Олегу, смертельно раненному на фронте в четырнадцатом году.

Так вот, моя мама примеряет платье, я сижу в кресле и читаю русский перевод Гете «Хитрый лис» и вдруг слышу «А-а-а…». Поняла, у отца припадок. Бегу скорее к мамочке. А между кабинетами матери и отца была тяжеленная дверь с зеркалом. С великим трудом я открыла ее, мама потом ужаснулась – как я, девочка, смогла открыть эту махину. Подбегаю к маме, кричу: «Скорее, папе плохо, у отца припадок!» Она посылает своего камердинера Аракчеева: «Зови доктора, князю плохо». А тот в нервности стоит и хихикает, так я на него затопала: «Скорее, отчего тебе смешно!»

Приехавший доктор только констатировал кончину отца. Оказалось, что «А-а-а», которое я слышала, было последним предсмертным выдохом из легких папы. Вот и вышло, что я была единственной свидетельницей смерти моего отца, дяди Императора Николая II.

– Ваш отец был известным и талантливым поэтом. Некоторые его стихи, ставшие песнями и романсами, распевала вся Россия…

– И особенно «Умер бедняга в больнице военной…». А история ее такова. Когда в годы войны отец командовал ротой Его Величества Измайловского полка, он обратил внимание на то, как бессердечно хоронили обыкновенных солдат. Довезут мертвеца до ближайшего поворота, а там хорони сам себя. Отец был так возмущен и взбудоражен, что написал балладу, которая и стала почти народной песней. Я знаю, что Царская семья перед смертью в Екатеринбурге пела эту песню. Будто бы в предчувствии собственных страшных похорон. Отец рассказывал, как однажды, гуляя по Воробьевым Горам с адъютантами, он вдруг услышал знакомые стихи и мелодию. Только в песне пелось про Порт-Артур. «Как же так, – думал отец, – стихи написаны за двадцать лет до Японской войны?» Значит, и впрямь баллада

стала народной песней, а народу после войны с Японией были, конечно же, ближе порт-артуровские события.

Специалисты отмечали, что перевод «Гамлета», сделанный отцом, – один из лучших переводов. Он так долго и мучительно над ним работал, что, если отец где-то пропадал в саду или в кабинете и его искали, мама всегда – уже анекдотически – повторяла: «Он, наверное, „Гамлета“ пишет».

Вспоминается такой курьез. В четырнадцатом году к нам в гости прибыл король Саксонский, так как мама была Саксонская принцесса, он решил навестить родню. В одной из комнат дворца стояли остатки декораций «Гамлета»: мебель, два черепа, причем один был настоящий, какие-то старые книги. А этот Саксонский король, по рассказам, был глуп и некультурен. Он спрашивает: «Что это, ваша семейная капелла?» А отец отвечает: «Конечно, поэтому мы тут и курим».

– Скажите, вы верите, что сейчас готовятся похороны именно Царской семьи? Не возможна ли здесь фальсификация?

– Скажу одно: все происходящее вокруг останков семьи Императора определенные силы используют во имя косвенных и темных целей.

– Политические интриги?

– Милый мой, я живу по Тютчеву: «Умом Россию не понять…». Но я верю в Россию. Потому что Россия всегда сама себя спасала. Только подальше от иностранцев.

1989

Несколько лет назад меня позвали в небольшой офис в центре Москвы, чтобы показать, как сказали, какой-то редкий архив, доставленный в Москву из Нью-Йорка. Взглянув на книги, альбомы с фотографиями, открытки, дагерротипы, разложенные на столе, я понял, что они принадлежали Вере Константиновне Романовой. По-видимому, некий новорусский в Нью-Йорке приобрел эти реликвии и не знал, что с ними делать. С трепетом перебирая архив, я вспоминал часы общения с Великой княжной. Посоветовав хозяину офиса обратиться в представительство Дома Романовых в Москве, я купил на память об одной из своих «великих старух» красивую старинную, хорошо сохранившуюся открытку. На обороте черными чернилами была выведена поздравительная надпись «Съ днемъ Ангела, милая Олечка. Твоя фрейлина. 11.IV.1901». Поскольку фрейлины находились только в свите царицы или принцессы, смею предположить, что в моей коллекции оказалась открытка, обращенная к Великой княжне Ольге Николаевне, дочери императора Николая П.

2009

Глава 17. Натали Саррот: парижанка из Иваново

Легкая дубленочка небрежно притулилась на кушетке в прихожей. Маленькая сухонькая женщина, открывшая мне дверь, уверенно протянула руку: «Раздевайтесь, а пальто бросайте прямо сюда», – указала она на кушетку. Короткая стрижка. Седые волосы. Твердая, немного мужская походка. Тихий голос, медленный говор. Вдоль длинного коридора стол с ее книгами. Потом, после разговора, я получил в подарок последние издания Натали Саррот – Натальи Ильиничны Черняк, известнейшей французской писательницы русского происхождения. Живого классика.

«О ля-ля, вы идете брать интервью у Натали Саррот?!» – и со мной заговаривали как-то теплее. К Саррот одинаково по-доброму относятся и во французских, и в русских литературных кругах. Ее имя вызывает неизменный интерес и уважение.

– А сколько заплатят вам за это интервью в России? В любом случае я его перекупаю, – совершенно серьезно сделала мне «коммерческое» предложение издательница Мария Васильевна Розанова.

Помню бурную реакцию читателей и критиков, когда в «Новом мире» много лет назад был напечатан роман Натали Саррот «Золотые плоды». «Как такое можно было печатать?!» Вспоминаю, что и сам прочитал роман с большим трудом. Это было не чтиво, не развлекательная прогулка по сюжету с почти обязательным угадыванием, чем все кончится и кто останется с кем. Читать Саррот надо по странице в день. На свежую голову, после чашки утреннего кофе.

У знаменитой писательницы побывал до меня Евгений Евтушенко, а также Зоя Богуславская. Зная об этом, я специально не стал перечитывать их интервью. Мне хотелось, чтобы мое впечатление от Натали Саррот осталось только моим.

Наталья Черняк родилась в 1900 году в Иваново-Вознесенске. В раннем детстве оказалась с родителями во Франции.

Трудной была ее литературная биография. Долгое время писательница была практически одинока. Книги ее решительно никого не интересовали. Издатели отвергали их как «бред» и «чушь». Однажды Саррот спросила себя: «А почему я не могу писать, как пишут все?» И написала книгу теоретических эссе «Эра подозрения», на которую клюнули сначала критики, а потом

читатели. С этого все и началось. Чуть позже Жан Поль Сартр скажет о ее «антироманах», что они читаются, как детектив. А вот что писала о литературном творчестве Саррот наша «Краткая литературная энциклопедия» 1971 года издания: «Основное содержание романов Саррот – неподлинность человеческого существования, некоммуникабельность, неадекватность внутренних реакций, приобретающих субъективные масштабы космических катаклизмов, внешним формам общения. Стилистически это находит выражение в стыке поэтического, насыщенного яркими метафорами потока сознания и банального, сведенного к стертым штампам диалога». Что ж, пусть будет так.

Встречался я с Натальей Ильиничной три раза. Одна из бесед проходила в знаменитом кафе «Флер» на бульваре Сен-Жермен. Было приятно, что мою собеседницу узнавали. Выходя из кафе, я обратил внимание на витрину с книгами. «Что это?» – спросил я наивно. Довольный гарсон с гордостью ответил: «Это книги тех писателей, которые здесь работали. К сожалению, их уже нет в живых». Я вчитался в фамилии: Сартр, Элюар, Арагон, Эренбург…

Привожу фрагменты моих разговоров с Натали Саррот. Короткие вопросы, короткие ответы (я принял стиль разговора моей собеседницы), «банальная, сведенная к стертым штампам диалога» магнитофонная запись. Но здесь важно каждое слово, каждая реакция.

В кафе тепло и уютно, а в квартире холодно

– …Жизни мне осталось совсем немного. И это же естественно, что боишься болезней, каких-то неожиданностей.

– *Но вы не устали?*

– Нет, я не устала, просто я боюсь, я думаю, как это произойдет. Мои приятельницы очень трудно переносят возраст, эти последние годы. Вот и я все думаю об этом.

– *Вас страшит физический конец или то, что вы не успеете воплотить творческие замыслы?*

– Писать я могла бы перестать и теперь. Мне довольно трудно работать. И всегда было трудно. Всегда волновалась, удовлетворения было мало. Я всегда боялась, что получится что-то не то и не так, а как только кончала одну вещь, сразу же думала о другой.

– *Значит, вам всегда писалось тяжело?*

– Всегда было трудно с выбором материала, который бы мне подошел.

– *Материал, который ложится в книги – это вы сами или это чужой, чей-то мир?*

– Нет, это не я, это вещи, которые я как бы мимолетно почувствовала. Ну, как это бывает, наверное, у многих писателей. Кроме, конечно, «Детства», где я описала первые годы своей жизни в Иванове. Все же остальное – это просто литература. Мне всегда трудно найти слова, найти внутренние движения, которые надо описать на бумаге. Это нелегко.

– *Когда вы задумываете свой очередной роман, что для вас служит началом, толчком: тема, случай, что-то другое?*

– Всегда тема. Сначала общая тема, в нее, как при водовороте, должно входить несколько сцен, внутренних движений, «тропизмы», как я их называю. А потом все идет как-то само по себе. Но идет нелегко.

– *Все ваши романы не превышают двухсот страниц. Почему?*

– Я написала небольшое количество книг, потому что пишу очень долго. У других получается легче, и они более плодовиты. Но я делаю, что могу, и стараюсь изо всех сил.

– *Мне кажется, что вы сильный человек.*

– Трудно сказать, иногда бываю сильной в некоторых вещах, а в других очень слаба, зависит от многого…

– *А что вы больше всего любите в жизни?*

– Мне кажется, писать. Трудно было бы теперь жить и не

писать больше. Это центр моей жизни.

– А музыка, чтение книг?

– Очень люблю читать, но самая настоящая моя жизнь, когда я за рабочим столом.

– Известно, что вы пишете в кафе, а не дома. Правда ли это?

– Да, по утрам хожу в кафе, где сижу и думаю, вожу пером по бумаге.

– И это давняя привычка?

– Это вошло в моду после войны. В кафе тепло, а в квартире холодно. И я стала ходить работать в кафе. Многие годы так работали писатели, художники…

– Как же можно в кафе писать? Мешает шум, голоса…

– Мне ничего не мешает, абсолютно. Я никого не слышу.

– Надо отключаться!

– В кафе отключаться легче, чем дома. Потому что все, что там происходит, меня не касается. А дома звонит телефон, беспокоит консьержка, приходят родные – и это все касается меня, все отвлекает.

– Вы одна из самых известных писательниц Франции. Как вы к этому относитесь?

– Это меня мало волнует. Я живу довольно однообразной жизнью, вижу не очень многих людей. Не хожу на коктейли, обеды, званые вечера. Паблисити не для меня.

– А для кого?

– Не знаю, для английской королевы…

– Что такое литературная критика по отношению к вам?

– Она меня раздражает. Впечатление такое, что тот, кто пишет обо мне, пишет как бы о другом, даже не открыв моих книг.

– Это касается только французской критики?

– Нет, критики вообще. Со мной всегда так было. Мои книги трудные, если их быстро перелистать, ничего не поймешь. Но бывают и хорошие статьи, приятно, когда чувствуешь, что тебя поняли.

– А можете ли вы назвать имя критика, который, как вам кажется, вас понял бы до конца? Может быть, даже из прошлого века, Сент-Бев, например?

– Об этом я никогда не думала. На досуге поразмышляю.

– Когда в 1968 году в «Новом мире» был напечатан ваш роман «Золотые плоды», я помню, все говорили: «Это новый роман, новая литература». Скажите, кто придумал этот термин – «новый роман»?

– Один французский критик. Он поначалу был с нами не согласен, но когда вышла моя первая книга «Тропизмы» и книга

Роб-Грийе «Ревность», он назвал эти книги «новыми романами». И так пошло.

– А вы с этим согласны?

– Да. Потому что еще раньше я написала статьи о том, что литература, как всякое искусство, должна менять формы, находить новые сущности. Ведь каждый из нас писал совершенно разные вещи. Мы никогда не встречались и не говорили об этом. Но у нас было одинаковое мнение о том, что литература это тоже искусство, как поэзия, как всякий другой жанр.

– Простите, мне сейчас пришло в голову: не предлагали вы в свое время этим термином перестройку в литературе?

– Это трудно назвать перестройкой, потому что каждый из нас был одинок, у меня, например, нет прямых наследников, да нет и школы. Люди продолжают писать, как хотят, как умеют.

– Значит, вы стоите в литературе почти особняком?

– Да, я как-то замкнута в своем мире.

– А каковы ваши отношения с нынешними французскими писателями, с кем-то общаетесь?

– Очень мало.

– И всегда так было? По-видимому, вы по натуре малообщительный человек?

– Да, по натуре я довольно одинока, и меня, я уже сказала, не трогают всякие официальные приемы, встречи. Я на них не хожу.

– Но кто же вам близок в жизни?

– С моим мужем мы прожили шестьдесят лет. Он принимал, как это у вас говорят, активное участие в том, что я пишу. Он был адвокатом, но очень интересовался искусством, литературой и делал многое, чтобы поддержать меня. Он был моим первым читателем, его мнение играло большую роль для меня. Он умер в марте 1985 года.

– Что вас сейчас, помимо работы, привязывает к этому миру, к этой земле?

– Мне кажется, мой маленький домик в деревне, который я очень люблю. Местечко называется Шеронс.

– Перед вами, Наталья Ильинична, прошел почти весь двадцатый век. Что вы думаете о нем?

– По-моему, мы пережили ужасный период истории. Расизм. Гитлер – уникум в истории человечества. Ужасное время было, конечно, и при Сталине: насилие, убийство невинных. Пережито две войны, ужасной была и первая война, мне было четырнадцать лет, я многое помню, видела, что делалось вокруг… Что и говорить, невеселый был век.

– Каким вам видится будущее человечества?

– Сказать трудно. Кто бы мог подумать, что будут

происходить такие события, как, например, ваша перестройка. Никогда бы не подумала, что это я еще увижу, это невероятно, – поэтому как можно предвидеть, что будет?

«Фрейд ужасно сузил все, что мы знаем»

– А вообще вы верите в астрологию, в гадания или это не для вас?

– Абсолютно не верю. Никогда не общалась с астрологами, звездочетами. Мне кажется, что это противоречит всякой науке.

– У нас сейчас астрология в моде.

– Здесь тоже. Да и повсюду.

– К нам сейчас приходит и Фрейд, еще вчера бывший под запретом. Выходят его книги, о нем говорят, пишут. Мне кажется, что вы фрейдистка?

– Терпеть не могу Фрейда, вы ошибаетесь. Он ужасно сузил все, что мы знаем. Во всяком случае, практические результаты лечения психоанализом в тех случаях, которые я наблюдала, были всегда плачевные. Хотя нельзя не признать, что он сделал интересные открытия в области подсознательного, точнее, бессознательного.

– А ваше творчество – это не подсознательная работа?

– Абсолютно нет. В природе творчества может разобраться каждый, не надо Фрейда, для этого не надо врачей. Просто следует остановиться на некоторых вещах и о них подумать, их почувствовать. Но нам ведь некогда, жизнь проходит быстро, и мы не останавливаемся на мелочах, на частностях, на деталях. А я стараюсь остановиться, посмотреть как бы в микроскоп на переживаемое, зафиксировать, как медленно проходит во мне осмысление чего-то, уловить какие-то токи. И это может каждый. Человек может познать себя и без Фрейда. Без психоанализа.

– Разве ваша книга «Детство», напечатанная нашей «Иностранной литературой», – не имеет отношения к подсознательному, ведь вы копаетесь как бы в далеких снах жизни?

– Нет, это воспоминания, никакого подсознания. Там все конкретное, реальное, то, что я старалась заново пережить.

«Я была за революцию»

– Заново пережить… А какое событие в переживаемой вами жизни вас особенно взволновало, потрясло?

– Думаю, что… запуск человека на Луну. Ну а в социальном плане – революция семнадцатого года.

– Как вы ее воспринимали?

– Я ругалась, спорила с отцом. Он лично знал Троцкого и Ленина и находил, что их действия – это действия определенной секты, что революция кончится ужасной диктатурой. Но я была «за» хотя бы потому, что революция эмансипировала женщину. Я была очень сильно за революцию. А мачеха моя была против. Многое я поняла, когда в 1937 году поехала с ней интуристкой в Москву на десять дней. Там я поняла, что и отец, и мачеха были во многом правы: ведь я попала в самое чудовищное время, после убийства Кирова, – время репрессий, массовых убийств…

– Как же вы не испугались? Сталин мог вас арестовать, ему это ничего не стоило!

– Тогда мы еще ничего не знали, это было в мае, даже ходили на праздничную демонстрацию на Красную площадь, у меня фотография сохранилась.

– А не сохранилось ли в архиве отца каких-то документов, связанных с Лениным, с событиями дореволюционными?

– С Лениным нет. Только семейные предания. Отец уехал из Иванова, потому что брат его был максималистом, участвовал в ограблении банка в Фонарном переулке, и вот он, чтобы спасти брата, бросил Иваново и приехал сюда. И уже не мог вернуться. Сам он не был активным политическим деятелем.

– Вы помните 5 марта 1953 года?

– Конечно, я ликовала, ведь думала, что он никогда не умрет. Так радовалась! Я его просто ненавидела после того, что узнала о нем. А поначалу даже не верила, что он умер.

– Вас, наверное, потряс и XX съезд партии?

– Нет, потому что содержание доклада Хрущева я уже знала. Съезд не был для меня неожиданностью. Мой отец знал прекрасно Бухарина и других вождей революции, и мне казалось странным, что такие храбрые, сильные люди на себя клеветали. Так низко клеветали. Я все думала, что им сделали, чем их напоили?

– Но ведь была и такая книга, как «Москва. 1937» Фейхтвангера.

– Я ее не помню.

– Ну а книга Андре Жида «Возвращение в Россию» вам

наверняка попадалась?

– Да, ее я знала. И я восхищалась этим писателем: каким надо было быть храбрым, чтобы написать такую правду.

«Все плакали, когда немцы вошли в Париж»

– А как вы восприняли начало войны Германии с СССР?

– Ужасное ощущение! Сначала мы были в ужасе от пакта России с Германией, мы были в ужасе, когда узнали, что Сталин с Гитлером идут рука в руку. Потом я дрожала, когда немцы наступали. Я дрожала до самого Сталинграда, думала, что Россия погибла. А когда передали, что под Сталинградом немцы попали в плен, родилась надежда. И я безумно радовалась. Стало легче жить.

– Наверняка потрясением для вас была и капитуляция Франции?

– Да, конечно, все плакали, когда немцы вошли в Париж.

– Вы были тогда в Париже?

– Я сперва бежала с детьми и с матерью в Бретань, моего мужа мобилизовали. Я жила там довольно спокойно до тех пор, пока немцы не пришли и туда, они объявили, что надо носить «звезду». А я не хотела этого делать, хотела оставаться свободной, уезжать куда хочу и делать что хочу. Пришлось прятаться, ведь я объявила себя в префектуре еврейкой.

– Как долго это продолжалось?

– Эти «звезды» ввели, кажется, в сорок втором. Я пряталась у друзей, потом у одной мужественной и милой дамы в деревне, а потом вернулась сюда, в этот дом, потому что наш консьерж был «в резистанс» – в Сопротивлении.

– Что для вас значила победа над Германией?

– Мы ликовали, радовались, конечно.

– Именно 9 мая 45-го?

– Когда приехал де Голль, я сидела с детьми, но я видела и сама переживала сумасшедшее состояние счастья. Совершенного счастья.

– Ну а то, что победила Россия – эти чувства для вас были какие-то особенные?

– Конечно, это было особое чувство. Оно родилось во мне еще тогда, когда русские отогнали немцев от Сталинграда.

– Какова была ваша реакция на венгерские события 1956 года?

– Это было чудовищно. А сейчас я рада за венгров, считаю, что в прошлом режиме жить было невозможно. Шокировал меня и ввод советских войск в Чехословакию, очень шокировал.

– А ситуация с Афганистаном?

– Тогда казалось, что это будет то же самое, что случилось с

американцами во Вьетнаме. Так и было.

Солженицын – абсолютный гигант

– Как вы отнеслись к высылке Солженицына из Советского Союза?

– Я считаю, что это удивительно сильный человек, сумевший пойти против такой могучей державы. Он гигант в моих глазах. Абсолютный. Правда…

– Что «правда»?

– Правда, я слышала, что он будто бы националист, правый, но я не знаю, так ли это. Во всяком случае «Архипелаг ГУЛАГ» – удивительная книга. И еще «Бодался теленок с дубом» – тоже замечательная книга.

– А конец брежневской эпохи для вас был связан со смертью Брежнева?

– Да. И когда его не стало, я вздохнула свободнее.

– Кто ваша дочь? Она живет с вами?

– Она фотограф, делает интересные работы. Помогает мне во всем. Она ни разу не была в России, я смогу ответить на приглашение Союза писателей и приехать в Москву, если со мной поедет дочь.

– Это будет ваша вторая поездка в Россию?

– Нет, совсем нет. Сейчас вспомню. С 1908 года по 1937 не была ни разу. А потом четыре раза приезжала. Последний приезд был лет двадцать пять назад.

– О чем ваш новый роман, который только что вышел у Галлимара?

– Ах, это очень трудно пересказать! Кому-то сказали: ты себя не любишь. И он все спрашивает: кто не любит кого? Мы себя не знаем, кого я могу любить в себе? Но во мне столько разных «я», столько разных людей, что моя личность распадается на большое количество существ. Есть такие, которые себя любят, они как бы смотрят на себя со стороны и строят себе памятник. И вот как мы реагируем на них и как их тоже начинаем любить, обожать. Как Сталина. Роман так и называется: «Ты себя не любишь?» Я рада, что его хорошо приняли.

– А будущий роман уже определен? О чем он?

– Трудно сказать. Все смутно.

– Долговременных творческих планов, как это делают наши классики, вы не строите?

– Нет, конечно, и никогда не строила.

«Премии и награды меня мало волнуют»

– Скажите, как ваши «Золотые плоды» попали к Твардовскому? Мне кажется, что этот роман – «не его», простите за каламбур, роман.

– Вышло так, что «Золотые плоды» получили Интернациональный приз в 64-м году, и все издатели, участвовавшие в этом своеобразном конкурсе, должны были обязательно напечатать книгу на разных языках. «Новый мир» в этом конкурсе не участвовал, но роман перевели, и Александр Твардовский взял его.

– Вы общались с Твардовским?

– В одну из поездок в Москву я побывала на даче у Александра Трифоновича, помню его жену Марию Илларионовну. А здесь, в Париже, однажды с ним и Луи Арагоном мы обедали в ресторане. Вот и все.

– У вас есть желание и дальше издаваться в Советском Союзе?

– Конечно.

– На сколько языков переведены ваши книги?

– Кажется, на двадцать семь языков.

– Литературные премии, награды вы получали?

– «Золотой орел», Интернациональный приз, что-то еще, меня как-то мало это волнует.

– Ваши книги, наверное, никогда не были в списке бестселлеров?

– Вот последняя попала в эти списки. Я была изумлена, это в первый раз. А так – никогда. В университетах меня много изучают в Америке. В Англии я получила степень доктора. Как ваша Анна Ахматова когда-то.

– Вы, наверное, могли бы занять место «бессмертных» во Французской академии?

– Это не для меня, я об этом никогда не думала.

– Скажите, ваши произведения социальны или нет?

– Нет, совершенно нет.

– А как вы оцениваете значение писательского слова в жизни общества, в судьбе человека?

– Я сама очень люблю читать и думаю, что литература дает такое же удовлетворение, как и живопись, музыка, архитектура. Но для меня литература – это искусство, а не что-то такое, что должно улучшить жизнь или ее облегчить. Для этого хорошо подходит журнализм, когда надо рассказать, чем живут фабрики, колхозы, какие-то коллективы.

«Не понимаю слов Достоевского, что красота спасет мир»

– Выходит, слова Достоевского о том, что красота спасет мир, по-вашему, слишком сильно сказаны?

– Для меня это трудно понять, я не понимаю смысла этих слов.

– Вы любите Достоевского?

– Да, очень! Достоевского и Чехова.

– Кто, по-вашему, самый крупный писатель XX века?

– Мне кажется, что Пруст и Джойс.

– А как вы относитесь к понятию метода так называемого социалистического реализма?

– Абсолютно против. Мне кажется, русский народ гениальный в смысле литературы, а соцреализм остановил развитие литературы на какое-то время.

– Как вы воспринимаете нынешнюю эмигрантскую литературу?

– Я ее плохо знаю. Но есть интересные имена, интересные вещи у Синявского, Зиновьева, Аксенова… Это талантливые люди…

– Какими именами для вас обозначена современная русская литература?

– Я бы назвала Булгакова, Платонова, Гроссмана, много слышала и о писателях, пишущих о деревне, у них тоже есть талантливые произведения.

– С кем вы общаетесь из наших писателей? Кто вас навещает?

– Бывал Виктор Конецкий, он из Ленинграда. Раньше заходил, но теперь реже бывает Андрей Вознесенский, встречалась я в Париже и с Зоей Богуславской… Очень дружила с Виктором Некрасовым, он стал близким моим другом, я его очень любила. Он часто приходил в гости, одно время очень часто.

– О чем вы говорили?

– Он любил Францию, бывал здесь еще в детстве… О многом мы говорили. Он казался довольным… Много пил, потом перестал, но это было слишком поздно.

– Я слышал, вы встречались с Анной Ахматовой. Это правда?

– Да, это так. Когда я была в Ленинграде, я спросила ее, могу ли к ней приехать. В Комарово меня повез такой красивый молодой писатель, она его очень любила, Борис Борисович Бахтин, его, к сожалению, нет в живых. Анна Андреевна была очень больна, лежала в постели, вокруг были склянки, лекарства.

Я пробыла у нее два часа, она все расспрашивала о Париже. Ахматова произвела на меня очень сильное впечатление своей красотой. Она была совершенно замечательна. Я очень люблю ее стихи.

– Как вы относитесь к Набокову? Вы были знакомы?

– Нет, мы не виделись. Вы знаете, я не могла оторваться от его «Лолиты», он очень талантлив. В некоторых местах своей прозы он напоминал мне Достоевского, хотя этого писателя он вроде бы не любил.

– С Буниным вам не пришлось увидеться?

– Нет, но его хорошо знал мой отец. Здесь в свое время бывали такие русские вечеринки, и я запомнила, как Бальмонт читал свои стихи. Кого еще я знала из русских? Ну, Эренбурга, причем я посещала его и в Москве. При его трудном характере общаться с ним было нелегко. У него всегда было плохое настроение. Добрым словом вспоминаю замечательного человека – публициста Василия Васильевича Сухомлина и его очаровательную жену Татьяну Ивановну. А мои друзья художники Наталья Гончарова и Михаил Ларионов! Какая трогательная, красивая была пара! Как они дружили, очень любили друг друга, но не женились. Гончарова всегда вспоминала свое детство, молодость в России, друзей по живописи. Я просто упивалась ее рассказами. Часто вспоминала Дягилева, с которым она приехала в Париж. Я знаю, что сегодня они очень знамениты в России.

– По-русски вы никогда не писали?

– Нет. Ведь первый мой язык был французский, за ним последовал русский. Мне было два года, когда меня привезли во Францию.

– В семье вы, конечно, говорите по-французски?

– Мой отец умер в 1949 году, мать в 1956-м. С отцом я говорила по-французски, а с мачехой – по-русски. Сколько меня учили в свое время, чтобы я «р» произносила по-русски! «На горе Арарат» или «тридцать три трубача тревожно трубили тревогу» меня заставляли повторять много раз каждый вечер. Я слушала пластинку с речью Ленина и с радостью узнала, что он тоже картавил.

– А когда вы последний раз до беседы со мной говорили по-русски?

– Полгода назад я обедала с Андреем Синявским и его женой.

– Наталья Ильинична, мы о многом с вами поговорили. Вы сказали, что прожитый вами век был невеселым: войны, нацизм, газовые камеры. Сталин… А вот если бы была возможность начать жизнь сначала, как бы вы ее прожили?

– Все зависит от характера. Если бы я была тем же человеком,

что и теперь, я прожила бы так же, если бы была другой, то и жизнь была бы другая. На человеческую жизнь все влияет: люди, события, обстоятельства.

– *Вы бы хотели прожить еще одну жизнь?*

– Нет, не хочу. Все начинать с детства… не хочу.

– *Почему?*

– Потому что моя жизнь была нелегкой. И мне бы не хотелось заново переживать пережитое…

Париж, декабрь 1989

Глава 18. Нина Берберова: эмиграция – это ее крест

«Хочу увидеть то, что оставила в юности».

Встреча в Принстоне

«Берберова Нина Николаевна, писательница (8.8/26.7.1901 – С.-Петербург). Отец – армянин, работал в Министерстве финансов; мать – из среды русских помещиков. В 1919–1920 годах Берберова училась в Ростове-на-Дону. Благодаря первым стихам она в 1921 году вошла в поэтические круги С.-Петербурга. В июне 1922 года Берберова вместе с Ходасевичем получила разрешение на выезд и покинула Советскую Россию. Прежде чем поселиться в Париже в качестве эмигрантов, супруги жили у Горького в Берлине и в Италии. В Париже Берберова 17 лет была сотрудником газеты „Последние новости“. С Ходасевичем разошлась в 1932 году. Во время войны она оставалась в оккупированной немцами части Франции. В 1950 году Берберова переселилась в США…» Это из Энциклопедического словаря русской литературы с 1917 года, составленного В. Казаком и вышедшего в немецком издательстве в 1976 году. Открываю подобные советские источники последнего времени… Ничего… «Литературный энциклопедический словарь», выпуск 1987 года… Бабаевский, Баруздин, Бубеннов… Берберовой нет.

В Америке дети не плачут, кошки не царапаются

Наваждение какое-то: я беседую с самой Ниной Николаевной Берберовой! Имя писательницы, вдовы Ходасевича[16], 67 лет прожившей вдали от Родины, окружено легендами. Одну из легенд зафиксировал журнал «Вопросы литературы»: Берберова умерла. Ан нет! Жива «железная женщина» (еще одна легенда – прозвище), жива! Да еще и в Москву собирается. Слышал я и о желчном характере Нины Николаевны. Прямо съест тебя с маслом, говорили мне. Снова враки, не заметил: добрая, приветливая, как говорят в народе, обходительная. Четкая, почти педантичная: до минуты, до детали договоренность о встрече, приглашение на обед (с дороги, для знакомства) в местный ресторанчик, приглашение домой, в небольшую двухкомнатную квартиру (домик) для длительной многочасовой беседы, чаи, прогулки, подарок хозяйки (выпрашивать боялся, сама предложила) – ее книга «Люди и ложи» о русских масонах XX века, проводы до электрички, идущей на Нью-Йорк. Не заметил ни желчи, ни злобы. Зато при своем фантастическом возрасте (простите, Нина Николаевна!) – за рулем сама. И умна – просто жуть! А какими делилась полезными наблюдениями из американской жизни: «Вы знаете, что дети в Америке не плачут, что кошки не царапаются?..»

– Русский язык для меня – все. Я не знаю, может быть, моя интонация вам кажется старомодной, может быть, мое словоупотребление, словарь, которым я думаю и говорю, удивит кое-кого в Москве. Но должна сказать, что никогда не могла утерять полнейшей связи с русским языком, то есть я вросла в этот язык. Меня совершенно не привлекает писать стихи или прозу по-французски, по-английски. Зачем это? Когда у вас выпустили в издательстве «Книга» Ходасевича, его «Державина», я не верила. Но вдруг по почте приходит эта книга от одного американца, который «схватил» ее в первый же день продажи, – я остолбенела. Я просто села на этот диван, где сейчас сижу, и сидела минут пять, вероятно, не могла даже раскрыть книгу. Было что-то, может быть, извините, даже собачье, мне хотелось облизать обложку. Но я не сделала этого, а прямо открыла последнюю страницу и увидела тираж – 100 тысяч экземпляров. Это же немыслимо! Потом мне сказали, что книгу распродали за неделю. Я все забыла, не ела, не пила, – целый день читала от

первой страницы до последней, со всеми примечаниями Андрея Зорина, с его предисловием, он какую-то ошибочку или две нашел у Ходасевича, я и это прочла.

Наконец, я что-то должна была съесть вечером и улечься в кровать. К стыду своему, скажу вам, что книгу я под подушку положила. Подумала, что если будет пожар в доме, то я ее спасу, а если она будет далеко от меня, тогда я ее могу не спасти, выбегая из горящего дома. Совершенно серьезно это говорю. Сейчас мне смешно самой, и я вижу – вы улыбаетесь… Но тогда я думала, что расстаться с этой книгой не могу. Это было очень, очень большое впечатление!..

Что касается опубликования моих произведений, то такого ощущения жара пока не было. Вероятно, потому, что я вела предварительные переговоры. Пропал эффект неожиданности.

«Мы не думали, что уезжаем навсегда»

– Когда вы уезжали из Петрограда, каким он вам запомнился?

– Голодный, пустой, страшный, торцы выкапывали, чтобы топить печи… Но мы уезжали, не думая, что навсегда. Мы уезжали, как Горький уехал, как уехал Белый, на время, отъесться, отдохнуть немножко и потом вернуться. В жизни мы не думали, что останемся навсегда. Ленин же был жив еще, 1922 год…

– Через месяц вы будете в Москве. Вас ждет двухнедельное общение с родиной. Не думаете вернуться в Россию совсем?

– Нет, потому что… Вы бы лучше спросили меня о Франции. Во Франции у меня успех, во Франции у меня телевидение, меня знают, приглашают постоянно. «Как мы ее упустили? Как мы дали ей уехать в Америку?» – говорят французы. Это не мои слова, это напечатано. Но я думаю о том, что здесь, в Америке, мне необыкновенно при моем возрасте удобно. Через десять дней мне исполнится восемьдесят восемь. Вы представляете себе, какой это возраст?

– Глядя на вас, не представляю…

– Я привыкла к этому комплименту и уже не реагирую на него.

Здесь удобно все. Добрые соседи, в округе меня знают, механик за углом (если с машиной что-то случится, снегом завалит, неполадки какие). Доктор принимает без очереди. Вхожу в почтовое отделение и слышу: «Хэлло, Нина!» Фамилию мою им трудно произнести, я не обижаюсь. Ведь они меня знают уже двадцать пять лет. Здесь хорошие библиотеки. Если мне нужна книга, я могу выписать ее на дом.

– То есть вам удобно здесь жить при вашем одиночестве?

– Абсолютно. Мне здесь очень удобно. Я когда подумаю о Франции… прежде всего у меня там не может быть машины, потому что там узкие дороги, а скорости огромны, я не могу так ездить, я так не привыкла, буду бояться.

– Вы родились в России, часть жизни прожили во Франции, почти сорок лет в США, четверть века здесь, в Принстоне. Дай вам Бог еще много лет… Но скажите, какое место на земле для вас самое святое?

– Нет, такого места нет. Впрочем, первое, что мне пришло в голову, видимо, автоматически, когда вы кончили вашу фразу, моментально – могила Ходасевича на кладбище в Биянкуре… Это серьезно. Я всегда помню об этом месте. Я приезжаю в Париж, на следующий день беру такси и еду туда смотреть, все ли в

порядке, и все в порядке бывает всегда, потому что не только я езжу туда, но и разные другие люди. Но даже эта могила не удержала меня от переезда в Америку. Когда я уезжала, у меня ничего не оставалось, ни дома, ни квартиры, ничего, библиотеку и ту продала, в Нью-Йорк уехала с двумя чемоданами. Вообще я не сентиментальна. И, кроме того, я вам отвечу на вопрос, который вы мне не поставили, а я его жду: «Что меня больше всего интересует на Земле?»

– «Что» или «кто»?

– «Кто» и «что» вместе. Я только одно могу сказать: люди. И когда мне из Москвы позвонили по поводу визы и очень любезно спросили: «Нина Николаевна, а не хотели бы вы музыку послушать хорошую, побывать на каком-либо концерте?» – я подумала, что музыку можно слушать каждый день и здесь, а я не знаю, приеду ли я в Россию снова, и вообще я чувствую, что мне интересно отвечать на всякие вопросы. И я ответила: «Меня главным образом интересуют люди». Пожалуй, не совсем точно: не только главным образом, – я, собственно, интересуюсь исключительно людьми.

– А потом?

– А потом книгами…

– Вы встречались со многими выдающимися людьми. Кто оказал на вас наибольшее влияние?

– Нет, я на этот вопрос не могу ответить. Книги, вероятно.

– Значит, не люди?

– Нет, книги, с которыми я встречалась: книги Джойса, Пруста, Кафки, книги Андре Жида, книги современников. Другого влияния я не чувствовала. Ну, Ходасевич, вероятно, потому что мне было двадцать, когда ему было тридцать шесть. Конечно, он оказал на меня влияние, но я бы особенно не придавала большого значения этому.

Кладбища и церкви ее не интересовали

– Вы сказали, что для вас главное – люди, а теперь получилось, что главное все-таки книги?

– Люди не влияли, они просто интересны. Мне говорят: «А не хотите ли вы поехать в Загорск? Может быть, какие-то есть места, куда бы вы хотели поехать?» Куда? В Загорск? Зачем? Я вообще предупредила с самого начала, еще давным-давно, год тому назад, что, если приеду, я не пойду ни на какое кладбище и не пойду ни на какую церковь смотреть, мне это совершенно неинтересно.

– Это оригинально, потому что многие посещают прежде всего именно могилы.

– Нет, я ни на какие могилы не пойду.

Уже во взрослом состоянии я стала замечать, что русские люди считают так: жизнь не меняется, есть основное, незыблемое. Пушкина читали мои дедушки, Пушкина читали мои отец и мать, и я читала, и так всегда будет… Появились ужасные вещи. «Война и мир» на восьмидесяти страницах за доллар. К экзамену студенты покупают эту брошюрку и считают, что приобщились к Толстому. Не помню, когда я последний раз читала Монтеня. Нет, далеко не все живет…

– И это естественный процесс?

– Абсолютно. Мир так меняется, когда живешь так долго. Я помню эпоху до 20-х годов, эпоху до последней большой европейской войны… Была эпоха между двумя войнами, которая совершенно смыла все, что было в XIX веке и в начале XX. В Европе ничего не оставалось. И теперь… Я сама не перечитывала Пушкина сорок лет, у меня нет времени его перечитать, я знаю его более или менее наизусть, не все, конечно, но главное. И я не перечитываю «Преступление и наказание», не перечитываю «Войну и мир»…

– Вы говорите, меняются времена и эпохи, а вы, пережившая уже несколько эпох, вы иная или нет?

– Конечно. Прежде всего, когда я приехала в Европу с Ходасевичем, я читала французов, немцев, читала англичан и американцев… Но от книг я стала совершенно по-другому видеть мир и свое собственное ремесло. И вообще многое.

– Америка вас тоже изменила?

– Уже меньше, возраст был такой, что я не была так остро восприимчива. А потом, материальные возможности не те. Я должна была с утра до вечера работать, а вечером до одиннадцати часов ходить в школу английского языка, иначе я бы

пропала.

– У вас есть сейчас предчувствие того, что, приехав в Советский Союз на две недели, вы станете снова иной?

– Это вполне вероятно, не хочу хвастать, но это большое счастье, что в своем возрасте я могу меняться. Значит, какие-то клеточки еще не умерли. Вы, кстати, навели меня сейчас на эту мысль. Мне совсем не хочется ехать в Буэнос-Айрес, мне совсем не хочется ехать в Рио-де-Жанейро, говорят, красивые места, ну и пусть они существуют, я им зла не желаю, но ехать туда не хочу! Меня Москва и, в особенности, Ленинград привораживают, притягивают. Я хочу увидеть то, что я не видела столько времени, услышать русскую речь, которой была лишена, для писателя это очень много значит. И речь эта, по-видимому, другая, не та, которой говорили мои деды и родители, нет… И даже не такая как у нас в эмиграции, но все-таки русская речь.

Берберовой предоставили все масонские архивы

– Вы написали одну из самых принципиальных, а может быть, самых скандальных книг нашего времени, книгу о масонах «Люди и ложи». Я хочу спросить вас: вы думаете о ее публикации в Советском Союзе?

– О, я хочу! Ведь в книге нет никакой двусмысленности, боже упаси. С 30-х годов я записываю ритуалы масонов. Мой второй муж, Николай Васильевич Макеев, русский человек, был одно время масоном, потом он прекратил это дело, соскучился с ними – с ними не было особенно интересно. Я вспоминала, кого из масонов я знала, вспоминала факты, которые открывали на прошлое глаза. И однажды я решилась, поехала в Париж, пришла прямо в Национальную библиотеку в рукописный отдел и сказала: «Можно ли мне посмотреть масонские архивы?» Меня осмотрели с ног до головы и сказали: «Приходите завтра в 9 часов утра, мы вам дадим ответ». Они моментально кинулись проверять, кто я, вероятно, кое-кому позвонили, увидели в каталоге все мои книги. Когда я пришла, в мое распоряжение были предоставлены два или три ящика с документами и свободная комната. Сначала меня интересовали только люди, только имена. А там я поняла, что мне и все эти обряды, ритуалы, конечно, очень интересны: как называть чашу, как называть председателя и так далее. Масонство XX века – потрясающе интересно, оно связано с европейским масонством, не с шотландским, когда все знают, кто масон, кто не масон, а с тайным обществом, с Францией. И в верности Франции масоны давали клятву.

– Как вы работали над книгой? Кроме архива чем еще пользовались?

– Архивы были такие, что прямо умереть. Когда я их открыла, то совершенно онемела. Что я там нашла? Вы знаете, что А. Ф. Керенский, М. И. Терещенко и другие министры были масонами, кроме П. Н. Милюкова? И они от французского масонства шли. «Grand Orient de France» – «Великий Восток Франции»[17] их благословил на открытие лож и на процветание масонства в России. Они дали масонскую клятву, которая по уставу превышает все остальные: клятву мужа и жены, клятву Родине. Они дали клятву – никогда не бросать Францию. И потому Керенский не заключил мира.

– Кто из масонов, описываемых вами, сегодня жив?

– Никого не осталось, никого. Даже самый младший масон, из которого я «высасывала» кое-какие интересные факты, Григорий Яковлевич Орансон, умер здесь, в Америке, перед тем, как я начала писать. Он знал, что я работаю над масонством, но уже был при смерти…

– Для меня было открытием, что упомянутый вами в книге Владимир Сосинский[18], которого я знал, – он умер два года назад, после возвращения прожил в СССР почти тридцать лет, – состоял в ложе.

– Да, Сосинский был женат на дочери Виктора Чернова Ариадне Черновой-Колбасиной. А я и не знала, быть может, он и был последний из масонов? А может быть, кто-нибудь еще из моего поколения, кому восемьдесят девять или девяносто, доживает свой век в какой-нибудь богадельне?..

– Вы считаете, что историей, обществом движут какие-то теневые правительства, тайные заговоры?

– Нет, все тайное делается в конце концов явным. Сейчас уже этого ничего нет, думаю, что мода прошла на масонов.

«Горбачев никакой не масон»

– У нас сегодня гласность, и печать пишет обо всем. Так вот, один человек мне сказал заговорщически: «Ты заметил, что когда Горбачев стал Генсеком, то первый визит иностранной делегации был с Мальты. Так что Горбачев-то – масон!»

– Это так глупо, просто стыдно за человека, который так думает. Во-первых, Горбачев никак не мог быть масоном, потому что в Советском Союзе всех масонов уничтожили и никакого тайного общества, как вы сами понимаете, в Москве быть не могло. Затем, что такое мальтийцы? Мальтийского ордена не существует с XVIII века. Николай I запретил масонство, и оно весь XIX век не существовало вообще. Вместо того чтобы врать все это и выдумывать, почему бы не поехать и не посмотреть, что содержится в западных архивах? В Гуверовском архиве покопаться, в Парижской Национальной библиотеке…

– Вы наверняка знаете, что члены общества «Память» считают, что во всех наших бедах виноваты евреи и масоны, что русский народ не виноват в том, что произошло при Сталине и Брежневе. А другие считают, что во многом виноват именно народ, допустивший чудовищные преступления.

– Смотря как относиться к роли интеллигенции… Очень многие считали, что интеллигенция ничего не может сделать с народом, что народ такой косный, такой безграмотный… А безграмотный потому, что Николай II запрещал им грамоту преподавать. Девяносто процентов крестьянского населения было необразованным. Николай II и его министры все время палки в колеса втыкали, чтобы мужика не учить, чтобы сына его и внука не учить грамоте, пускай, дескать, вот так и живет народ на черном хлебе. Если это так, тогда русская интеллигенция виновата, потому что мужик не мог все равно ничего сделать в 30-е годы, недостаточно времени прошло после революции.

А если считать, что русский народ имеет чувства и мысли, не животное безграмотное, а очень даже способный народ, тогда с этим нельзя согласиться. Но я сужу со стороны. Я думаю, что все-таки это были интриги невероятных преступников и разбойников, которые вокруг Сталина сидели. Не то что народ, даже интеллигенция не была допущена к делам государства. Если уж Горький ничего не мог сделать, что взять с других? В своей книге «Железная женщина» я не могла сказать, потому что недостаточно была уверена, но теперь это уже опубликовано и стало известно, что моя героиня, любовница Горького Закревская-Бенкендорф-Будберг, была двойным агентом: она ГПУ доносила о

Европе, а английской разведке – о том, что делалось в Советском Союзе. Очень хочу, чтобы моя книга вышла в России, потому что тогда закончится легенда о том, что во всем виноваты евреи. Среди масонов были разные люди, немало было евреев, но еще больше – армян. Два брата моего отца, племянники, мои двоюродные братья – все были масоны. Папа не был, и я не знаю почему. Очевидно, его это не интересовало.

– Как же вас допустили до таких секретов?

– Да, мне повезло. После того, как я поработала, архивы закрыли опять, окончательно закрыли, вероятно, на 200 лет… Вы знаете, интерес к этой теме огромный. Когда стало известно, что я пишу книгу о масонстве, меня просили: «Нина Николаевна, пожалуйста, впишите моего дедушку». Я говорила: «А вы уверены, что он масон?» – «Да-да-да, мы точно знаем, он был масон».

– А вам известно, что ваши книги тайными путями, контрабандно, нередко с риском, привозили в Советский Союз?

– О да! И мне это приятно. Мне сообщили, что экземпляры моего «Курсива» зачитывались до дыр.

– Сколько книг вами написано, Нина Николаевна?

– Немного. Я бы сказала так: один том ранних рассказов, которые называются «Биянкурские праздники»… Я была единственным автором в эмиграции, который писал об эмигрантском пролетариате. И я сама жила тогда с Ходасевичем в Биянкуре – это предместье, где заводы Рено. И очень многие чины Белой армии, не только солдаты, но и офицеры, работали там, обзаводились женами, рожали детей, дети ходили в школу. Муж работал, а жена становилась швеей или шляпы делала… Недавно я перечитала эти рассказы и сказала себе: «Гордиться нечем, но и краснеть не от чего». Рассказы прежде всего интересны тем, что о пролетариате эмиграции ничего не известно. И потом, есть какая-то невидимая связь моих персонажей с советскими людьми того времени. Итак, том «Биянкурских праздников», далее том длинных повестей 40—50-х годов, немножко 30-х годов. Два тома «Курсив мой», один том «Железной женщины», один том статей, «Чайковский» – это уже семь томов. «Бородин» – восемь, два маленьких томика стихов… Пожалуй, все.

– Почти 10 томов!

– Но это максимум. Наберется еще том статей.

– Какую из ваших книг вы считаете главной?

– Конечно, «Курсив»!

Она боялась, что ее архив в России сожгут

– Ваш архив хранится в нескольких местах. Нельзя ли сделать так, чтобы хотя бы часть его была на родине?

– Конечно, есть возможность кое-что отправить на родину, но не сейчас, потому что у меня нет гарантии, что это все не сожгут. Я не могу сказать, что вообще ничего не выйдет из перестройки. Я уверена, что выйдет, и уже вышло, и вышло довольно много. Живой пример – я сама, решившая посетить родину. Но я могу сделать другое, то, что вам не приходит в голову. Я могу составить серьезную бумагу, с тем чтобы советские ученые, литературоведы могли быть допущены к архиву после моей смерти.

– А какова судьба вашей библиотеки? И что она собой представляет? Она для работы?

– Нет, зачем же библиотеку иметь? В Америке никто не имеет библиотеки. Покупают только исключительные книги. Они исключительны, если вы знаете, что библиотека их не приобретает, или они исключительны, потому что для вас нужны, вы хотите, чтобы они у вас были, просто такая человеческая жадность – иметь. На самом деле, конечно, у меня не было достаточно денег, чтобы обзавестись какой-то систематической библиотекой. Но кое-какие книги у меня есть. Вот видите, здесь целая полка набоковских книг: английских и русских. Это я покупала, потому что мне было приятно иметь такую коллекцию и, кроме того, потому что мне нужно было лекции читать по ним. Но, вообще говоря, в моем положении профессора – это большая роскошь покупать книги и иметь собственную библиотеку. Я бы сказала, что так делают очень многие профессора, может быть, даже и большинство, но я не могла этого сделать.

– А книги, которые вам дарил Владислав Ходасевич, другие ваши знаменитые спутники, сохранились?

– О! Они все здесь. Борис Зайцев здесь, Иван Бунин, может быть, есть, а может быть, и нет, не помню… Конечно, книги есть дарственные, но я, вероятно, как профессионал, сама не очень ценю это. Какая разница, читать бунинский экземпляр, подписанный «Дорогой Нине», или читать эту книгу в библиотеке? Это, между прочим, расстраивало моих родителей, что я ничего не коллекционировала. «Саша коллекционирует бабочек, Маша коллекционирует цветочки, а ты ничего. Заводи гербарий», – говорили мне домашние. А я не хотела. Очевидно, такого таланта во мне нет.

– В последнее время у нас возрос интерес к Зинаиде Гиппиус и

Дмитрию Мережковскому, с которыми вы, конечно, общались. Как вы считаете, интересно их творчество советскому читателю?

– Еще как! Их надо печатать. Как исторический документ, а не как сегодняшний день. На сегодняшний день их идеология совершенно не годится. Они были бы в ужасе, если бы посмотрели на Францию, Россию или на Америку сейчас. Ничего не осталось от прежнего. И Пушкина в XXI веке читать не будут, как французы не читают дивных поэтов XVI века. Гиппиус и Мережковский так же не годятся, как обувь пятилетнего младенца, если бы я на себя пыталась ее обуть. Но исторически то, что они делали в литературе и в искусстве – это очень интересно. Мережковский – чудная русская фигура. Как они оба тосковали по России!..

– Каковы ваши отношения с третьей волной эмиграции?

– Я ее недостаточно знаю, хотя лично знаю очень многих, но я их очень мало читала, потому что я до такой степени занята, что и на письмо трудно ответить, не то что читать большие романы. Читала Войновича. Он такой милый сам, мне приятный как личность, я не хочу сказать о нем плохого слова, но его роман… этот последний, «Москва 2042», о XXI веке, я едва дочитала…

– Как вы восприняли присуждение Иосифу Бродскому Нобелевской премии?

– Большой поэт, но не прозаик, и написанное им по-английски – стихи большого поэта, хотя американцы так не считают. Слависты, которых я знаю, считают, что он – замечательный русский поэт. А я чувствую, что он замечателен как поэт, пишущий на русском и на английском. Я вообще его английскому языку прямо диву даюсь. Так великолепно может сочинять стихи. Когда получил Нобелевскую премию, это для нас всех была радостная весть.

Прощаясь после долгого разговора, Нина Николаевна сказала с юмором, что ее приезд в Россию – это все равно что «Писемский воскреснет»! Я ответил: «Быть может, не знаю…». И вспомнил четыре строки, написанные Берберовой давным-давно: «Я говорю: я не в изгнанье, я не ищу земных путей. Я не в изгнанье, я – в посланье, легко мне жить среди людей». Возвращение к нам наших соотечественников из эмиграции – это «посланье» нам же из нашего прошлого. Так примем с достоинством посланников. Не унижая и не унижаясь.

Август 1989

5 сентября 1989 года рейсом Эр Франс из Парижа в Москву

прилетела Нина Николаевна Берберова. Повторяю, она не была на родине шестьдесят семь лет.

«Великая Берберова» на родине

«Потрясена Ленинградом, его провинциальностью»

Ее диалог с родиной, в сущности, не прерывался, хотя столько лет она жила вдали от нее. Ни в каком сне не мыслила и не мечтала снова увидеть Ленинград, Москву, Россию.

Вечера, приемы, посиделки… В залах сотни, тысячи людей. Тьма записок, вопросы, вопросы, вопросы… Нина Берберова в Москве и Ленинграде.

– Мережковский никогда не смеялся. Бунин хохотал в злобе…

…О книгах Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» и «На берегах Сены»? Бунин выведен превосходно, есть и другие интересные страницы. Саму Ирину Владимировну не видела, не удивляйтесь, с тридцать девятого года, помню ее тонкой, изящной блондинкой…

…О Николае II? Девяносто пять процентов населения держал в темноте, не прощаю ему, до чего довел страну…

…В Марине Цветаевой было что-то трагическое от рождения. С людьми ей было страшно трудно, и с близкими, и с чужими, она была как будто с другой планеты. Для нее все было не так. Она сама творила вокруг себя драмы. Из-за тяжелого характера многие от нее отворачивались…

…Считаю, что во всей эмиграции гением был только Набоков…

…Из нынешних советских писателей не знаю почти никого. Ким? Не знаю. Татьяна Толстая? Не знаю. Петрушевская? Не читала. Анастасия Цветаева? Не знаю…

…О сталинских лагерях далеко не все в эмиграции знали и верили, что они есть. Думали, что это все пропаганда врагов Сталина.

…Федор Раскольников[19] явно покончил с собой, выбросился утром из окна…

…Однажды А. Ремизов сказал мне: «Россия – это сон»…

…Из современной музыки очень высоко ставлю и ценю Шнитке…

…Одно из потрясений – письмо Лили Брик из Финляндии с восторженными словами о «Курсиве»… Я говорила себе: «Боже мой! Это сон, сказка – эти замечательные слова о моей книге». После этих слов все остальное так меня не ударяло…

…Как Маяковский относился к Ходасевичу? По-моему, и он, и Лиля Юрьевна его ненавидели. Эльза Триоле от меня

отворачивалась…

…Совершенно случайно прочитала в журнале «Октябрь» рассказы Трапезникова. Вы знаете, очень талантливый писатель……Возмущена некоторыми вашими литературоведами: они приезжают в США, в архивы, и просто воруют документы, вырезают прямо-таки варварски…

…Совершенно потрясена Ленинградом, его провинциальностью – как же можно до такого довести великий город: блеклые дома, обшарпанные, запущенные, все заколочено, подколочено, в дверях торчат гвозди, двери болтаются, в подъездах грязно и страшно. Не то, что было когда-то. Конечно, люди грели душу, и их тепло, внимание ко мне не забудутся. Примирил меня с Ленинградом вид из моей гостиницы: мосты, Адмиралтейство, растреллиевские дворцы. За один этот вид все можно отдать… В эмиграции мы никогда не говорили о будущем, оно было для нас темно. Но мы ошиблись.

– Нина Николаевна, в предисловии к тому стихов Ходасевича в большой серии «Библиотеки поэта», только что изданному у нас, написано: «22 июня 1922 года Ходасевич вместе с молодой поэтессой Берберовой покидает Россию и через Ригу прибывает в Берлин. Начинается жизнь, полная скитаний, поисков работы, часто почти нищенская и почти всегда трагическая». А что было дальше, как вам жилось?

– Я думаю, что все это преувеличено. В Берлине в это время собралось неимоверное количество русских, и мы не чувствовали себя так одиноко и убого, как может показаться неискушенному человеку. Ходасевича, который был уже популярен в России, все привечали. Среди издателей были его друзья. Нас печатали, надо было только не лениться, работать. Однажды Ходасевич уговорил меня взяться за перевод знаменитого романа де Лакло «Опасные связи». За этот перевод я получила свой первый гонорар. Когда в магазинах уже не было ни хлеба, ни мяса и жизнь стала невыносимой, мы переехали в Саар, где жил Горький. Ходасевич все время думал, что пройдет год, два – и мы вернемся, но прошло три года, и истек срок действия наших так называемых красных паспортов. Их номера были, кажется, пятнадцатый и шестнадцатый. Первый вроде бы значился за Эренбургом. Одними из первых мы законным образом выехали из России и таким же законным образом хотели вернуться домой. Так что, когда Ходасевич собрался в консульство, я была спокойна и даже не хотела с ним идти. Я была уверена, что визы нам продлят. Из консульства мы вернулись убитые: нас известили, что паспорта выданы на три года и что мы немедленно, чуть ли не на

следующий день, должны покинуть пределы Франции. Ходасевич почувствовал, что нам отрезают путь. И сразу же, как будто по чьей-то команде, перестали приходить переводы на получение гонораров за пьесу, которая с огромным успехом шла в Малом театре. Ходасевич был переводчиком пьесы, и деньги, до этого регулярно высылаемые из Москвы, нас очень поддерживали. Так вот, оказывается, был, не знаю, гласный или негласный, такой закон: не продлевать паспорта тем, кто брал его на год или два. Это только легенда, что Ходасевич якобы сказал: «Я эмигрант, и не поеду в Россию»…

– Нина Николаевна, известно, что вы сдержанно относитесь к религии, но можно ли эмиграцию назвать вашим тяжелым крестом?

– Да, это был мой крест – то, что я жила в чужой стране. Конечно, вы можете возразить: у вас успех, вас издают повсюду, вы знамениты. Но все это случайность. Случайность, что я дожила до моих лет. А мой успех, издания, мой приезд в Москву, наконец, – это тоже чудо, неожиданное чудо.

«Русский язык для меня – всё»

…Теперь все позади: обласканная, обцелованная, обдаренная, ошеломленная, она улетела в маленький подньюйоркский Принстон. Профессор в отставке, вдова Ходасевича, поэтесса, автор знаменитых романов, любимейшая во Франции, читаемая во многих странах Европы «железная женщина», одна из первых познавшая секреты русского масонства, великолепная, простите, старуха, для многих принстонцев просто Нина. Для всех нас – Нина Николаевна Берберова. Ее приезд в Советский Союз стал событием в культурной жизни. Она въехала в Москву на белом коне: умная, язвительная, обворожительная, она потрясла абсолютно всех, с кем общалась, кто видел ее на телеэкране. Обвал уникальной информации, которой она одаривала всех, с кем общалась, мгновенная реакция на все, даже на провокационные вопросы, в каждом взгляде, движении, слове – жизнь, ум, энергия.

Я общался с ней в Москве на ее вечерах, у себя дома, в часы записи телепередачи «Зеленая лампа», целый вечер (замечательный!) мы провели у Василия Катаняна и Инны Генс[20] в квартире Лили Брик.

Надо признаться, временами я менял к ней свое отношение: то восхищался, то недоумевал, то возмущался.

Временами она была безапелляционна, резка. Легенды ходят о ее капризах. Однажды ей показалось, что волшебный союз с

Владиславом Ходасевичем грозит перевоплотиться в скуку и повседневность, и она ушла от него. В одночасье, сразу. Сварила ему борщ на три дня, заштопала носки. И ушла. Не знаю, как кому, а мне очень жаль бедного, больного Владислава Фелициановича. Не могу понять, почему здесь, в Москве, «великая Берберова» (как сказал Андрей Вознесенский) гнала от себя любителей автографов. Один из них, убеленный сединами, самый настойчивый, почти фанатичный – он, как мальчишка, стерег гостью, чтобы заполучить от нее всего лишь несколько слов в альбом. Но она его не приняла. И мне также его жаль. Но я никогда не забуду, какой душевной, внимательной, заботливой она была у себя дома, в Принстоне, когда я был у нее в гостях.

– Вас издают сегодня в самых разных странах. Но скажите, что такое для вас напечататься где-нибудь, скажем, на Огненной Земле или в Москве, ощущаете ли вы разницу?

– Я понимаю, что вопрос ваш иронический. Если же серьезно, я так отвечу: как литератор, я живу только русским языком. Французы мне ревниво иногда говорят: «Во Франции вы жили двадцать пять лет, а что вы написали по-французски? Ни-че-го!» Они не совсем правы, по-французски я написала книгу о Блоке, но это не художественная вещь; роман, к примеру, или повесть я не смогла бы написать по-французски.

Русский язык для меня – все. Я бы так сравнила: человеку, который всю жизнь лепит из глины, вдруг говорят, почему вы не работаете по металлу? Так и я: русский язык для меня – глина на всю жизнь.

У меня никогда не было какой-то нервности, что русский язык улетучится, что я его забуду. Помогало многое, в том числе и чтение советской литературы, и это, помимо всего прочего, я должна была делать профессионально. Я покупала журналы «Новый мир», а еще раньше «Красную новь». Конечно, затраты, но – необходимые. Знакомство с текущей советской литературой помогало мне выжить. А знаете, какое для меня было удовольствие открыть Ю. Олешу и В. Каверина, блистательных советских писателей. Я горжусь, что мои книги, изданные на Западе, тайно привозились в Россию. Наверняка это было рискованно, не наверняка, а точно, об этом мне говорили мои друзья. У одного из них – он потом стал эмигрантом – в доме была штаб-квартира по чтению Берберовой. Он мне сообщил, что не может показать, во что превратились мои книги после их почти круглосуточного беспрерывного употребления на потоке. Конечно, мне это приятно.

Будберг привезла Сталину итальянский архив

Горького

Я знал, что журнал «Дружба народов» готовит публикацию «Железной женщины», и попросил Нину Николаевну сказать несколько слов о книге.

– Когда я села за роман об этой женщине, для меня был очень важен факт приезда Будберг в Москву после смерти Горького. Почему это так важно? Потому что именно она выполнила задание ГПУ и привезла Сталину итальянский архив Горького, а в нем содержалось то, что особенно интересовало Сталина, – переписка Горького с Бухариным, Рыковым и другими советскими деятелями, которые, вырвавшись из СССР в командировку, засыпали Горького письмами о злодеяниях «самого мудрого и великого». Так вот, я написала ее дочке письмо с четырнадцатью вопросами, а среди них был один, главный для меня: «Посещала ли Ваша мать Москву между 1921 годом, когда она убежала из России, и 1952, когда она официально приехала повидать Екатерину Павловну Пешкову?» И дочь Будберг, запутавшись в ответах, проговорилась. Подтверждение этому я нашла в письме (март 1935 года) Алексея Толстого к жене Наталье Крандиевской, где он сообщает, что Мария Игнатьевна недавно приехала и завтра уезжает. И еще одно подтверждение: нашлась фотография, где Будберг рядом со Сталиным идет за гробом Горького.

– Что вы скажете о Горьком, ведь вы его хорошо знали? Был ли он вашим кумиром?

– Я люблю Горького, но он из XIX века. Он не для меня. Я училась у Кафки, Джойса, Пруста, но никогда – у Горького. Знала я его, конечно, неплохо, я много с ним разговаривала и общалась… (По приезде в Москву Нина Николаевна провела несколько часов с сотрудниками музея Горького и осталась очень довольна этой встречей.)

– Александр Керенский был свидетелем на вашей с Николаем Васильевичем Макеевым свадьбе. Вы хорошо знали Керенского. Скажите, сожалел ли он о своей во многом не удавшейся жизни?

– Он был раздавлен, абсолютно раздавлен после выезда из России. Политическая карьера Керенского связана с масонством, и Франция была для него, как и для всех масонов, прежде и превыше всего. Как же можно было бросить Францию в такой час?! В свое время мне казалось, что Александр Федорович, со своей точки зрения, прав, ведь немцы стояли под Парижем. Париж пал бы в три дня, если бы русская армия помирилась с немецкой. Он это, конечно, понимал. Поэтому до последнего, до 25 октября 1917 года, немцы старались наступать. Не выходило в Карпатах, наступали в Польше. Конечно, с точки зрения русского

человека, Керенский мог сказать, что ради французов он дал возможность Ленину захватить власть. Если бы он арестовал Ленина в июле и «замирился» бы с немцами, революции могло не быть…

– Нина Николаевна, многие читатели беспокоятся о судьбе вашего уникального архива…

– Меня часто спрашивают о моем архиве, но я считала, что не всем интересно знать, при каких условиях я отдала его в университетские подвалы. Я приехала в США осенью пятидесятого года и привезла с собой из Парижа, где пробыла почти четверть века, огромный ящик с бумагами – все то, что я спасла в свое время из квартиры Ходасевича, разгромленной немцами. Я унесла все, что могла, как муравей, на своем горбу. Денег на такси у меня не имелось. Бумаги я решила везти с собой в Америку, потому что совершенно не представляла, куда я могу их спрятать в Париже.

В моей новой обители в США ящик этот занимал много места, комната была маленькая. Кроме того, мне говорили, почему бы не отдать или продать содержимое ящика в какой-нибудь университет или хранилище. И день такой настал. Ко мне пришел мой добрый знакомый, историк Борис Иванович Николаевский, вместе мы открыли драгоценный ящик: автографы, газетные, журнальные публикации Ходасевича, тетради, которые я, помню, сшивала цветной бумагой, а он в них вклеивал вырезки из «Возрождения», «Последних новостей», где регулярно печатался. Были в ящиках мои материалы. Все это я предложила Борису Ивановичу купить. За какую цену? Вы думаете, я тогда понимала в этом? Борис Иванович был человек небогатый, как и все эмигранты, и он сказал: «Я могу дать 50 долларов». А у меня в кармане в тот момент было только пять долларов, и на следующее утро я должна была внести плату за гостиницу, в неделю я платила пятнадцать долларов. В этой ситуации я сказала: «Хорошо». Теперь, когда я рассказываю об этом, все смеются. Но не пугайтесь, с архивом ничего не случилось. В конце концов, он благополучно хранится сегодня в двух великолепных американских архивах, в Стенфорде и в Йеле. В этих архивах много интересного для России…

Сентябрь 1989

Нина Николаевна Берберова умерла в Филадельфии 26 сентября 1993 года. В России продолжают переиздаваться ставшие почти культовыми ее книги – «Курсив мой», «Железная женщина», «Люди и ложи», а также ее стихи.

Глава 19. Франсуаза Саган: писательница, игрок, искательница приключений

«Я готова сесть хоть к вам на колени».

Вся ее жизнь с самой ранней юности была подвержена соблазнам дьявола – риск, авантюры, горячечные ночи в казино и жаркие любовные приключения. Из страшных катастроф (носилась по автострадам со скоростью 200 километров в час) выходила изуродованной, но живой. Она быстро раскусывала мужей и любовников, которые хотели делать на ее имени деньги и карьеру, и молнией, с чемоданчиком в руках покидала притворное ложе. Несколько лет назад, попав в очередную автокатастрофу, оказалась в коме, но выбралась почти с того света. Говорили, что с молодости ее слабостью были наркотики. Старалась скрыть это от публики, но безуспешно…

Она погорела на близости с сильными мира сего. Завели дело. Многим казалось, что любимице публики пришел конец, но ее оставили на свободе с условным приговором. Оказавшись разоренной, Саган заложила квартиру в центре Парижа. Она глубоко переживала скверную ситуацию. Дали о себе знать все болезни уже не молодой, всю жизнь жившей на пределе женщины. Закупорка легочных сосудов привела к смерти.

Достаю с полки свое журналистское досье на Франсуазу Саган. С грустью перекладываю публикации о ней, фотографии, вырезки из газет. В который уже раз перечитываю наши с ней разговоры-интервью. Чудится, будто от книг с автографами Франсуазы исходят ее аура, ее тепло. Хочется вспоминать и вспоминать. Все, до мельчайших деталей.

Саган любила эпатировать публику. Но самой главной авантюрой ее жизни была все же литература, искусство водить пером по бумаге. Совсем юной, сразу после лицея, она, оседлав вдохновение, выдохнула свой первый роман «Здравствуй, грусть», которым обеспечила себе имя в пантеоне знаменитых граждан Французской республики. Сама Франсуаза считала, что провидение сыграло с ней шутку: миллионные гонорары за эту безделушку – за что? Потом были «Подобие улыбки», «Любите ли вы Брамса?», «Немного солнца в холодной воде» и другие романы, но Саган больше не приблизилась к вселенскому успеху первой

книги. В жилах Саган текла и русская кровь. По линии прабабушки. Но в России она была только однажды. Говорила, что мечтает познакомиться с Михаилом Горбачевым, посетить Кремль, зайти в книжные магазины. Она с энтузиазмом принимала перестроечные события в СССР, хотя позже во многом разуверилась. Мне повезло, я оказался одним из немногих российских журналистов, кому Франсуаза дала интервью. Но я видел и другую Саган – не менее экзотическую – в казино. Там, где, по крылатому выражению Бодлера, поэтам знаменитым «в пот и кровь обходится игра».

Она умерла в пятницу, 24 сентября 2004 года.

Саган больше нет. Франция и все, кто не представляет свою жизнь без книг, склоняют головы перед ее талантом. А это значит, что ослепительный свет семафора бессмертия отныне горит для Франсуазы Саган только зеленым.

«Моя прабабушка со стороны отца была русская»

– Вы идете к Франсуазе Саган?! Но она же наверняка будет не в себе. Как вам удалось ее разыскать?! Она давно уже ото всех прячется – от издателей, журналистов, поклонников, полицейских… Это же баловень Парижа, птичка певчая. Шалунья. И потом, вы ничего не поймете из того, что она скажет. У нее каша во рту, ей бы комментировать футбольные матчи…

О шалостях и чудачествах Франсуазы Саган в Париже любят посудачить. То она выходит босиком на улицу, то гоняет в безумно дорогой машине, то пьет, то играет.

…С первой же встречи Франсуаза мне жутко понравилась. Естественными манерами, раскованностью, мгновенной реакцией, радушием. Началось с того, что она опоздала и я в течение часа томился в ее квартире, потягивая предложенный секретаршей, мадам Бартоли, аперитив. И когда с извинениями влетела в комнату хозяйка, а я тут же спросил, как нам удобнее сесть – на диван или же за стол, Франсуаза мгновенно отозвалась: «Я виновата, точнее, виноват мой пес, он заболел, и я возила его к врачу… И готова дать интервью у вас на коленях!..» Не каждому посчастливилось услышать такое от живого классика французской литературы. Я сразу почувствовал себя здесь своим, одомашненым. И мне еще сильнее захотелось говорить с Франсуазой Саган не только о литературе, но и о том, как создаются идолы, земные боги.

– Вы знаете о том, что ваши романы в России бешено популярны?

– Да, узнала недавно. И очень рада. Только пусть хоть через раз не забывают присылать мне денег. Иногда они бывают необходимы. (Саган смеется мелким, заразительным смешком.) Я люблю русских, русский характер. Моя прабабушка со стороны отца была русская, из-под Петербурга. Мой характер пронизывает азарт. И мне говорили, что в этом моя русскость, и этот аргумент я использую, чтобы извинить свою слабость.

– Это банально, но прошу вспомнить (наверное, в тысячный для вас раз), как вы начинали в литературе, как была написана первая повесть. Ведь именно она создала вам мировую славу.

– Тогда я училась в Сорбонне и провалила экзаменационную сессию. Было лето, и я осталась с отцом в Париже. Чем заняться?

И я решила что-то такое написать. К осени повесть была готова. Я сама отнесла рукопись к издателю, который быстро ее напечатал. Ну и все завертелось… Вот так неожиданно я стала писателем. В четырнадцать лет, читая Стендаля, Бальзака, русских классиков, я уже мечтала только об одном – о литературе. И, тем не менее, увидев свою вещь напечатанной, я поразилась.

– Чем, самим фактом публикации?

– Да! Ну и сразу же реакцией читателей, критиков. Разразился гигантский скандал, потому что впервые во французской словесности описана девушка, которая занимается любовью с молодым парнем и не беременеет. Полагалось, что после этого она непременно должна быть наказанной за свой грех. В книге же этого не произошло, вот и вышел скандал. В то время, в середине пятидесятых годов, плотская любовь в литературе была во Франции запрещена. Поразительно, как меняются нравы, ведь сегодня в такой же степени она является обязательной. И чем откровеннее, тем «рыночнее».

С тех пор литература стала страстью моей жизни. Что же кроме? Люди, природа, игра…

– А деньги? Вы наверное богаты?

– Я люблю деньги, которые мне хорошо служат, но я для них плохой хозяин. Деньги всегда сопровождают мою работу, мою жизнь, мою игру.

…С той давней поры прошло много лет. Но помнится и видится все точно в подробном сне: склонившаяся над карточным столом пшеничная голова и огромные, впившиеся в полуприкрытый веер карт темно-карие глаза крупноносой женщины. Преферанс и рулетка были страстью всей ее жизни. Довиль, богемная Мекка Франции, средоточие праздности утомленных солнцем юга, прохлада Атлантики…

Франсуаза устала. Но держится, не подает вида. В глазах пожухлость. Я знаю, что проигранных денег ей нисколько не жаль. Они текли сквозь пальцы всю ее жизнь – гонорары за книги, экранизации, интервью. И выигрыши, выигрыши… Когда-то, много лет назад, она пришла в казино и выиграла огромную сумму – 8 миллионов франков. А утром на эти деньги купила прекрасный старинный дом. С тенью Сары Бернар, которая полвека назад гостевала у его хозяев.

Особняк в Нормандии заложила за долги

Большего выигрыша, чем подвалил ей многие годы назад, 8 миллионов франков, никогда не случалось, а «мелкие», сотеннотысячные, сопутствовали Саган всегда. Несмотря на астрономическое для Франции количество экземпляров ее книг, исчисляемое полумиллионными тиражами, денег стало не хватать. Писательница залезла в долги, рассталась с дорогим «Ягуаром», с одним из загородных домов, редкими вещами. Особняк в Нормандии заложен. Приезжая в Париж из родительского дома в провинции, Франсуаза останавливается в гостинице. Две моих встречи с Саган проходили по адресу Шерш-Миди, 91, в квартире, которую она сняла после очередного проживания в гостиничных номерах. На первом этаже были гостиная, кабинет помощницы, кухня и сад, на втором писательница творила. Говорят, что именно по этому адресу, в этой же квартире подруга президента Французской республики устраивала с ним тайные встречи. Миттеран тосковал по обществу раскованной, гостеприимной и умной собеседницы. Превращаясь в хозяйку, мадам Саган угощала гостя, тонкого гурмана-аристократа, обычной домашней едой: без свидетелей готовила жаркое, утку с апельсинами и варила ароматный кофе. О политике не говорили. Вот что такое Франсуаза Саган: первое лицо страны искало встречи с этой удивительной женщиной, выкраивая из плотного рабочего графика часок для приятного рандеву.

– Скажите, романы, книги – это ваша жизнь или чужая? До встречи с вами мне казалось, что ваша.

– Это не моя жизнь, это не жизнь других, это плод воображения. Пока воображение работает, все будет в порядке. Как только оно перестанет генерировать, кончится все. Для меня кончится моя жизнь.

– А как случилось, что в одном из ваших сочинений вы вдруг стали переписываться с Сарой Бернар? Вы что, копались в архивах? Мне кажется, такое занятие не для вашей усидчивости.

– Да, вы правы, я лентяйка. Но моя леность и движет замыслами. Чем больше я пребываю в бездействии, тем сильнее я рвусь к столу, к бумаге. Что касается Бернар, то это фиктивная переписка, основанная, однако, на биографии великой актрисы. Когда пишешь исторический роман, тебя ограничивают какие-то факты, которые сужают пределы воображения. Ибо всегда найдутся люди, которые скажут: а вот здесь не так и вот тут не эдак.

– Поэтому лучше фантазия?

– Да.

– Ну и ловко же вы выкрутились, мадам Саган. А почему все-таки Сара Бернар?

– Бернар – одна из немногих женщин, которая легко прожила свою жизнь. Жизнь, не закончившуюся в бедности, в приюте для сирых. Сара Бернар не была наказана за то, что бурно, красиво прожила отпущенное Богом. Вы, кстати, знаете, что она была страстным игроком? И денег не считала.

– Знаю. Знаю и о том, что однажды Сара продула за вечер более ста тысяч франков, огромную по тем временам сумму… Хочу спросить вас: несмотря на какие-то страшные слухи о вас, вы все-таки счастливы в этой жизни?

– Да, вполне… Надо, впрочем, постучать по сухому дереву, чтобы не сглазить. Ну, конечно, я была и на щите, и со щитом, всякое бывало. Ведь можно иметь тираж книги в полмиллиона, но достаточно влюбиться в какого-нибудь кретина и страдать, страдать…

– Здесь, в Париже, я встречался с Анри Труайя. Вы знаете, наверное, что он русского происхождения, его фамилия Тарасов. Он, член Академии «бессмертных», говорил мне, что вам предлагали вступить в этот литературный ареопаг, но вы капризничаете. Почему? Или и в этом обнаруживается ваш нетерпимый характер?

– Да, предлагали, и да, я отказалась. Почему? Во-первых, все они старые, эти академики, во-вторых, все они правые. Это, знаете ли, склероз какой-то, мертвечина. Некрасиво, быть может, так говорить, но тем не менее… И, кроме того, там нет ни одного писателя, которым бы я восхищалась. Нет и не было. Многие выдающиеся писатели Франции не состояли в Академии. И мне туда не хочется! Я бы разочаровала многих друзей, поклонников, если бы вошла туда, ведь они считают меня свободным человеком. Конечно, член Академии «бессмертных» получает большие деньги, он пользуется многими привилегиями. Он защищен во всем, даже полиция не может к нему подойти… Но… все равно я не хочу…

Погорела на дружбе с Миттераном

…Саган доигралась. Гордость нации, самая известная из живых писательниц, символ Франции, королева дамского романа, Франсуаза Саган чуть было не оказалась за решеткой. Трудно судить со стороны, как говорится, Саган виднее, но статус «неприкосновенности» не раз выручил бы взбалмошную и рисковую «литературную Марианну»

(Марианна – символ Франции. – *Ф. М.)* от посягательств полиции, судей, налоговиков. В каких только скандалах не была замешана знаменитая писательница! Об одном из последних говорила вся Франция. Ее обвинили в финансовых махинациях, в уклонении от уплаты налогов и приговорили к полугодовому тюремному заключению (условно) и большому штрафу. Саган погорела на тесной дружбе с Франсуа Миттераном. Глава государства брал ее в зарубежные вояжи, представляя своим советником. Грандиозный скандал, в который влипла Франсуаза, связан с ее доступом к «комиссионной кормушке» нефтяного концерна «Эльф-Акитен». Один из его ключевых посредников, 80-летний миллионер Андре Гельфи, который поднаторел на нефтяных сделках с Россией и Узбекистаном, заявил, что выплатил Саган в качестве комиссионных 9 миллионов франков. Специально сблизившись с Саган, он стал бывать у нее дома и однажды попросил ее уговорить Миттерана походатайствовать за «Эльф-Акитен» перед Исламом Каримовым. Нефтяная компания была очень заинтересована в выходе на узбекский рынок. Саган сделала все как обещала. Сославшись на налоговые проблемы, писательница попросила Гельфи выдать ей аванс в размере 5 миллионов франков. «Я выписал ей чек на 3,5 миллиона, – рассказал журналистам миллионер-посредник, – а еще 1,5 миллиона передал по просьбе Саган ее другу Франселе. После чего она снова попросила меня дать ей деньги для завершения строительства нового дома в Довиле. И я ей вручил еще 4 миллиона». О полученных суммах Саган не сообщила налоговой полиции, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела. Мало того, имя великого мастера слова муссировалось уже с добавлением эпитета «узбекская шпионка» …Часть из полученных сумм Саган проиграла в казино, щедро раздавала деньги благотворительным фондам, помогала жертвам Чернобыля, друзьям, близким, поддерживала молодых литераторов. Да и богемный образ жизни стоит недешево.

– О том, что я алкоголичка, здесь пишут уже 35 лет. Но это неправда. Я пила и пью вино, как все во Франции. Целых десять

лет соблюдала, между прочим, сухой закон, ничего не пила. Журналистам это мешало, им было нечего обо мне писать, и тогда они придумали, что я наркоманка. Для Парижа это банальная история. Арестовали торговца кокаином, и я была одна из ста человек, которые купили у него какую-то дозу кокаина. Меня обвиняли в нарушении закона, и, вы знаете, оба раза (какая случайность), когда Франсуа Миттеран баллотировался на выборах. Для того чтобы помешать моему другу, крайне правый журнал «Minute» обвинил меня во всех смертных грехах.

– Я слышал, что вы подавали на журналистов в суд?

– Да, их приговорили к денежному штрафу в десять тысяч франков.

– А чем вас привлекал Миттеран? Почему вы подружились?

– Заслуга Миттерана-политика была в том, что впервые за полвека он сумел возвратить к власти левые силы. А Миттеран-человек – это сплошное очарование. Его отличало чувство юмора, он любил людей, был впечатлительным, вдохновенным человеком.

«Я прятала у себя людей, за которыми охотились»

– В ваших романах мало политики. Только любовь, страсти, азарт. Но вы дружили с крупнейшим политиком Франции. Это значит, что вас все-таки волнует политика и вы не равнодушны к людям, решающим судьбы французского народа?

– Заметили вы верно, политика для меня – нечто особенное. Я долго ждала, наверное, лет двадцать, а может и больше, прежде чем у меня появился политический взгляд на происходящее, до этого мне все было безразлично.

Я слишком предавалась забавам, чтобы заниматься столь серьезными вещами. Мое первое увлечение политикой связано с алжирской войной, когда я встала по левую сторону баррикад. Я прятала у себя людей, за которыми охотились. Подписалась под манифестом французской интеллигенции, солидаризуясь с Фронтом спасения Алжира. И тогда ОАСовцы[21] взорвали бомбу возле моего дома. А я назло всему продолжала прятать раненых и французов, работавших вместе с алжирцами.

– Ну, вы, Франсуаза, и вправду герой. Не каждый способен на такое. Между прочим (наверное, у нас мало кто об этом помнит), известный советский поэт Роберт Рождественский, ныне покойный, обратился к вам через «Литературную газету» со стихотворением «Париж, Франсуаза Саган».

– К сожалению, я не знаю об этом, оно до меня не дошло. А о чем стихотворение?

– Поэт, называя вас пророком, отмечая вашу сверхпопулярность среди молодежи, призывает переосмыслить позицию отстраненности от социальных проблем и повлиять на общественное мнение.

– Но я не верю, чтобы я смогла как-то повлиять на события, чтобы меня послушали.

– Скромничаете, ведь ваши книги проникают в души читателей, а их у вас миллионы. Значит, вы все или почти все можете.

– Могу только сказать, что настоящая литература вечна. Все же остальное временное, все проходит. В демократическом государстве отнюдь не обязательно заниматься политикой. Художника должно волновать искусство с эстетической точки зрения. Когда Достоевский писал «Бесов», то он писал о действительно важных общественно-политических проблемах. Но он написал и «Идиота», в котором политика не играет

доминирующей роли.

– Я слышал мнение людей о том, что ваши романы – это как бы академия любви, некая наука интимных отношений.

– Не уверена. Этим делам в школе не обучаются. И в академии тоже.

Ушла от мужа – читателя газет

– Герои ваших романов совершают какие-то поступки, волевые движения, меняя судьбу, биографию. Как и вы, наверное, в личной жизни?

– Да, свою жизнь я меняла несколько раз. Первый раз я вышла замуж в двадцать два года. И когда однажды вошла в свою квартиру и увидела мужа, читающего на диване газету, то сказала себе: «Что я наделала, неужели вот так я буду жить до конца своих дней с мужем, читающим газеты?» Упаковала чемоданы и вышла из дому. Навсегда. Муж лишь крикнул: «Ты куда?» Это был развод без сцены. Ради справедливости надо добавить, что мой поступок его не огорчил. А если бы я увидела его несчастным, может быть, не поступила бы так.

– Вы человек импульсивный, решительный, волевой?

– Люди считают меня сильным человеком, но я сама так не думаю. Тем не менее многим не мешает искать во мне помощь и опору. Меня это радует. Но в принципе я терпеть не могу драм. Когда намечается драма, я выхожу из игры.

– Простите, мадам, не могу не сказать, что я такой же. Стараюсь не допускать истерик и не вводить в истерику. Хотя, впрочем, что вам до этого…

– Любопытно, в каком месяце вы родились?

– Июнь, 22 число.

– Вот видите, а я 21 июня. Вы Близнец, переходящий в Рака. Я верю астрологам. Мой друг Жан Поль Сартр тоже родился 21 июня. И это был человек, который тоже не терпел всяких драм и все принимал легко и весело. Что бы ни случилось, лучше всегда быть веселым, оставаться на коне. Я такая, и чувствую, что вы тоже.

Интервью Саган дает редко: «Если я буду принимать всех журналистов, то кончу тем, что буду жить как на постаменте». Прощаясь с Франсуазой, я решился рассказать ей давнюю историю своей заочной любви к начинающей романистке. Было это, точно помню, в 60-м году. Я служил тогда в армии и однажды в гарнизонной библиотеке наткнулся на сообщение о молодой французской писательнице. В статье пересказывалось содержание повести, была помещена биографическая справка. Этого оказалось достаточно, чтобы мое воображение разыгралось и я заочно влюбился в далекую парижскую девушку.

Франсуаза расхохоталась своим мелким стремительным смехом и заключила:

– Весь наш разговор о литературе не стоит одной этой новеллы. Вот он – самый веский аргумент в мою пользу: «В меня был влюблен русский солдат».

На секунду Франсуаза запнулась и добавила: «Даже русский солдат».

Но я не обиделся.

1988–1990

Глава 20. Исса Панина: великая вдова пророка

Однажды, это было в конце 1988 года, в магазине русской книги в Париже я познакомился с Иссой Яковлевной Паниной, вдовой блистательного ученого, философа, писателя Дмитрия Панина. Он скончался за год до моей встречи с Иссой Яковлевной, и я очень сожалел, что не застал его, не пообщался лично с прообразом Сологдина в романе Солженицына «В круге первом». Поняв мой искренний интерес к творчеству Дмитрия Панина, Исса Яковлевна включила меня в число своих друзей и одарила знакомством с уникальным архивом мужа. Помню, с каким волнением в небольшой квартирке в Севре под Парижем я читал письма Александра Солженицына, адресованные своему другу. Это было даже не волнение, а настоящий трепет, ибо в те годы Солженицын, еще «вермонтский отшельник», был для советского человека недосягаемым, «виртуальным».

Перелистывая письма (я точно помню, их было около сотни), разглядывая уникальные фотографии, слушая рассказы Иссы Яковлевны, я открывал для себя трагическую судьбу двух великих изгоев XX века.

Приезжая в Париж, я знал, что, набрав знакомый номер, услышу голос Иссы Яковлевны, всегда бодрой, слегка ироничной и наигранно ворчливой, но, по сути, очень доброжелательной и, главное, заинтересованной в нашем дружеском общении. При необходимости она предлагала мне свой кров и, если я возвращался глубоко за полночь после встреч с парижскими друзьями или визитов в казино городка Анген, по-матерински беспокоилась, не спала, предлагала чай… Однажды, собираясь к отъезду в Москву, я не представлял, как мне тронуться с места и добраться до аэропорта Шарль де Голль из-за огромного количества купленных в Париже книг о русской эмиграции. Исса Яковлевна тотчас позвонила какой-то знакомой и упросила довезти меня до аэропорта с моим, по французским меркам, «сумасшедшим» багажом. Мало того, оказалось, что в таможенной службе Аэрофлота работает родственник той «знакомой», в связи с чем счастливо разрешилась другая проблема – «перегруз» – страшное слово для тогдашнего советского туриста. Соответствующей службе пояснили, что лишние килограммы – это книги, необходимые московскому журналисту для работы. Спасибо, дорогая Исса Яковлевна!

Но зато когда она сама стала приезжать в Москву и уже в

моей квартире раздавался ее твердый голос… начинался настоящий марафон: своей энергией, одержимостью, неукротимым напором она включала в деловую суету всех друзей и знакомых: встречи с редакторами издательств, творческие вечера, интервью (Исса Яковлевна была участницей одной из передач «Зеленая лампа»)… И все для осуществления главной своей миссии – возвращения наследия мужа на родину. И она эту миссию выполнила. Имя Дмитрия Панина и его книги вернулись в перестроечную Россию.

«Великой вдовой» назвал Иссу Яковлевну Панину журналист радиостанции «Эхо Москвы» Андрей Черкизов.

Дмитрия Панина принял папа римский

Исса Яковлевна Панина умерла в Париже в марте 2004 года в глубокой старости. В моем аудиоархиве остался ее голос – фрагменты наших разговоров.

– После свадьбы вам с Паниным пришлось уехать из СССР…

– Да. Наша свадьба состоялась 8 февраля 1972 года, перед самым выездом на Запад. А познакомились мы с Дмитрием Михайловичем еще в конце 60-х.

– Почему Дмитрий Михайлович принял это решение?

– Он все время думал об отъезде. Он считал, что только там, на свободе, он сможет завершить свои исследования, написать книги. В последние годы перед отъездом муж работал главным конструктором на одном из закрытых военных заводов. Служба отнимала много времени.

Панин оказался прав: на Западе он быстро завершил свой труд под названием «Мир-маятник», суть которого в том, что мир движется некими осцилляциями-«убийцами». Он считал, что из-за них погибло 38 цивилизаций, а потому стремился, чтобы люди доброй воли остановили это движение человечества к гибели.

– Но как в те времена, когда у власти стоял Юрий Андропов, ученому, связанному с секретной работой, позволили покинуть Союз?

– Единственным легальным способом выезда на постоянное место жительства за рубеж в те времена был выезд через Израиль. Но мы получили так называемый государственный вызов еще и от Голландии. Причем удивительная деталь: как только голландский посол вручил нам выездные документы, буквально на другой день в нашем почтовом ящике оказались личные приглашения друзей Дмитрия Михайловича из разных стран. Их, видимо, нам не передавали преднамеренно. А тут деваться уже было некуда…

– Как вас приняли на Западе?

– С огромным интересом и радушием. Мы приехали в Рим, и Папа Римский Павел VI дал аудиенцию Панину. Дмитрию Михайловичу предложили вид на жительство в любой стране. Он выбрал свою любимую Францию. Помню, когда мы приехали, многие журналисты рвались взять у Панина интервью, но он не хотел ничего говорить. Впервые он выступил только через год в Брюсселе.

– Как вы думаете, почему Папа Римский был так благосклонен к вашему мужу?

– Дмитрий Михайлович был из очень религиозной семьи. Он

с детства воспитывался в вере, от которой никогда не отходил, особенно в годы лагерей и тюрем. Мать Дмитрия Михайловича принадлежала к старинному дворянскому роду Опряниных. После революции она полностью отдалась религии и до своей смерти в 1926 году была приверженкой патриарха Тихона. Четыре сестры его отца монашествовали в монастыре города Краснослободска.

– Вера помогала ему в жизни?

– А как же… Однажды в лагере Дмитрий Михайлович был очень близок к смерти. Он умирал от обезвоживания в лагерном лазарете. Но решил бороться до конца. Бороться единственно доступным ему оружием – молитвой. Пытаясь удержать поминутно ускользающее сознание, он заставлял себя повторять многократно «Отче наш» – молитву молитв, вникая в каждое слово. Мысленно узник дал обет Богу: если Господь дарует ему жизнь, все силы он отдаст спасению миллионов людей. Все это продолжалось 40 дней и ночей. И Господь услышал его зов. Свершилось чудо – Панин пошел на поправку.

– Что настроило Дмитрия Михайловича против советской системы?

– Он считал, что она ломала, корежила людей, отнимая у них основу основ – мораль. Она лишала человека абсолютно всего, и в первую очередь частной собственности, которую муж считал незыблемой.

– По вашим рассказам, Панин был бескомпромиссным, решительным и целеустремленным. С такими качествами в лагере нелегко было выжить…

– Ну почему же? Панина понимали, ценили, любили. Он был неподкупен, добр, образован, милосерден.

– А как он отнесся к человеку, который его «продал» НКВД? За что вообще арестовали Панина?

– Это случилось в 40-м году по доносу «друга», работавшего с ним в Институте химического машиностроения. Дмитрий Михайлович был с ним излишне откровенен, в том числе и в разговорах о Сталине. Вот «товарищ» об этом и написал. Друзья предупреждали: «Митя, будь осторожным, не забывайся». Но было уже поздно. Следователь предъявил мужу обвинение фразами из доноса.

– Когда Панин вернулся в Москву после 16 лет лагерей и тюрем, он не пытался найти предателя?

– Нет, он не стал бы этого делать. Дмитрий не был мстительным человеком. Все, что он сделал, так это назвал фамилию негодяя в своей книге.

– Как вы думаете, что сдружило Панина и Солженицына?

– Они познакомились в «шарашке», в специальной тюрьме,

где работали арестованные специалисты, ученые. Она находилась недалеко от Останкина. Зэки работали над суперновой телефонией. Между Паниным и Солженицыным возникла дружба. Панин поведал ему о другом своем товарище – Льве Копелеве, талантливом ученом. Трое зэков сблизились, несмотря на яростные споры и дискуссии, доходившие чуть ли не до драк. Панин и Копелев были абсолютно противоположные по взглядам люди. Лев Зиновьевич пребывал в ярых марксистах. И лишь Александру Исаевичу удавалось держать их, как говорится, в примирительном состоянии.

– Как вы думаете, «В круге первом» – полностью документальное произведение?

– Нет, скорее это художественный роман. Поэтому автор мог со своим героем делать что угодно. В частности Солженицын утверждает, что Сологдин (Панин) потребовал за свое изобретение свободу. На самом же деле было не так. Дмитрий Михайлович свое открытие, переложенное на бумагу, сжег. Ему надоело пребывать в «благополучной шарашке» с пайком и теплой постелью. Он искал для себя новых «приключений» и знал, что за уничтожение своей важной работы его сошлют в каторжный лагерь. Морально Солженицын был с ним солидарен. Панина и вправду перевели в лагерь смерти в Экибастуз. В нем заключенные организовали забастовку, за участие в которой Дмитрия Михайловича отправили еще дальше – в Спасский лагерь. Кстати, у Солженицына в это время обнаружили рак, который, слава богу, не свел его в могилу.

– А уже на свободе они встречались?

– Встречались, но не регулярно. А дружить, конечно, продолжали. Перед отъездом на Запад Митя встретился с Солженицыным. Они о чем-то конфиденциально договорились. Муж пообещал хранить какие-то тайны. И все исполнил.

– Но он переписывался с Солженицыным?

– Конечно, от Александра Исаевича у меня сохранилось множество писем и записок. Удивительно, что самое последнее письмо своему другу Дмитрий Михайлович написал в больнице буквально за три часа до кончины. Он все торопился завершить свой труд о пространстве. Я помогала ему. Кроме этого, он подгонял меня закончить перевод на французский язык работы о квантовой механике. Предчувствуя, что дни его сочтены, муж хотел спокойно объяснить суть своего нового инженерного открытия. В последний день, когда я уходила от него из больницы, он попросил меня прийти к нему рано утром. Хотел что-то надиктовать. Но 18 ноября 1987 года в 2 часа ночи сердце его остановилось… Я сразу же известила об этом Солженицына.

– Вся ваша нынешняя жизнь отдана памяти мужа и друга. Мне кажется, вы совершаете подвиг, стараясь, чтобы родина узнала о его судьбе как можно больше.

– Вы знаете, с одной стороны, все, что я делаю, – печальная, скорбная миссия, с другой – это самое главное в моей жизни. Я готовлю труды мужа к изданию, помогаю обществу «Друзей Панина», образованному здесь, в Париже, готовлюсь к поездке в Москву, чтобы рассказать людям о великом русском ученом и мыслителе.

1988

Глава 21. Ольга Чегодаева-Капабланка-Кларк: русская княгиня, «солнечная девочка»

«Блеснет маяк моей любви последней…»

– Тиража этой книги фактически не существует. Она мне дорого обошлась, – говорит Ольга, – я выпустила ее для близких людей. Я не ищу ни знакомств, ни популярности, я уже немолодая, моя жизнь позади. Годы проходят неслышно, незаметно, возраст берет свое, подкрадывается, как тигр. Многие мне твердили: «Сделай книгу». Вот я и сделала.

Думается мне, что книга стихов Ольги Чегодаевой-Капабланки-Кларк – первая и, наверное, последняя на русском языке среди книг таких почтенных по возрасту авторов. Что это: шутка, эпатаж, порыв души, вдохновение, желание выразить чувства в эмоциональной форме? Стихи она писала всю жизнь, но поэтессой себя не считает. Поэзия в ее жизнь пришла как бы между прочим.

Познакомил меня с Ольгой Евгеньевной Эдуард Штейн, литературовед, автор знаменитой книги «Поэзия русского рассеяния».

– Ее биография тебя поразит, – загадочно сказал он и дал нью-йоркский адрес княгини.

– Константин Бальмонт называл меня «солнечной девочкой». Я познакомилась с ним в Тифлисе, куда он приезжал вместе с Сергеем Городецким, моим родственником. Я знаю, что в Москве живет дочь Городецкого, помню ее девочкой. Сергей Митрофанович по отношению ко мне вел себя покровительственно, он считал, что к таланту надо относиться строго, его надо воспитывать. Стихотворчеству меня учили именно эти поэты. Разве можно забыть, как однажды они на меня так накричали, что я обиделась. А все из-за строки: «Я помню: судьбу вдруг решил один взгляд», потому что в ней было три «у» подряд. Уроки Бальмонта и Городецкого прояснили мне главное: поэзия – это внутренняя музыка слова, это ритм.

Из России она уехала в 1920 году, на американском

миноносце. Уехала одна. Отца – он был в Белой армии – убили. В дни революционных боев погибли почти все ее родственники – честные, благородные люди.

– Если бы моему отцу, моему деду, моему дяде предложили миллион долларов, они даже не посмотрели бы на эти деньги, не позарились бы на них. Они честно служили царю и Отечеству. Таких людей сейчас нет.

Ее прадедушка – знаменитый граф Евдокимов, завоеватель Кавказа. Есть легенда, что царь подписал указ о присвоении ему звания генералиссимуса. Ее первый муж был прямым потомком Чингисхана. В нем текла древняя монгольская кровь; она – княгиня Чегодаева. По женской линии, через бабушку, ее родственница – одна из самых знаменитых женщин – Елена Блаватская[22]. Ольга помнит о ней семейные легенды.

В романе А. Котова «Белые и черные» есть такие строки: «… пышная прическа светлых волос, огромные голубые глаза, выразительные тонкие черты красивого лица. Черное панбархатное платье, закрытое спереди, обтягивало ее стройную фигуру. Сзади платье имело глубокий вырез, открывая ровную, красивую спину… Мадам Ольга Чегодаева… Ольга, русская княгиня».

– Котов описал меня очень лестно, а я человек скромный. Когда вокруг Капы вертелась пресса, я обыкновенно пряталась. Теперь, правда, об этом сожалею: столько воспоминаний пропало. Русские люди скромные, среди них мало людей с большим самомнением. А я ведь русская, не басурманка какая… Только одна фраза понравилась мне в романе: «Умная и добрая Ольга». Эта фраза польстила мне. То, что я красивая, я к этому привыкла, а вот умная и добрая – это сказано от сердца. За теперешней литературой слежу мало. Мне не по вкусу литература, где много убийств. У меня остался к литературе старомодный вкус. Я хочу, чтобы было написано красиво.

К сожалению, в США нет хорошей книги о Капе. И я мечтаю, чтобы она вышла в России. Не хотите взяться? Могу предоставить уникальный материал.

Последняя встреча с Ольгой Кларк была особенно долгой. Ольга Евгеньевна все вспоминала и вспоминала… Мне показалось, что ее жизнь и ее стихи – это сладковатые «брызги шампанского», которое, кстати, подносилось и подносилось к столу. Но мне это только казалось. Ее жизнь была не такой уж сладкой.

Уезжая из России, она забыла свои бриллианты в конфетной коробке. Когда она прибыла в Америку, в ее кармане было сорок

центов. Девушка оказалась в чужой стране без средств. Но не погибла. Красивая, восхитительная, первые свои деньги она заработала в качестве модели. Снималась в кино. На одном из приемов в Кубинском посольстве в Вашингтоне ее увидел Капабланка. Он был сражен ослепительной красотой русской княгини. Позже, во время торжественного ужина в узком кругу после церемонии бракосочетания, великий шахматист, поднимая бокал за свою суженую, под аплодисменты гостей сказал, что это самая блестящая партия в его карьере. После смерти любимого Капы – Хосе Рауля Капабланки – Ольга вышла замуж за адмирала Ж. Кларка, национального героя Америки.

В конце жизни Ольга Евгеньевна села за мемуары. Они о судьбах русской диаспоры в Америке, о шахматном гении Бобби Фишере, о голливудских звездах, в том числе и о Грете Гарбо, с которой она дружила.

Из мемуаров Ольги Чегодаевой

Уникальные мемуары русской княжны Ольги Чегодаевой, жены величайшего шахматного гения – кубинца Хосе Рауля Капабланки, – пролежали в моем архиве много лет. Для этой книги я выбрал фрагменты, касающиеся только русской темы.

Капабланка – человек или ладья?

Помню, еще ребенком, шахматные рубрики в русских газетах и свое удивление, почему столько шума вызывают маленькие фигурки, расставленные на квадратных досках. Газеты восхищались игрой блестящих русских гроссмейстеров, рядом с именами которых стояло странное слово: «Капабланка»! Мне казалось, что слово и было смыслом расставленных на досках фигурок, правилом игры, чем-то вроде ладьи или коня. Позже, когда я повзрослела, однажды мое воображение кольнули слова – «этот симпатичный Капабланка». Меня осенило: оказывается, у него есть лицо! Значит, он человек, а не шахматная фигура. В той статье хвалили не только внешность этого героя, но и его приятные манеры и добродушие. «Он дотрагивался до фигурок так, как если бы они были игрушками…» Я очень заинтересовалась этим Капабланкой, но ни в каком сне я не могла увидеть себя рядом с ним и, тем более, в роли его жены. А между тем я стала ею, встретившись с ним совершенно случайно. И мне так хорошо с живой мечтой моего детства.

И Сталин стоял за портьерой…

– Вспоминаю, что вскоре после нашего знакомства в Нью-Йорке Капа сказал мне: «Я совершенно исчез с шахматной арены… Я даже стал ненавидеть шахматы! Но сейчас моя жизнь стала другой, и я снова играю. Встретив тебя, я понял, что не все потеряно, что моя жизнь переменилась, и я буду снова играть. Ради тебя, моя вишенка. Только для тебя я стану величайшим гроссмейстером в мире. Я заработаю много денег. Мы поженимся, и я буду любить тебя, обеспечивать и заботиться о тебе».

И Капа сдержал свое слово. На следующем турнире в Москве он завоевал первый приз, хотя игра проходила в очень волнующей обстановке. Поговаривали, что сам Сталин тайно приходил в игровой дворец и тайно – в специальном укрытии за портьерой – наблюдал за игрой легендарного американского шахматиста.

Я предсказала ему победу

С Капой мы очень редко говорили о шахматах. Он вообще ни с кем не обсуждал предстоящие турниры. Но в день отъезда я рискнула сказать ему о своем прогнозе: «Я уверена, ты выиграешь этот турнир! Помнишь, как однажды в Кельне в соборе я зажгла свечу? И прочитала молитву, как делала это в России, когда была ребенком. Никогда прежде так неистово я не молилась. Думаю, что моя молитва была услышана».

Мы приехали в Лондон в конце лета. День был жаркий. Капа собирался в Ноттингем. Он должен был участвовать в очень важном турнире, и мы обсуждали, стоит ли мне ехать с ним. Решили, что он поедет один. А мне на ум пришла французская поговорка: «Расставание – маленькая смерть». Где-то в подсознании я уже поняла, что время неумолимо разъединяет нас. Когда Капа уехал, я почувствовала ужасное одиночество, мне даже Лондон показался скучным и неинтересным. Ночью, оставшись одна в своей комнате, я в мучительном беспокойстве ходила от стены к стене.

Видеть его для меня всегда было праздником

Когда начался турнир, газеты мигом стали интересом всего моего существования. В печати жизнь Капы выглядела странно: что-то новое для меня и далекое чувствовалось в газетных новостях. Сейчас его жизнь, а значит, и моя открыты судам и пересудам, принадлежат как бы всему миру.

Капа играл хорошо, но не так блестяще, как мы надеялись. Один из наших министров, входивших в группу поддержки, с укоризной бросил: «О! Почему же он не потренировался? Он должен был накачать себя перед таким важным состязанием!» «Он никогда не тренируется, – ответила я. – Все, что ему требуется, – это хорошо себя чувствовать».

Длинные, мрачные дни перерастали в недели. Я жила в «Гарден-Клаб» среди заумных, начитанных теток, проявляющих ко мне любопытство с характерной для британских леди вежливой манерностью. Некоторые из них интересовались, не киноактриса ли я. Думаю, это были всего лишь лесть и предлог к началу общения.

Капа писал почти каждый день. Вскоре пришло письмо, которое я ждала. Он писал, что соскучился, и мне надлежало немедленно ехать в Ноттингем.

Видеть его снова после разлуки, пусть и недолгой, всегда казалось праздником, чудом. Особенно поражали его светящиеся

глаза цвета морской волны. Он говорил очень мало, вкрадчиво и не любил выражать своих эмоций. Всякий раз, когда наши взгляды встречались, я благодарила судьбу, что она снова соединяет нас. Страстные взгляды лучше всяких слов говорили о том, что было только нашим. Да, ради нашей любви мы были готовы вынести любую боль, принести любые жертвы. Я готова была умереть за этого человека.

Капа поцеловал меня со словами: «Как ты великолепна, моя Кикирики!» Когда он был в хорошем настроении, он любил называть меня этим забавным именем, которое еще в моем раннем детстве няни-француженки использовали для рифмы, читая детские стишки.

Все шахматисты остановились в самом крупном отеле Ноттингема, славившемся своими гостеприимными традициями. Когда выдавалось свободное время, они обычно собирались все в вестибюле, обсуждали игру, играли в бридж или просто болтали. С большинством шахматистов я была еще не знакома и очень волновалась, находясь среди мастеров, чьи имена не сходили со страниц газет. Интересно было наблюдать за ними и думать о них как о противниках Капы на шахматном поле битвы. Много раз я слышала, как шахматисты говорили между собой, что Капа был величайшим гением современности, хотя он и не всегда брал первые призы. Однако гроссмейстеры знали, что среди них Капа был самым темпераментным, самым эмоциональным, а потому и самым уязвимым, ранимым. Насыщенность его жизни не раз отражалась на его шахматной карьере. Его здоровье подрывало повышенное давление. Оно стало подкашивать Капу еще молодым.

Более того, он был единственным шахматистом, который никогда не тренировался. Я видела, что большинство гроссмейстеров жили только шахматами, постоянно обсуждали игры, анализировали их, изучали. У многих были карманные наборы, которые расставлялись даже во время еды между тарелками. Но кто бы поверил, за исключением самых близких друзей, что у Капы не было даже миниатюрных шахмат.

Советский чемпион Михаил Ботвинник и его жена – привлекательная, скромная достойная пара – держались совершенно обособленно, по-видимому, накачанные НКВД.

Алехин обозвал меня тигрицей

Капу очень волновал Александр Алехин – русский шахматист, уехавший из России годом позже меня, то есть в 1921 году. Этот талантливый гроссмейстер в 1927 году отобрал у Капабланки

звание чемпиона мира. Реванша теперь ждали все поклонники Капы.

Когда Капа спрашивал меня, что я думаю об Алехине, я отвечала: «Он будет жалобно скулить там, где другой мужчина будет рычать и реветь». Капа смеялся: «Ты настоящая маленькая тигрица!»

Удивительно, но эти же слова сказал мне сам Алехин в начале того лета, когда мы столкнулись в небольшом курортном местечке около Карлсбада. Там проходил какой-то незначительный турнир, и Капа решил сделать небольшую остановку по пути в Прагу. Перед отъездом Капа представил мне мистера Штальберга, шведского чемпиона. Но не прошло и пары минут с начала нашего общения, как разговор довольно безапелляционно прервал худощавый блондин с кислой улыбкой на лице. Я узнала его по многочисленным фотографиям. Это был соперник Капы Александр Алехин. Я замерла! Штальберг тоже. Было совершенно очевидно, что он смутился, однако не отошел. Два противника встали между нами вплотную лицом к лицу.

– Я Алехин, – заявил блондин.

Штальберг, опомнившись, кое-как, запинаясь, представил нас.

– Вы должны извинить меня. Нам надо поговорить с мадам. Без каких-либо дальнейших объяснений Алехин повел меня в глубину сада. После нескольких нелестных замечаний о Капе Алехин подошел к главному:

– Я говорю с вами, потому что Капабланка обожает вас и никто больше не способен повлиять на него. Вы смогли бы убедить его признать меня, обратить на меня внимание, кивать в знак приветствия, наконец!

– Возможно, одна из причин, по которой Капабланка обожает меня – это то, что я не вмешиваюсь в его шахматные дела, – сказала я.

Лицо Алехина передернулось, зрачки бледно-серых глаз застыли.

– Вам лучше бы согласиться, – настаивал Алехин. – Капабланка ставит меня в неловкое положение перед всеми… В конце концов, ведь он же дипломат!

– У Капабланки должны быть серьезные основания для такого поведения.

Но тут Алехин прервал меня.

– Пожалуйста, ну пожалуйста… – его голос стал совершенно жалобным, почти скулящим. – Ведь мой проигрыш Эйве был совершенным недоразумением. Я пребывал тогда не в самой лучшей форме и позволил Эйве обыграть меня. Это меня очень терзает, ведь весь мир знает, что я гораздо талантливее его…

– О да! Тем более если вы сами так думаете. А в аргентинском турнире Капабланка оказался не на высоте и уступил свой чемпионский титул вам… Но в глазах всего мира он по-прежнему остается величайшим шахматистом.

– Давайте не будем спорить, пожалуйста. Конечно, каждому известно, что есть только два великих шахматиста: Алехин и Капабланка.

– Ошибаетесь – это Капабланка и Алехин. Он всегда был выше вас, и вы это знаете… Почему вы никогда не даете ему реванш…

– Да вы просто тигрица! – почти закричал Алехин.

– Принимаю это как комплимент! – парировала я. После этого мы больше не здоровались друг с другом. А Капа не раз потом заставлял меня повторить каждую фразу моей словесной дуэли с Алехиным. Да и наши друзья-шахматисты еще долго просили, чтобы я описала в печати эту историю. Впрочем, они постоянно просили меня рассказывать и о Капабланке как можно больше. Он давно уже стал легендой. И мне было приятно, что в этих легендах существую и я.

Мои гипнотические сеансы

– В актовом зале я сидела тише мыши, и только мои глаза выдавали, как пристально я наблюдаю за Капой. Знакомые удивлялись тому, что мне не было скучно вот так часами сидеть и наблюдать за игрой, в которой я совсем ничего не понимала. Но я не следила за игрой, я видела только Капу. Наблюдая за его мимикой, движением глаз, я уже знала, о чем он думает, и, должна похвастаться, мне казалось, что я читаю его мысли. Видя его уставшим, озабоченным, я представляла себя парящей над ним доброй феей. Однажды я рискнула спросить у Капы, ощущает ли он влияние моих гипнотических пассов. Он рассмеялся: «Я просто хочу, чтобы ты была рядом».

Капа выигрывал партию за партией.

– Вы приносите ему удачу, – заметила как-то жена одного шахматиста, – все говорят, что вы приходите сюда, чтобы быть талисманом Капабланки.

Она и не догадывалась, как приятны мне были ее слова.

«Он сделал меня!» – кричал Алехин

– Особенно я запомнила игру Капы с Алехиным: оба гроссмейстера довольно бодро двигали фигурки на доске. Хотя Алехин проигрывал, он демонстрировал блестящее

самообладание. Но удивительно другое – русский гроссмейстер словно наслаждался своим проигрышем Капабланке. Глядя на Капу с восхищением, он искренне улыбался, жал визави руку и шепотом восклицал (хотя я могла расслышать): «Здорово! Как здорово!»

И не стесняясь, с усмешкой, словно смеясь над собой, признавался: «Он сделал меня, он сделал меня!»

Надо сказать, что Капа тоже умел необычно проигрывать. Никогда не забуду, как он «отдал» игровое очко Ботвиннику на турнире в Голландии. В конце финальной игры оба шахматиста пожали друг другу руки. Капа улыбнулся настолько удовлетворенно, что я подумала, будто он выиграл, и была очень удивлена, когда узнала обратное. Капа тогда сказал: «Было очень приятно проиграть Ботвиннику, он запутал меня совершенно. Я уже было решил, что выиграл, но оказалось, что выиграл он… Как толково, интересно играл Ботвинник».

Позже какой-то журналист из Германии скажет мне: «Мы все любим и уважаем мистера Капабланку больше, чем кого-либо из других игроков. Он настоящий джентльмен! Никто не умеет так изящно, с такой деликатностью проигрывать или выигрывать».

Турнир подходил к концу. Капа уже считался победителем, и все прямо-таки дивились мощности проявленных им способностей. Последний день турнира прошел совершенно неожиданно.

Вечером, когда я села поиграть в бридж, Тартаковер сказал, улыбаясь: «Ольга, расслабьтесь. Капа уже может считать себя победителем. Завтра он сыграет с Боголюбовым, у которого наверняка выиграет».

Итак, имя Капы было первым в списке. Сразу за ним шел Ботвинник. У Капы были все шансы выиграть и стать первым, в то время как у Ботвинника возникли сложности. Я это очень четко понимала. Да, теперь действительно я могу отдохнуть. Мы играли в бридж, к нашему столу подошел Боголюбов.

Он бросил шутя: «Смогу ли я завтра выиграть?» – «Нет, не сможете! Даже и не надейтесь», – уверенно заявила я, улыбаясь в ответ.

На последний день турнира после финальной игры был запланирован огромный банкет в честь победителей.

Я не смогла пойти с Капой на финальную игру: меня вдруг осенило, что я целую вечность не была в салоне красоты, а ведь, без сомнения, Капа захочет увидеть меня на банкете хорошо причесанной и красивой. Из парикмахерской помчалась на турнир. В одно мгновение влетела на верхние этажи. На лестничной площадке собралась огромная толпа народа. Что-то в

поведении людей обеспокоило меня. Пока я протискивалась сквозь толпу, в глаза бросилось знакомое лицо. Это был молодой советский репортер, который сопровождал Ботвинника. Впервые за последнее время я заговорила по-русски: «Как Капабланка играет?» Он недоуменно воззрился на меня и выдавил: «Не знаю я. Но торопитесь! Бегите, чтобы узнать…» Он не договорил. В следующую секунду его лицо стало нестерпимо серьезным: «Что-то он сегодня не очень…» Я почувствовала нотки участия в его голосе (не был ли Капа любимцем русских все это время?). Я начала протискиваться к входу, ища глазами Капу. Русский репортер где-то под моим локтем проговорил: «Возможно, ничья… Он сможет сделать ничью даже в этой ситуации…»

Ради бога, что значит «даже в этой ситуации»? И какая ничья?

Я почувствовала, как земля уходит из-под ног.

Тут из зала, где проходила последняя игровая сессия, стали показываться шахматисты. Я увидела Капу. Его лицо потемнело. Нетрудно было догадаться, в чем дело. Как только Капа заметил меня, легкая улыбка радости смягчила его напряженное выражение лица.

– Ты тут, вишенка моя. Давай пойдем обедать.

Все напряжение последних дней, все волнения сплелись в один плотный ком, который в этот миг подкатил к горлу, и я разревелась.

– Ты же не собираешься проигрывать… Ты должен выиграть!

– Как я могу выиграть, – гневно проговорил Капа, – когда сейчас позиция… – и Капа, забыв, что я ничего не смыслю в шахматах, употребил несколько профессиональных терминов. – Видишь, что ты делаешь своими глупыми слезами… Мне надо идти.

Я тоже вскочила, схватила его за руку, сжала ее в отчаянии:

– Мой дорогой, ты выиграешь! Да! Ты сможешь! Секунду спустя после перерыва на втором ходе Боголюбов сделает ошибку, и ты выиграешь. Ты победишь!

– Разреши, моя вишенка, я пойду, – сказал Капа, немного смягчившись. – Обедай и будь хорошей девочкой.

Я села за стол. Почему я сказала о «втором ходе»? Невозможно объяснить. Как будто маленькое окошечко приоткрылось в моей голове и впустило какой-то яркий свет.

Изматывающий день продолжался. Я не знаю, сколько ходов сделал Капа и сколько Боголюбов после обеденного перерыва. Может быть, тридцать, может, сорок, медленных, хорошо продуманных ходов. Тяжелая схватка! Но вот наконец-то она подошла к концу! И… ничья! Капа улыбался.

«Он просто гений! Сыграть вничью при том раскладе,

который был на доске! Ведь игра была почти проиграна!» – восклицал Тартаковер.

Груз свалился с души. Капа победил! Но, по правде говоря, в этом турнире было два призера: вместе с ним к финишу пришел Ботвинник. И звание чемпиона они поделили между собой.

Неожиданно я почувствовала ужасную усталость. Пошла в свою комнату и упала на кровать без сил. Голос Капы в дверях вывел меня из глубокого сна, похожего на забытье.

«Вишенка моя! Мы богаты!»

– Что ты делаешь? – проговорил он. – Пора одеваться к банкету, мы же опоздаем! – Капа был сама пунктуальность, я – совсем наоборот.

Конечно же, мы опоздали на торжественную церемонию. Когда вошли, все уже были в сборе и расселись за своими столами. У входа Капа улыбнулся: «Ты превосходно выглядишь».

С деланным безразличием я подобрала шлейф своего длинного черного платья. Кто бы мог подумать, что эта «эксклюзивная» модель была куплена кем-то из моих друзей, работающих в Нью-Йорке, на оптовом рынке.

У нас были почетные места. Слева от меня сидели довольные собой спонсоры турнира.

Банкетный стол был великолепен. Все выглядели очень нарядно. На меня сразу обрушились улыбки, комплименты, поздравления… Начались поздравительные выступления.

После банкета Капа, подсев за мой стол, где я играла в бридж, произнес: «Вишенка моя, мы богаты! За победу я получил много денег!»

А я думала: «Бедный Капа, как он обожает делать благородные жесты, ведь, несмотря на годы безденежья, он дарил мне самые роскошные и неожиданные подарки».

…Первые дни после нашего возвращения в Лондон мы разрывались между званными обедами и экскурсиями.

Однажды солнечным утром, когда я уже стояла на пороге и была готова идти на какое-то очередное мероприятие, Капа неожиданно бросился назад, в комнату, с громким восклицанием. Что-то случилось?

– Ты была права! Ты была абсолютно права!

– В чем права?

– Ты была права, моя крошка, а я – полный дурак. Я совершенно упустил это… И как же я мог?

Он повторял все это, пока я почти не закричала:

– О чем ты, милый?

Мой порыв отрезвил его. Он тут же успокоился, робко улыбнулся и отчеканил:

– Откуда ты знала о втором ходе Боголюбова в той заключительной игре после перерыва? Да, он действительно сделал ошибку на втором ходе. Сегодня на прогулке я обдумывал последнюю игру. Боголюбов сделал серьезную ошибку. Я мог бы выиграть!

– И это был второй ход?

– Да, это был второй ход! Как это только могло прийти тебе в голову?

– Не знаю. Я только очень хотела, чтобы ты выиграл! Ведь я тебя очень люблю!

Комментарий чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова к мемуарам Ольги Чегодаевой

– Несмотря на то, что предлагаемый к публикации из вашего архива текст – это личные впечатления жены Капабланки и что, в общем-то, это не шахматный текст, – все равно это очень интересный материал. Ведь имя Капабланки, как мы говорим, вписано золотыми буквами в историю шахмат, в мировую культуру. Так же, как и имя его вечного соперника и тоже героя этих воспоминаний – русского шахматиста Александра Алехина. Описываемое в мемуарах время – 30-е годы прошлого века, это время соперничества двух, теперь уже всем ясно, величайших шахматистов всех времен и народов. Интересен и сам повод для воспоминаний – знаменитый Ноттингемский турнир.

– Для вас, Анатолий Евгеньевич, человека, который знает о шахматах если не все, то почти все, в этом тексте есть что-то новое?

– Да, есть. Я, например, не знал, что Сталин интересовался шахматами. Вообще почти ничего не известно об отношении Сталина к шахматам. Есть какая-то партия, которую якобы провели между собой Сталин и Ежов. Не помню уже, каким цветом играл Сталин, каким Ежов, но, конечно, победа досталась вождю народов. То, что шахматами увлекались Ленин, Горький, Богданов, – это известно, поэтому описываемый в мемуарах эпизод почти сенсационен.

– Ольга пишет, что в турнире активное участие принимали русские шахматисты. Выходит, русская шахматная школа показывала свои возможности уже в 30-е годы, а нынешнее лидерство – и ваше, и Каспарова, и других наших соотечественников – подтверждает это.

– Да, я согласен, русская школа намного продвинула вперед шахматную науку и практику. И дай-то бог, чтобы и сегодня все чаще и чаще рождались в России шахматные таланты. Правда, хочу заметить, что Ольга Кларк имеет в виду имена шахматистов, которые родились еще на территории бывшей Российской империи. Скажем, русскими она считает и Тартаковера, который жил в Варшаве, и Боголюбова.

– Интересны, мне кажется, абзацы, посвященные юному тогда Михаилу Ботвиннику, которому Капабланка предсказал блестящее будущее.

– Мне показалось, что Ботвинник в мемуарах проходит все же

стороной. Ведь в тот момент страсти разгорались вокруг других имен – Алехина, Капабланки и Макса Эйве, который на недолгое время стал тогда чемпионом мира. Но, несомненно, даже в этих коротких заметках молодой советский шахматист выглядит весьма перспективно.

– *Меня поразила такая деталь: Капабланка совершенно не готовился к турнирам. Как это понять?*

– Он действительно не так много работал, но его фантастические способности помогали ему без анализа выигрывать сложнейшие партии и при этом не чувствовать опасности.

Еще раз хочу подчеркнуть, что даже для меня, хорошо знающего историю шахмат и биографию Капабланки, мемуары его вдовы Ольги Капабланки-Кларк представляют несомненный интерес.

Я увидел своего кумира, мягко говоря, иными глазами.

1989

Ольга Чегодаева на полвека пережила шахматного короля. Она скончалась в 1994 году в Нью-Йорке в возрасте 95 лет.

Глава 22. Фантомное интервью с Гретой Гарбо

«Я люблю русскую водку…»

В один из приездов в Нью-Йорк я позвонил Ольге Чегодаевой. Вдова поминала своего адмирала Кларка, после смерти которого прошло немало лет. Купив огромную черную розу, я примчался в дом номер 58, что на углу Легсингтон и 58-й улицы. Удивился, что Ольга одна: то ли гости еще не пришли, то ли уже разошлись. За бутылкой шампанского хотел уж было расспросить поэтессу о ее родственнике, русском поэте Городецком… Но неожиданно Ольга заговорила о советском кино, о том, знают ли в Союзе западных актеров. Я назвал имена Монро, Тэйлор, Лоллобриджиды, Габена.

«А Грету Гарбо знают в России?» – вдруг спросила Ольга. «Конечно, знают», – самоуверенно ответил я. «А знаете ли вы, молодой человек, что эту знаменитейшую актрису Голливуда уже полвека никто не видел, что она прячется от людей?» Я не предполагал, какой сюрприз через минуту преподнесет мне моя знакомая.

– Вот бы взять у нее интервью! – мечтательно произнес я.

– Что вы, она не терпит журналистов и в свое время встречалась с ними только по настоянию продюсеров. Право, не знаю, как бы она поступила с вами, ведь вы особый случай. Вы из Союза, Горбачев стал и нашим кумиром. И потом, Грета Гарбо дружит с русскими. Да вот и я русская… – как-то интригующе произнесла Ольга Евгеньевна. И тут же добавила: – А о чем бы вы спросили Гарбо, если бы случай дал вам возможность увидеть божественную?

Я немного растерялся от такого поворота беседы, но только на секунду. Ибо в следующее мгновение под влиянием уже третьей бутылки шампанского (надо отметить, что поэтесса Кларк любила этот напиток) я брякнул: «А пьет ли она русскую водку? Кстати, я подарил бы ей бутылку „Столичной“, купленную в Елисеевском магазине на Тверской». И кивнул на сумку, где и впрямь лежал заветный сувенир.

Когда я это произнес, Ольга привстала с кушетки и, слегка пошатываясь, вышла из комнаты. «Я на минуту», – бросила она. Вернувшись, Ольга поставила на стол очередную бутылку шампанского и изрекла: «Я только что разговаривала с Гарбо. Да, да, не делайте больших глаз, мы давно дружим, и я, уважая вас

как частицу России, задала ей ваш вопрос».

Боже, что со мной произошло в ту минуту! Весь хмель вылетел у меня из головы. Но я все еще не понимал, розыгрыш это или правда. Как она могла задать вопрос и получить так быстро ответ, ведь в доме мы были одни. «Она пьяна», – не без оснований решил я.

– Так вот, я только что говорила с Гретой, сегодня она, как и вы, моя гостья, пришла почтить память моего адмирала. Она в соседней комнате. Я рассказала ей о вас и задала ваш вопрос. Вопрос ей понравился, и, хотя Гарбо принципиально не общается с журналистами, ради меня она переступила через табу и сказала несколько фраз:

«Я люблю русскую водку, к которой меня пристрастила моя русская подруга Валентина Шлее. Я даже пила ее в компании с Уинстоном Черчиллем. Это было уже после победы».

Ошеломленный, я был в ту минуту самым счастливым, самым удачливым журналистом на свете. На мои вопросы отвечает сама Грета Гарбо. И меня понесло: – А можно ли еще спросить кое о чем? – Ну что вы, Феликс, конечно же, нет. Гарбо не встречается с репортерами, а это уже интервью. Исключений она не делает. Ведь ваш вопрос я задала в качестве шутки. Кстати, доставайте-ка вашу «Столичную», мы откроем ее с Гретой как-нибудь в другой раз и снова вспомним о России. Дай-то ей Бог.

Я рванулся к сумке, извлек бутылку и поставил на стол. И, опомнившись от волнения, спросил, где же Гарбо и нельзя ли хотя бы ее сфотографировать.

– Она здесь, в соседней комнате, прямо за вашей спиной, – невозмутимо ответила Ольга. – Но она абсолютно никому не показывается.

– Скажите, что с ней? Почему она сторонится людей? Может быть, она больна и ее отчуждение – шизофрения?

– Я не врач, а ее подруга, и я не думаю, что это болезнь. Я знаю одно: Грета всегда была чистой и целомудренной. Никогда в жизни она не делала лишних движений, которые могли бы обратить на нее внимание других. Она с молодости, даже еще раньше, с детства, знала себе цену. Сойдя с экрана, покинув Голливуд, Гарбо сторонилась журналистов, считала, что ее роли говорят лучше любого интервью. Общалась только с теми, кого сама выбирала для общения.

Через полчаса я покинул гостеприимную обитель моей нью-йоркской подруги. А на другой день улетел в Москву.

1989

Вскоре я узнал о смерти Греты Гарбо. Она умерла 15 апреля

1990 года в Нью-Йорке в возрасте 84 лет.

Глава 23. Джуна Давиташвили: творец чуда

«Человек ждет только чуда».

Без ее имени непредставима эпоха. Точнее, последняя четверть XX века. При переходе от советского к российскому, от социализма к капитализму сдвинулись целые пласты общественного сознания. Сколько имен кануло в бездну, сколько звезд навеки потухло. И только самые яркие продолжают светить людям, и только самые сильные натуры продолжают волновать новые поколения. Среди этих немногих и легендарная, непотопляемая Джуна Давиташвили, волшебница, поэт, художник, музыкант, ученый, чьи заслуги признаны 129 академиями мира.

Она царица ассирийских общин всего мира, президент Международной ассоциации традиционной и альтернативной медицины, кавалер почетнейшего ордена «Дружбы народов». Она – при ООН, при ЮНЕСКО, при правительстве, при мэрии, при… Перечислить все невозможно. Одним словом, она – феномен «Д», и о ней столько написано, что, кажется, уже все знают всё. Но я уверен, не все и не всё.

О ночных посиделках

…О, эти ночные посиделки на Арбате, собиравшие знаменитых и именитых. Вокруг дымящегося чана с картошкой, чая с пирогами, пахлавой и вареньем. Разносолами, закусками, горячим супом с укропом и кинзой. Водкой и вином, но в меру. Уже приговоренный, но не знавший об этом, приходил Андрей Тарковский. Сохранился снимок: Джуна делает над головой своего друга волшебные пассы. Она твердила ему: «Не уезжай, я помогу тебе». Но…

Как всегда, улыбавшийся, рафинированный, пахнувший тонкими мужскими духами, уединялся с Сивиллой другой знаменитый Андрей – Вознесенский.

Андрей Кончаловский, тогда еще свой и свойский, советский, московский, «мосфильмовский».

Прибегал еще «ласковомайский», но уже тогда представлявшийся племянником Горбачева и уже тогда с какими-то немыслимыми ксивами Андрей Разин.

Это только Андреи, да всех и не перечтешь. А Евгении, Эльдары, Ираклии, Александры… Фамилии поставьте сами. Несложно.

Визитеры: Федерико Феллини, Настасья Кински, Ричард Гир, Марина Влади, Бисер Киров, Святослав Рерих, Артур Кларк, Габриэль Гарсия Маркес, Норман Мейлер.

А уж генералов, маршалов, кремлевско-политбюровских бонз, подъезжавших на шикарных черно-лакированных лимузинах, с трудом продиравшихся меж закоулистых арбатских дворов, не счесть.

Гости приходили и исчезали, закат сменялся восходом, летели правители и правительства, хоронили почивших в бозе генсеков, взрослел на глазах любимый и единственный сын и надежда – Вахо, но церемониал в доме оставался неизменным: все вертелось вокруг этой хрупкой стройной женщины, исполнялись ее прихоти, приказы и желания. Все любили ее. Многие, наверняка, искренне.

Среди искренних был и я. Я любил и люблю ее сегодня за то, что она стала частью моей журналистской судьбы, за то, что она – Джуна, со всеми ее этическими и эстетическими провалами, провидческими взлетами, гениальностью женщины-матери и женщины-человека, ее коммуникабельностью и феноменальностью от природы и от мудрого житейского опыта, ее мужским лидерством и женской слабостью, сплетнями и легендами вокруг ее имени, тошнотворными эпизодами

необузданного буйства, смирением и кротостью в минуты обычной человеческой усталости. За слезы, которые я видел на ее глазах…

Ее не берут годы, бессонные ночи, истощение плоти бесконтактным целительным массажем. Она умела опережать события, «бодалась» с будущим, взывала к своим чудесам, не соглашаясь ни на какие компромиссы.

Гордость этой женщины не знает предела. Ни унижения, ни преклонения, ни просьбы. Только отдача, только от себя.

– Твой дом всегда открыт для друзей. Одним из них был Игорь Тальков, до сих пор не заживающая рана российской духовной жизни. Его смерть – загадка. Вспомни о нем.

– Я считала его истинным другом, и наши симпатии были взаимными. Он нравился мне и как мужчина, и как певец, и как красивый, сильный человек. Очень талантливый в поэзии, он был словно русский рыцарь. В нем сидел дух воина, борца за справедливость. Жаль только, что о нем, так же как и о Высоцком, мы заговорили в полную силу после смерти.

Да, я любила его, как сестра. Но опекала, как мать. Естественно, я хорошо знала и маму его Олечку, и брата Володю, и жену Татьяну. Игорь помогал мне в музыке, в эстрадном имидже. Учил меня, как держаться на сцене, какие делать движения. Я делила с ним его душевные заботы. Нас связывали духовные узы. Мы вместе боролись за правду в искусстве, в жизни.

Знала я и женщин, любивших Игоря. Как жаль, что не смогли вовремя понять его, не смогли сберечь. Да, мы выросли на песнях Шульженко, Зыкиной, Ободзинского, Мигули, Пугачевой… Но только он был настоящим символом русскости, распахнутой, открытой, точно степь, русской души.

Мне кажется, что я всегда ощущала трагизм его натуры, его судьбы. За одним столом мы сидели, когда он писал последний свой стих «На троне восседает зверь». Ты ведь знаешь, что вытворяла советская власть с теми, кто шел хоть в чем-то против нее. А Игорь нутром чуял, что нужны перемены, и не боялся об этом петь для тысяч людей.

Когда он мне сказал, что едет в Ленинград, я уезжала в Финляндию и попросила его поехать в Ленинград позже, вместе со мной. Я будто бы что-то чувствовала. А потом все думала: если бы мы были вместе, я заслонила бы его от той смертельной пули или погибла бы вместе с ним.

– Помню, как летом 1988 года ты вернулась из Италии радостная, возбужденная: ведь ты общалась с Папой Римским. Как

это происходило?

– Как ни странно, но с Папой Римским я смогла встретиться не сразу после его приглашения. Дважды меня настигали папские курьеры, и, наконец, когда в Ватикане собрался всемирный конгресс религиозной элиты, наше свидание состоялось. Как бы предчувствуя его, я написала картину «Мария Магдалина» в подарок Папе. Еще в соборе Святого Петра Папа увидел меня и приветливо помахал рукой. Когда я подходила к площади, разразился страшный ливень. Я испугалась, что встреча сорвется, и взмолилась: «Боже, останови поток воды». И что бы ты думал, на мгновение ливень прекратился, и, не испортив полотна, я подошла к условленному месту.

Беседа была недолгой, тем не менее, Кароль Войтыла поинтересовался моей родословной и очень активно реагировал, когда я сказала, что я ассирийка и что в моих жилах течет и кубанская кровь. Несколько раз он спрашивал о судьбе древнейшего народа на земле, о том, сколько ассирийцев в Советском Союзе и как им живется.

Папа долго рассматривал мои руки. По-видимому, ему рассказали, что именно руками я исцеляю людские недуги. Спросил о моем образовании и, когда узнал, что я медик, удовлетворенно кивнул.

В знак нашей встречи и благословения я получила от Папы Римского несколько священных книг, церковную атрибутику и, что, быть может, самое памятное – шесть фотографий, запечатлевших нашу встречу. Снимки были сделаны папским фотографом. Кроме того, Папа вручил мне специальную буллу.

Мое общение с Папой продолжалось и позже, но уже через ватиканских посланников.

– Трепетала перед Папой Римским?

– Нет, не трепетала. Потому что до этой встречи несколько лет я общалась с Патриархом Московским и всея Руси Пименом, который мне по-отечески помогал, поддерживал, наставлял. Я виделась с ним и в его резиденции в Чистом переулке, бывала в кафедральном Елоховском соборе. Особенно памятны мне встречи в его монашеской келье в минуты откровенных бесед.

– Любопытно, как патриарх относился к тому, что ты занимаешься нетрадиционной медициной?

– Конечно, мы говорили на эту тему. Он сказал, что Иисус Христос тоже лечил руками, и священник при обряде крещения, накладывая на головы детей ладонь, как бы снимает болезни и словом, молитвой просит у Господа здоровья своей пастве.

Пимен объяснил мне сущность священных обрядов, говорил о традиции, канонах, церковных таинствах. От него я услышала:

святой Георгий, покровитель Москвы, был ассирийцем. Кстати, патриарх Алексий II благословил мою академию «Джуна».

– Владимир Солоухин, знаменитый наш писатель (пусть земля ему будет пухом), друживший с Патриархом, вспоминал о соленых грибках в трапезной. А тебя чем угощал хозяин особняка в Чистом переулке?

– Он всегда спрашивал, голодна ли я. И мне приносили какую-нибудь скромную пищу: то суп-лапшу, то картошечку, то блины.

Однажды принесли бутерброды с красной икрой, а я не ем красную икру. Потому что, когда ее ешь, появляется ощущение, будто лакомишься живым существом. Ни разу в жизни я не дотрагивалась до красной икры. Что делать? Патриарха обижать нельзя: что он подумает, если гость откажется от его угощения дефицитным в те времена деликатесом. И я начала откусывать от бутерброда и медленно жевать. С великим трудом сдерживала себя, не кривилась, и последний кусочек доедала едва ли не со слезами на глазах и с комом в горле. Но, слава богу, Патриарх, кажется, ничего не заметил.

– Но ведь ты встречалась и с Президентом России, а в Кремле, как известно, кормят не гречневой кашей и пельменями?

– Да, я присутствовала на двух инаугурациях Президента России и на приемах бывала, но обходилось без зернистой икры.

Кстати, Святейший содействовал в одном очень важном для меня событии, когда решалась судьба первой серьезной публикации обо мне в журнале «Огонек».

О звонке из «Поднебесья»

…Давно-давно, эдак году в восьмидесятом, к нам в редакцию «Огонька» привели уже тогда легендарную, фантастической привлекательности черноглазую амазонку. «Джуна, Джуна, загадочная женщина» – ползло по редакционным кабинетам и этажам. Зал заседаний не мог вместить всех, кто хотел увидеть провидицу. Чего только о ней не говорили в то время: видит насквозь, засвечивает фотопленку, вылечивает от болезней, спасла Аркадия Райкина (принесли на носилках, ушел сам), помогла Ираклию Андроникову, предсказывает, экспериментирует… И самое, пожалуй, тайное, шепотом: «Пользует Брежнева, Ильич-то того, сдает». До сих пор не ясно, благодаря ли Джуне тянул до последнего немощный кремлевский старец? Сама она уходит от ответов на эти вопросы, но я знаю, что в то позднебрежневское время случилась любопытная история.

Журналист Сергей Власов написал о Давиташвили большую статью. О нелегкой судьбе, о мытарствах, о том, как она помогает больным и сирым, о неприятии учеными ее методов воздействия на организм. Это была первая публикация о появившейся в Москве чудотворице из Тбилиси.

«Огонек» выходит по субботам. Крохотная лимитированная часть двухмиллионного тиража на особой финской бумаге печаталась первой и немедленно доставлялась в секретариат ЦК КПСС, чьим органом «Огонек» и был.

В утренние часы пятницы, когда начали набирать обороты ротационные машины, в кабинете Анатолия Софронова раздался телефонный звонок. Трубку подняла секретарша Таня.

– Софронова, – потребовал суровый голос.

– Он будет позднее, – прочирикала секретарша.

– Позовите дежурного редактора.

Через три секунды заместитель главного Владимир Николаев был у аппарата.

– Что же это… вашу мать, вы себе позволяете?! Немедленно снимите материал.

Николаев узнал голос главного идеолога партии Суслова и похолодел. Что делать? Остановить тираж? Такого не бывало! Где же Софронов? И тогда ведущему номера пришла в голову самая банальная и самая спасительная мысль: надо искать не главного и не того, кто был выше звонившего, надо немедленно найти Джуну. И Джуну нашли. Сообщили ей о звонке из Кремля. «Ждите», – бросила она. В томительном ожидании прошло десять-

пятнадцать минут. Замглавного «примерз» к телефону-вертушке. Зазвонит ли?

И всесильный аппарат с гербом над диском зазвонил:

– Можете печатать.

И все. Одышечный тяжелый голос так же внезапно оборвался. Дежурный узнал Самого-самого.

Такова легенда. «Огонек» же, опоздав с ротацией на 8 часов, вышел в свет. О Джуне Давиташвили узнали страна и мир. А при чем здесь патриарх Московский и всея Руси Пимен? Он стал звеном в телефонной цепочке поиска в воскресный день Генерального секретаря.

– Джуна, но все-таки в общественном сознании ты – экстрасенс, ясновидящая, но не ученый…

– Пресса, формирующая общественное мнение, зачастую падка на поверхностные сенсации. Чудо, мистика – это интересно. А наука скучна. Конечно, я в первую очередь ученый, исследователь, практикующий врач. А с точки зрения биоэнергетики… как тебе сказать? Все люди умеют в той или иной степени, скажем, петь, но таких, как Лемешев, Шаляпин, единицы. Так и тут.

– Меня нередко спрашивают: правда, что Джуна *излечивает? Есть люди, которые сомневаются в твоих способностях.*

– Ты знаешь, чего я всегда ждала от журналистов? Понимания и участия. Именно участия. Я надеялась, что кто-то из них придет ко мне, проследит от начала до конца хотя бы один курс лечения пациента. И такие журналисты нашлись, Лев Колодный, например. А публичные выступления мало что давали. И я поняла: все ожидали от меня чуда. Немедленного. Думаю, их удовлетворило бы, если бы из моих пальцев посыпались искры или под моим взглядом сдвинулись кирпичи. Но моя работа – кропотливый, тяжелый, каждодневный труд. Подчас малозаметный для глаз.

– К сожалению, так устроен человек. Все хотят немедленной сыворотки от рака, гарантированных пилюль от зачатия, вакцины от СПИДа. Но ведь ты и впрямь творишь чудеса. Один наш известнейший художник, не склонный к розыгрышам, рассказывал мне, как однажды разозлился на какого-то папарацци, а ты одним только направленным движением руки засветила пленку в «Никоне»! Говорят, репортер кричал на всю фотолабораторию: «Этого не может быть!»

Недавно промелькнуло сообщение, что ты изобрела прибор, сдерживающий рост раковой опухоли. И когда, наконец, в поликлиниках страны появится твой знаменитый аппарат

«Джуна»?

– Последний патент, полученный мною, зафиксировал изобретение онкологической иглы. Положительный эффект достигается за счет совокупности биологических излучений. Что касается прибора «Джуна», за патент которого когда-то американцы предлагали мне миллионы долларов, то пока функционируют и помогают людям около десяти экземпляров. Еще пятьдесят требуют окончательной апробации. Замечу, что корпус аппарата производила знаменитая немецкая фирма «Сименс», а изготовление «внутренней начинки» спонсировал хороший человек Владимир Иванович Бочаров. А ты хочешь, чтобы биокорректор «Джуна» стоял в каждой поликлинике! У нас в стране, к сожалению, долго запрягают. Дорогое время проходит в ожидании.

1987–2010

Я и сегодня часто бываю в квартире Джуны на Арбате, в академии ее имени. И поныне сюда не зарастает народная тропа. К Джуне – человеку исцеляющему – приезжают больные со всей страны. Ведь она и впрямь постигла тайны исцеления многих недугов. Позади гонения, непризнание и надругательства тех, кто держал ее в веригах и одновременно молил о помощи. В самые трудные моменты Джуна повторяла завет отца: «Терпи». И терпела, не держа зла. Сколько же жизни в Джуне? Столько, сколько жизней спасли ее руки, мозг и воля.

Мне кажется, что наиболее точно о Джуне сказала Белла Ахмадулина: «Джуна есть привет нам от Бога, и мы не вполне можем это понять, но тем не менее мы можем вполне этому довериться».

Глава 24. Телеинтервью в Париже «со старой дамой» Ольгой Голицыной

«Ненавижу тех, кто погубил Россию».

В мае 1990 года мы со съемочной группой были командированы Российской телерадиокомпанией (РТР) во Францию для подготовки серии телевизионных передач «Парижские диалоги». Одну из передач решили посвятить старейшей русской эмигрантке, живущей в Париже, княгине Ольге Дмитриевне Голицыной.

Она родилась в 1893 году в семейной усадьбе в Подольске. Жила в Санкт-Петербурге. Выехав из России после революции, побывала во многих странах мира и осела во Франции. Скончалась в Париже в июне 1994 в возрасте 101 года. Великая династия Голицыных началась более 500 лет назад. Потомки Великого князя Литовского Гедимина, Голицыны стали в России самым известным дворянским родом.

…Ольга Голицына приняла нашу группу в своей просторной квартире в центре Парижа. Нас встретила довольно энергичная, экспансивная стройная дама, элегантно одетая – в юбке чуть ниже колена – по парижской моде, что нас, советских журналистов, поразило. Ведь ей было уже 97 лет. Шокировало и то, что княгиня попросила называть ее просто Ольгой. А еще странной показалась ее русская речь: с одной стороны, идеально правильная, а с другой – все-таки получужая и местами не совсем понятная. Мне как ведущему телепередачи пришлись по душе ее раскованность, искренность, активно-наступательная позиция. Голицына сидела в старинном кресле, положив ногу на ногу, время от времени пригубляла из бокала густое красное вино и говорила, говорила… А пленка все крутилась и крутилась… История представала перед нами…

– …Мерзавец Ленин на фальшивые деньги, привезенные из Германии, организовал в России революцию. На это его подбили немцы, понимая, что другим способом они Россию не уничтожат, не победят… Ленин продал свою Родину, такую богатую, знатную, чудную Родину. Этот негодяй продал ее. При этом не

забудьте сказать, что я была свидетелем того, что творилось тогда в Петрограде. Благодаря этим фальшивым деньгам были открыты все водочные лавки, и солдаты напивались «до чертиков». Никогда не забуду: на Дворцовой площади лежали сотни мертвых замерзших солдат с бутылками в руках. Повторяю: я видела все это своими глазами…

– Вы точно помните: солдаты были мертвы, и их было так много?

– Да, они не шевелились, а повсюду валялись бутылки.

– Ужасно!

– Эти слова я говорю уже семьдесят лет и никогда не забуду те дни, все, что видела.

– Давайте вернемся из далекого и жестокого прошлого в сегодняшний день. Вы живете в Париже, на улице Виктора Гюго, в этом замечательном доме, в роскошной квартире. Как живется вам сегодня?

– Хочу уточнить. В этом доме я поселилась еще до войны. Но в 40-м пришли немцы и всех жильцов выгнали на улицу, а вещи выбросили. Восемь дней мои вещи лежали на улице, но до них никто не дотронулся, люди боялись подходить к ним из-за немцев. Я сняла другую квартиру. А позже сюда вернулся мой сын, который рано и глупо женился, завел ребенка. Поэтому я тоже вернулась сюда, в этот дом, чтобы жить по соседству. Но сын развелся, женился еще раз и уехал. А я осталась в этом доме.

– Сколько же у вас внуков и правнуков?

– Много. Четырнадцать или пятнадцать… И есть уже праправнуки. В прошлом году нас, Голицыных, собралось в этой квартире тридцать девять человек.

– Надеюсь, сделали общий снимок? Я вижу у вас в квартире много фотографий.

– Да, много. Вот на этой фотографии я и моя дочь. Париж, 47-й год. А здесь я совсем маленькая с двумя замечательными розами в волосах.

– Какой на вас странный головной убор…

– Это раньше такие украшения на голову надевали. А на этой фотографии я в берете… А здесь мой знакомый итальянский художник, он хотел меня рисовать… А этот красивый мальчик – один из моих правнуков.

– Это лицо мне знакомо… Не портрет ли это итальянского наследника короля?

– Да, это Умберто… А здесь мой муж Борис Александрович Голицын. Царство ему Небесное… Он эмигрировал во Францию после прихода к власти большевиков. Умер в Каннах в 1947 году. Было ему 67 лет. Похоронили его на семейном участке кладбища

Пасси, здесь, в центре. Рядом могилы Дебюсси, Эдуарда Манэ и членов семьи Романовых.

– Я вижу, что в вашей большой семье сохраняется память о предках, русская культура, традиции…

– Я бы хотела, чтобы мои внуки и правнуки говорили по-русски. К сожалению, с правнуками это уже сложно.

– Не могу не отметить, что вы замечательно говорите на родном языке.

– Вы слишком добры. Но я чувствую, что многие слова забываю. Я понимаю, что надо больше общаться с русскими, чтобы не забыть язык. Ведь я так давно уехала из России. Уезжала через Сибирь, через Японию, объехала весь мир и только в 20-м году приехала в Париж. С тех пор здесь и живу.

– Я слышал, вы недавно посещали Россию, побывали в Петербурге и Москве?

– Да, я была там два года назад. И снова еду с моей внучкой Катрин, которая говорит на четырех языках: немецком, английском, польском и, конечно, русском.

– Какова цель вашего нового визита на родину?

– Я хочу помочь Катрин понять Россию. Ведь она так мечтала поехать туда.

– Мне рассказывали, что вы добрый, щедрый человек, часто участвуете в благотворительных акциях.

– Да, по возможности стараюсь помочь нуждающимся.

– В России сейчас сложное время, переломное. Спасибо, что помогаете своей родине… Я знаю, что вы написали книгу…

– Да-да, но, к сожалению, у меня ни одной нет. А кто вам сказал о ней?

– У меня для вас сюрприз. Я нашел вашу книгу и хочу вам ее преподнести. Но почему она продается в церкви?

– Русская церковь здесь очень нуждается. Чтобы помочь ей, я написала этот роман и его тираж отдала в храм на продажу. В романе показана история одной семьи.

– Это ваша единственная книга?

– Да, мне всегда хотелось о чем-то написать, и даже американцы напечатали обо мне статью как о романистке.

– Давайте вернемся к России. Во время революции семнадцатого года вы были взрослым человеком, а, значит, многое помните…

– Да, конечно, как я уже сказала, в моей памяти остались замерзшие трупы солдат на Дворцовой площади. Я шла с вокзала и не успела перейти на ту сторону Невы, мост уже развели. Я была в отчаянии. Мне было страшно… Я стучалась, звонила в каждый подъезд, в дома знакомых, но никто не выходил. На

Невском я просидела около двери какого-то дома, вжавшись в стену… Я видела, как стреляли казаки. Они бежали к Дворцу, чтобы спастись… А в них стреляли с крыш, они падали с лошадей, и лошади падали… Невский проспект был покрыт телами. Кровь лилась. Наконец я попала в дом знакомого фотографа. А в это время мой муж искал меня повсюду. Я никогда это не забуду, мне было так противно видеть пьяных солдат, которых я раньше провожала на фронт воевать с немцами, и всегда считала, что они такие чудные, милые… А теперь эти ужасные мужики громили город…

– В целом ваша жизнь сложилась? Она была счастливой, удачной? Или не совсем?

– Вы думаете, можно быть счастливым, покинув Родину? Я живу воспоминаниями… Никогда не забуду того дня, когда я видела последний раз Государя. Это было незадолго до революции. Моего двоюродного брата ранили на войне, и он приехал на лечение в Петербург. Мы пошли с ним в театр. Офицеры имели преимущественное право занимать ложу. В Мариинском театре играли «Бориса Годунова». Поскольку ждали Царя, спектакль задерживался. Я смотрела вокруг и видела рядом с роскошно одетыми дамами много военных, видимо, так же, как и мой брат, приехавших с фронта. Когда заиграли гимн, зал встал. В эту же секунду я увидела вошедшего в ложу Царя. Представление длилось около двух часов. Пение Шаляпина мне запомнилось на всю жизнь. И не только пение. Весь зал ахнул, когда Шаляпин вдруг встал на колени перед ложей, где сидел Государь. Тогда в газетах писали, что в Петербург приехал французский генерал Костиньо. Этот генерал тоже был в опере, Государь позвал его в ложу. Мне это почему-то запомнилось.

– Вы вспомнили о Шаляпине, он тоже, как и вы, жил здесь в эмиграции. Вы не встречались?

– К сожалению, нет. Когда он пел в Париже, я не могла пойти на его концерты. А в основном он пел в Италии.

– В эмиграции оказались многие… Как вы относитесь к Керенскому?

– Я не хочу слышать о нем! Я ненавижу всех, кто погубил Россию. Ненавижу! Россия была самой великой, самой богатой страной. Абсолютное большинство русских обожали Царя, знаю, что крестьяне даже после революции говорили, как же они будут жить без батюшки-царя. Эти мерзавцы большевики уничтожили крестьян, и Россия стала голодать. Вот и вы голодаете теперь в России…

– Вы следите за событиями в России? Читаете газеты? Что вас сейчас волнует больше всего из того, что у нас происходит?

– Меня волнует все, что происходит в России. Я очень надеюсь, что русским людям предоставят возможность жить лучше. Надо держаться. Я надеюсь, что Россия воспрянет. Да и не только я, многие здесь, во Франции. А насчет газет – мне трудно читать из-за больных глаз.

– Вы выходите в свет?

– Да, стараюсь бывать. Недавно в Биаррице – это на юге Франции – организовали вечер мемуаров, и я долго говорила о русской революции, о тех пьяных солдатах. Билеты сделали платными, народу было много, и все пошло в пользу русской церкви.

– А воспоминания о прожитом не пишете?

– Вы знаете, к сожалению, я многое забыла.

– Конечно, что-то забывается, но ваша жизнь была так насыщенна, что о многом можно рассказать потомкам.

– Вспоминается первое замужество. Муж купил дом на Невском проспекте. Уезжая, мы закрыли его на ключ, там остались дорогие мне вещи, но я их больше не видела. Ведь был такой разор… А муж вскоре погиб. Он въехал на машине в большое дерево.

– Голицыных в России немало. Вы поддерживаете отношения с российскими родственниками?

– Да, князь Андрей Голицын приезжал ко мне из Москвы. Очень милый, хороший человек.

– А с Великим князем Владимиром Кирилловичем Романовым вы общаетесь?

– Да, я иногда у них бываю.

– Сейчас у некоторой части российского общества довольно популярна идея монархизма. Как вы к этому относитесь?

– Я мало об этом думаю.

– А кто, по-вашему, был самым хорошим государем в России?

– Чудесным государем был Николай П. Бедняга погиб молодым. Я его очень любила. Нередко видела его в Царском Селе вместе с моим родственником, который там жил. У Николая было доброе лицо. Мне так его жаль. Ведь его погубили немцы, которые поняли, что победить Россию нельзя, и организовывали против нее всяческие провокации и, в конце концов, послали в Петербург Ленина делать революцию.

– Как вы восприняли страшный день 22 июня 1941 года, когда Гитлер напал на Россию?

– Я уже говорила: ненавижу немцев.

– А 9 мая 1945 года каковы были ваши чувства?

– Отвечу коротко: Россия не могла не победить.

– Замечательные слова. Вот и сейчас нужно, чтобы Россия

вышла из всех передряг.

– Да, нужно, чтобы вы, молодые, восстановили Россию такой, какой она была. Знаете, меня приглашают англичане и американцы на разного рода встречи. Но мне так противно ехать туда, ведь, подумайте, сколько казаков они выдали советским чекистам в 45-м году. И все они были расстреляны. Тысячи и тысячи… Среди них были генералы Краснов и Шкуро. Я изучаю эту страшную историю, чтобы написать книгу…

– В России эта тема до перестройки была запретной. О погибших казаках не писали, об их трагедии не издавались книги. Сейчас эта тема вызовет огромный интерес. Так что ваша книга и в России будет очень актуальной.

Кстати, здесь, в Париже, у меня родилась идея – сделать телевизионный фильм о русских стариках во Франции…

– Превосходная идея. Время летит, но тех русских офицеров, казаков, дворян, доживающих свой век в этой стране, еще достаточно. В Сент-Женевьев де Буа есть дом для пожилых русских. У каждого своя трагическая история жизни. Я, чем могу, помогаю этому дому. Как же несчастны были люди, приехавшие сюда без копейки! Многие офицеры с незажившими ранами были вынуждены мыть полы на вокзалах, работать извозчиками…

– Сохранился ли в Петербурге дом, где вы жили?

– Я была в Петербурге несколько раз. В первый мой приезд дом еще существовал. А в следующий раз я не смогла его найти.

– На какой улице он стоял?

– На Каменноостровском проспекте, последний дом с правой стороны, невдалеке протекала маленькая речка.

– В советское время этот проспект назвали Кировским в честь партийного деятеля Кирова. Но сейчас у нас возвращают старые названия улицам и городам.

– Да? Неужели? Ну и что же, теперь не будут виновных отправлять в тюрьмы?

– Ну, нет, уголовных преступников, конечно, судят, а за политические взгляды не преследуют. Сейчас можно хвалить или ругать Горбачева, Ельцина, призывать к монархии, даже восхвалять Гитлера…

– Это уже слишком…

– Как вы относитесь к Михаилу Горбачеву?

– Не знаю, как ответить. Но здесь во Франции он очень популярен. Не знаю, зачем только он отдал немцам вторую половину Германии? Лучше спросил бы у немцев, зачем они заслали Ленина в Россию с революцией.

– Спрашивать уже не с кого. Прошлое не вернуть. Сейчас нас волнует другое – как выжить. Если вы сейчас приедете в Россию,

то будете удивлены пустыми полками в магазинах. За один доллар платят нынче 140 рублей, и любой ваш западный миллиардер может купить Россию на корню. Нужно сделать так, чтобы русский рубль стал стабильным.

– А почему же у вас не получается?

– *Потому что вскрылось слишком много проблем.*

– Надо подумать, как бы вам помочь…

– *Вы, наверное, не знаете, что Запад прислал нам сто вагонов продовольствия, но для двухсот миллионов это как слону дробина. А еще, как и при Петре I, воруют…*

– Я слышала, что в Советском Союзе разучились работать, трудиться. Потому что вы уничтожили крестьян…

– *Я задумал книгу о женщинах преклонного возраста. Всем моим героиням 80, 90 и даже 100 лет… И все они знаменитые. Книгу я решил назвать «Мои Великие старухи». Скажите, такое название не режет ваш слух?*

– Ваш вопрос неожидан. И мне трудно сразу ответить. Я понимаю, что такое «старуха» по-русски хотя бы по Пушкину. По-французски это звучало бы тоньше – «старая дама». А если уж решите включить меня в вашу будущую, как мне кажется, очень интересную книгу, главу обо мне назовите – «Разговор в Париже со старой дамой»…

1990

Глава 25. Татьяна Аещенко-Сухомдина: вспоминает, рассказывает, поет… и открывает мне Париж

«Идет ей жизнь…»

…В течение нескольких лет я часто бывал в ее доме. Приходил за песнями, которые она исполняла под гитару, за рассказами о знаменитых людях, с которыми ей доводилось общаться и дружить, за гастрономическими угощениями, которые она так же вдохновенно творила, как и все остальное в жизни, за книгами из ее библиотеки, которые Татьяна Ивановна советовала непременно прочитать.

Ей очень хотелось (и удавалось) как можно дольше чувствовать себя женщиной. В 80! В 90! «Старость – прекрасное время жизни, – говорила она, – не бушуют уже страсти-мордасти, а если иногда и разгораются, то их легче унять». Во всем ее облике, в манере общения, в лексиконе чувствовалась ощущаемая ею красота жизни. Казалось, она дарит себя людям. В октябре 1988 года она пригласила меня сопроводить ее в поездке во Францию. Мы пробыли там полтора месяца, и она подарила мне Париж своей молодости, Париж своих великих друзей, художников и писателей: Марка Шагала и Жоржа Брака, Натальи Гончаровой и Дмитрия Цаплина, Натали Саррот и Жоржа Сименона, Макса Леона, Константина Бальмонта, Алексея Ремизова…

Она, несомненно, была одной из самых ярких русских женщин XX века. Спутниками ее жизни были талантливые, неординарные мужчины: американский бизнесмен-юрист Бенджамин Пеппер, великий русский скульптор Дмитрий Цаплин, блестящий американский журналист Луи Фишер и потомок народовольцев публицист Василий Сухомлин. Она пережила все тяготы века: гибель в Гражданскую войну любимого брата-близнеца, жизнь на чужбине, «казенный дом» на родине, шесть лет воркутинских лагерей. В 90-е годы Татьяна Ивановна Лещенко-Сухомлина неожиданно для себя стала удивительно популярна и востребована. Ее звали на телевидение, в концертные залы, на ставшие модными культтусовки, на богемные домашние приемы. Она вдруг стала нужной сразу всем.

Ее узнавали на улице, дарили цветы, звали в гости. И я рад, что во многом способствовал славе и признанию, заслуженно пришедшим к ней хотя бы в конце ее века.

Ей так много нужно было сказать в своих воспоминаниях «Долгое будущее», выпущенных на закате жизни, но в двух изданных томах уместилось далеко не все из задуманного и написанного.

Татьяна Ивановна Лещенко-Сухомлина родилась 19 октября 1903 года и покинула этот мир через 95 лет. Упоительная, счастливая, мучительная жизнь! Один из ее друзей-поэтов, оригинальнейший Тихон Чурилин сказал: «Идет ей жизнь».

Из огромного материала, который у меня сохранился, публикую несколько биографических сюжетов, связанных с судьбой и творчеством Татьяны Ивановны.

Любовник леди Чаттерлей

Роман английского писателя Д. Лоренса «Любовник леди Чаттерлей», считающийся едва ли не самым эротическим повествованием XX века и вышедший в 1928 году, стал одной из скандальнейших книг своего времени. В Англии запрет на издание держался аж до 70-х годов. Впервые на русском языке книга была издана в Берлине в тридцать втором году, и русскому читателю ее подарила Татьяна Лещенко-Сухомлина.

Это берлинское издание – суперраритет. Я, точно библиофильская ищейка, вынюхивал Лоренса повсюду – безуспешно. Пытался разыскать издание в магазинах русской книги в Нью-Йорке, Мюнхене – безрезультатно. И вот однажды в Париже на маленькой улочке рю Дарю (rue Daru), там, где стоит знаменитая русская церковь, в магазинчике «а-ля рюсс», в котором можно было тогда купить все: от павловопосадского платка до четок и белогвардейских погон – в шкафу-закутке я обнаружил то, что искал.

Прилетев в Москву, помчался к Татьяне Ивановне, у которой много лет назад книга была кем-то «экспроприирована» с заветной полки. Она не поверила своим глазам. «Господи, мой „Любовник…“ Моя „леди Чаттерлей!“» В тот же вечер Татьяна Ивановна поведала мне о том, о чем в Москве никому не говорила – о переводческом эпизоде своей биографии. Времена были тяжелые. Она понимала, что при случае ей припомнят «развратный» роман. Хотя, как рассказывала жена поэта Николая Тихонова Мария Константиновна, Горький подарил эту книгу писателю Анатолию Виноградову с надписью: «Дарю вам одну из самых прекрасных, но и самых печальных книг нашего столетия».

– Эта почти детективная история, – говорит Татьяна Ивановна, – началась в Нью-Йорке, когда брат моей подруги, родственницы знаменитой писательницы Гертруды Стайн, посоветовал прочитать недавно вышедшую книгу Лоренса. «О чем она?» – спросила я. «В книге много эротики», – интригующе ответил он. И я сразу потеряла интерес к предложенному чтиву.

В 1930 году я приехала в Париж и познакомилась с находившимся там по заданию наркома Луначарского скульптором Дмитрием Цаплиным, ставшим вскоре моим мужем. О Цаплине писали как о «гениальном русском мужике с Волги». Так вот, после выхода книги на французском языке завихрилась сплетня о том, что Лоренс якобы написал обо мне и Цаплине. Заинтригованная, я залпом «проглотила» роман. Он поразил меня

своей целомудренностью, честным отношением к любви. И еще я увидела в нем увесистую пощечину английскому лицемерию.

Роман я перевела быстро. Работала с вдохновением. Для этого мы с Цаплиным отправились на берег Средиземного моря и отыскали уютное местечко среди скал. Соленые волны плескались у ног, словно помогая мне проникать в глубины любовного сюжета. Ведь это был мой первый лингвистический опыт.

С той поры «Любовник леди Чаттерлей» Д. Лоренса издавался на русском языке десятки раз. И заслуга в этом первой переводчицы – Татьяны Ивановны Лещенко.

Встречи с Маяковским

Татьяна Ивановна всегда начинала рассказ со слова «однажды». Так вот, однажды с подругой – ленинградской актрисой Людмилой Волынской – они отправились на вечер поэтов в Политехнический музей.

– Мы были еще девчонки. На последние гроши купили билеты на самый верх амфитеатра, но, взобравшись туда, поняли, что поэты будут слишком далеко от нас и, спустившись, нагло сели в первый ряд. И чудо – нас не прогнали. Выступали Брюсов, Ивнев, Сельвинский… Но главное – Маяковский! Могучий, красивый, с изумительно зычным и в то же время бархатным голосом. Знавшие его стихи наизусть, мы теперь видели его так близко.

Прошло два года. Я с первым моим мужем Беном живу в Нью-Йорке, куда он меня привез прямо из «института благородных девиц». Иду по улице и вдруг – Маяковский. Он стоял в дверях небоскреба, где помещался советский Амторг. Броситься бы к нему, заговорить. Показать ему Нью-Йорк, мой любимый Бруклинский мост. Но я не посмела. И застыла на месте от благоговения. В тот же вечер Лия Гоштейн, знакомая поэта по Москве, принесла мне билет на его выступление. После устроенной поэту овации за кулисами меня представили ему, и он сразу же позвал нас в гости. До сих пор помню адрес: 11-я улица на углу 5-й Авеню.

«А можно мне прийти с мужем?» – робко спросила я. – «Конечно», – ответил Маяковский.

Помню большую полупустую комнату. В глубине у стены – диван. Мебели почти нет. Мы сидим на небольших ящиках. А на ящике покрупнее, накрытом газетой, – снедь: очищенная селедка, черный хлеб и бутылка московской водки. Вместо рюмок стаканы, из которых мы потом пили чай с печеньем.

В центре комнаты в большом, непонятно откуда взявшемся кресле в роскошном золотом платье сидела очень красивая молодая американка, промолчавшая весь вечер. Рядом стоял ее муж-художник. Здесь же за ящиком сидел Давид Бурлюк[23] с серьгой в ухе. Он блистательно рассказывал о недавно пережитом им землетрясении в Иокогаме.

Рядом с Маяковским – приятная молодая женщина, как я поняла, близкий ему человек. Ее звали Эмма Джонсон. Позднее я узнала, что она переехала в Мексику и что у нее от Маяковского родилась дочь.

Еще запомнилось, как мы целой компанией провожали

Владимира Владимировича на пароход. Он был веселым, но, как всегда, смутно сосредоточенным. Обрадовался моим розам и корзиночке с апельсинами.

Третья встреча с великим поэтом произошла в Москве в тридцатом году. Я приехала из-за границы повидать родителей. Иду по Москве к Большому театру и вдруг снова – навстречу Маяковский. Он мгновенно меня узнал. «Вы здесь? Приходите ко мне непременно. Буду ждать».

Но я не пошла. Из благоговения. Теперь, в старости, я знаю, что это ложное чувство и ему поддаваться не следует.

Его смерть ранила меня на всю жизнь.

Вертинский в Пятигорске

– Дерзкой стайкой мальчишек и девчонок мы, раскрепощенные революцией, без спросу удрали из дома на концерт нашумевшего своими песенками артиста. Пришли с гнилыми яблоками в карманах, дабы запустить ими в презренного хлюпика, певшего про какие-то пальцы, пахнущие ладаном, про разных креольчиков и прочую плесень. Мы ведь твердили только боевые песни.

На сцену вышел молодой человек: без грима, в петлице черного фрака белел цветок, светлые волосы, кроткое выражение лица. Он казался застенчивым и вовсе не был наглецом, как почему-то мы ожидали. Он запел приятным, слегка приглушенным голосом, с такой искренностью, так задушевно и просто, что все сразу же притихли. Ни тени фальши не было в его исполнении, никакого кривляния. Он покорил нас. И мы стали распевать его песенки. В школе на переменах девчонки тащили меня к роялю и упрашивали спеть о печальном попугае, о верном псе Дугласе, о несбыточной весне…

Москва была странная и страшная

О советской России Татьяна Ивановна всегда говорила печально.

– Боже мой, как я мучилась и плакала в 1930 году, как молила дать мне нормальный советский паспорт, чтобы могла приезжать к родителям, к бабушке, – начальники сидели с каменными лицами, как шизофреники, словно в каких-то страшных масках, словно нечеловеки… Москва голодная, заснеженная. Люди измученные, плохо одетые, пришибленные, всюду торчат портреты Сталина и его приближенных… Москва – странный город. Многие дома разваливаются, их не ремонтируют. Новые же удивительно безвкусные.

Много кафе, в них всегда полным-полно народа, играет убогий джаз, подобие провинциальнейшего джаза начала века в США. Но радиопрограммы великолепные. Прекрасный оркестр. Прекрасные пианисты: Софроницкий, Николаев, Серебряков. Много фольклорной музыки, которую я очень люблю: песни туркмен, казахов, грузин…

После долгого отсутствия москвичи показались мне примитивнее, суетливее ленинградцев, но выглядели более «упитанными» и лучше одетыми. Но манеры москвичей, их страшная грубость, несдержанность! Думаю, что в этом они перещеголяли все нации на свете. Лишь военные – вежливые, сытые, почти холеные по сравнению с остальным людом… В женщинах полное отсутствие мягкости, женственности, изящества. А главное – всеобщая неряшливость, стоптанная, уродливая, тяжелая, как копыта, обувь.

…Были в гостях у Бориса Пильняка. Его жена, молоденькая грузинка, прелестна. В кроватке лежал хорошенький младенец, а стоявший рядом Пильняк пыжился от гордости. Был еще Антонов-Овсеенко с женой Соней – милая веселая брюнетка… Ели, пили слишком много. Но разговоры интереснейшие. Собрались было уходить, и тут Пильняк предложил поехать в гости к Гамарнику – военному в больших чинах. Но было поздно, и я устала… Пильняк потолстел, поважнел, не такой «богема», как был. И вообще многие из тех, кого я знала раньше, поразили напыщенностью, важничанием, фальшивой торжественностью. В воздухе витало какое-то вранье…

«Она в законе…»

– Самое главное в человеческом общении – доброе слово. Оно согревает, дает надежду. Доброе слово спасало меня не раз и в лагерях. Помню, гнали нас по этапу, в лютый холод. Я выбилась из сил и в изнеможении упала на снег. Подошел конвоир. В таких случаях многие из них сразу стреляли. Но тот помог мне подняться и тихо сказал: «Мужайтесь». Я не поверила своим ушам. Неизвестно, откуда вдруг взялись во мне силы. До сих пор кажется, что именно это слово спасло меня от смерти.

Помню и барак уголовников в лагере близ станции Сивая Маска. Меня окружили женщины, потребовали, чтобы я пела. О том, что произошло дальше, я написала в одном из своих стихотворений: «Почудилось им к их горю участье. Забытая нежность… Забытое счастье…». Допела последнее слово – в бараке несколько минут стояла тишина. Наконец старшая отчеканила: «Освободите нару! Не смейте ее трогать! Она – в законе!»

Оказывается, Сименон – от нашего семена

Едва ли не чаще других своих друзей Татьяна Ивановна вспоминала Жоржа Сименона. Оно и понятно – она его «открыла» для русского читателя.

– Горжусь тем, что была первой переводчицей его на русский язык. Мне нравится, что Мегрэ почти всегда отыскивает истинного виновника преступления. Я знаю Сименона с 30-го года. Однажды он рассказал мне такую легенду. Это случилось, когда русская армия изгнала наполеоновские войска за пределы России и продолжала войну в Европе. После боев под Льежем один русский солдат занемог и остался на ферме у бельгийского крестьянина. Дочь фермера выходила его. И звали солдата Семен. Отсюда якобы и произошла фамилия Сименон. Но когда Жорж в очередной раз говорит мне: «Люблю Россию», – знаю, что легенда здесь ни при чем. Просто писатель рано остался без отца. Его мать, спасаясь от нужды, сдавала комнату русским студентам, обучавшимся в Льежском университете. От них Сименон впервые услышал русскую речь и раньше, чем с французской, познакомился с русской литературой. Полюбил Гоголя, Достоевского, но особенно близок ему стал Чехов.

Несколько раз Татьяна Ивановна ездила в гости к Сименону в Швейцарию. В одном из писем он ей писал: «Хочу непременно сказать вам и повторить снова и снова, что в нашем домике в Лозанне вы дали настоящий концерт высокого мастерства и очень волнующий. Вы владеете гитарой, как профессионал, голос ваш берет за душу… Своими песнями вы передаете заложенную в них грусть и глубину. Именно после встреч с вами мне хочется узнать вашу страну всю целиком».

Апрель 1987 – май 1991

Мучительная смерть в одиночестве

Хочу привести свидетельство друга Татьяны Ивановны, аккомпаниатора-гитариста Сергея Чеснокова о том, как трагически заканчивалась жизнь этой удивительной женщины, свидетельницы многих событий XX века.

– Ее дочь Алена, человек не совсем психически здоровый, закрыла от друзей, от всего мира некогда открытый для всей Москвы дом Татьяны Ивановны. Запрет распространен был и на телефонные звонки. Татьяна Ивановна спала без постели, в голоде и грязи, больная коксартрозом, немощная, отгороженная от всего мира, фактически похороненная заживо. С потрясающим мужеством и смирением переносила она эти ужасные условия. Мы, близкие ей люди, ничего не могли сделать, у нас не было ни юридических, ни врачебных, ни материальных возможностей спасти ее, переломить ситуацию. В отчаянии мы обращались ко многим. Но все попытки помочь разбивались о дверь и окна, наглухо запертые полусумасшедшей ее дщерью. Той самой, которую она воспела в своих дневниках и песнях.

…Нет на свете женщины, которая приносила людям радость и тепло. Но доброта и нежность не исчезают. Они среди нас, «в людском общежитье», в противоборстве с судьбой и печалями – навсегда.

2000

«Я становлюсь знаменитой…» (из дневников Т. И. Лещенко-Сухомлиной)

Из двух томов воспоминаний Татьяны Ивановны я выбрал лишь некоторые записи, которые, как мне показалось, наиболее точно и тонко, а главное, увлекательно и с юмором, показывают наши добрые дружеские отношения.

5 апреля 1987 года

Приезжал поэт Петя Вегин, которому я сказала, что хочу продать книжечки авангардистов «Садок судей», «Молоко кобылиц», «Трое» (памяти Елены Гуро), и вот он направил ко мне своего приятеля, одного из редакторов «Огонька» Феликса Медведева. Приехал молодой человек, посмотрел книги, сказал, что даст ответ через день. Я показала ему мои стихи. Он прочитал штук шесть-семь и задумчиво заявил: «О вас надо написать статью», – к моему большому удивлению.

16 апреля

Маша Айги (жена известного поэта Геннадия Айги. – Ф. ТУГ.) приехала ко мне помочь мыть окна перед Пасхой… За этим занятием застал ее Феликс Медведев, специально приехавший, чтобы поговорить с ней об Айги, ее бывшем муже, чувашском поэте, которого перевели французы и итальянцы. Его стихи мне чужды, надуманные и неинтересные, но Маша называет их сложными и находит их гениальными. Феликс решил напечатать их в «Огоньке».

21 апреля

…В четверг поеду с Феликсом куда глаза глядят. В какой-то, как он выразился, интересный дом. Поеду с гитарой и буду петь.

26 апреля

Мне хотелось бы суметь описать эту нашу поездку, но боюсь, что это мне не под силу. Я делаю записи для собственного удовольствия, чтобы вспомнить и пережить снова… Так вот, 24-го Феликс заехал за мной и еще за двумя пожилыми персонами, и на грузовом такси мы помчались в городок Киржач, рядом с которым, как рассказывал по дороге Феликс, погиб космонавт Юрий Гагарин. В машине, как организатор поездки, Феликс сказал, что центром всего концерта будет Татьяна Ивановна, потому что о ней готовится публикация в «Огоньке». «Расскажете

нам о своих встречах со знаменитыми людьми, ведь вы многих знали», – сказал Феликс. Я начала со встречи именно с Юрием Алексеевичем Гагариным, что было очень к месту. Рассказала еще и о Маяковском, о Николае Тихонове, о Жорже Сименоне, о своем муже скульпторе Цаплине…

На сцене Феликс подал мне мою гитару, представив меня знатоком старинного русского романса, но я устала и сказала, что петь не буду… В конце мы все вышли на сцену, ответили на записки, и нас повезли ужинать. Я проголодалась и с огромным удовольствием съела обильный вкусный ужин. Концерт нас всех подружил. В Москву мы приехали в первом часу ночи.

10 мая

Разбирая полки шкафа с книгами, наткнулась на свои мемуары, которые много лет не трогала. Прочитала наугад про лагерь по другую сторону реки Воркуты, про сочельник и про убийство бригадира Тимоши – уверена, что если после моей смерти мемуары будут напечатаны, я стану знаменитой, ибо они написаны так искренне и живо, что воистину воскрешают черты той «жизни»… Если бы я в Женеве согласилась на предложение швейцарского издательства, то уже была бы «знаменитой» и получила бы много денег. А мне все равно! Не хочу в чужой стране печатать, хочу на родине. Да, это особая вещь – чувство родины. Возможно, оно есть не у всякого… У меня оно очень глубокое.

17 мая

Был Феликс. Купил еще книг, по-моему, платит по-царски. Я сказала ему, что всю жизнь искала в мужчинах не любовников, не мужей, а брата. Рассказала про Юру, моего близнеца, самого моего любимого человека… Феликс серьезен и добр. Самые ценные качества…

30 мая

Феликс ездил в Киргизию с Чингизом Айтматовым, Солоухиным и Джоном Ле Карре. Вот это да! Рассказывал, что было страшно интересно и опасно, ведь было землетрясение… А сегодня мы с Феликсом идем в гостиницу «Националь» к Маше – сестре Киры Волконской. Маша приехала из Женевы. Она видела из окна гостиницы, как маленький самолетик кружил над историческим музеем: оказалось, это был молодой спортсмен из ФРГ, посадивший самолет на Красную площадь. Его, конечно, тут же арестовали…

Из «Националя» я поехала на кладбище в Переделкино. На

могиле Пастернака было много народу, хотя шел дождь. На могиле Василия Васильевича (Сухомлин, муж Т. И. – Ф. М.) расцвели розы.

2 июня

Феликс все расспрашивает о моей жизни, о моем прошлом. Об ужасном сталинском времени. Мне есть что рассказать, одна Воркута что стоит. Рассказала ему, как сидя в камере на Лубянке, через зарешеченное окно порой видела, как падал откуда-то сверху черный пепел – кусочки обгоревшей бумаги… Жгли документы…

9 июня, Ленинград

Ирина Владимировна Одоевцева очень старая, легкие румяна на щеках, подкрашенный рот. Она обрадовалась мне, так как я хорошо знала Софью Прегель – ее близкую подругу, хорошую, добрую женщину, писавшую весьма посредственные стихи, которые она в Париже издавала на деньги своего брата-миллионера. Ирина Владимировна рассказывала мне сегодня про Гумилева, считает его средним поэтом, рассказывала и про Бунина, Ходасевича, Берберову. Гумилев влюблялся беспрестанно, а последний раз в Берберову, злую женщину, по словам Ирины Владимировны.

16 июня

По просьбе Феликса Медведева пишу о встречах с Маяковским в Нью-Йорке. Отчетливо помню все.

2 июля

Мне сегодня снился сон, что приехал Феликс. Но он болен… Еще в апреле Феликс взял мои стихи для публикации в «Огоньке». Но моих стихов все нет. Ни статьи обо мне, ни стихов. (Стихи Т. И. так и не появились в журнале, хотя я старался сделать все возможное, чтобы «пробить» их, а статью о ней я, пытающийся «объять необъятное» в работе и жизни, писал, к сожалению, слишком долго… – *Ф. М.)*.

6 июля, Ленинград

Неуютно мне в этой огромной (40 метров) пустой комнате с великолепной акустикой. Так и чудится, что во время блокады тут тяжко умирал кто-то от ран или от голода. Много горя видели эти стены. Одна у меня отрада: библиотека Эрмитажа, куда ухожу на целый день.

12 июля

Мне дали несколько «Огоньков» на прочтение. В номере 25 за июнь интервью Феликса с Мирей Матье – увы, я должна признаться, что сильно мне взгрустнулось. Почему не я, а она?! Конечно, эта француженка очаровательна. Да, она в тысячу раз моложе меня, красивее, элегантнее… Цаплин был во много раз талантливее всех тех скульпторов и художников, о которых пишут в «Огоньке». И вот настоящие таланты так и погибают в неизвестности… А знаменитые (и тоже, конечно, талантливые люди) делаются еще более знаменитыми. Очевидно, это все Случай, а не Следствие.

Постараюсь заставить себя не верить обещаниям, а ведь такой соблазн поверить; хоть на миг себя этим потешить, утешить!

3 сентября

Феликс пригласил меня для участия в концерте, который он устраивает от имени «Огонька» в здании Дома культуры «Правда». И еще зовет участвовать в концерте, который будет в зале «Октябрь» на Калининском проспекте. Я, конечно же, обещала.

5 сентября

Приходил Феликс. Сказал: «Жена меня пилит, сулит мне инфаркт и т. д. Я весь замотанный беспредельно! Дел невпроворот. Вот и сейчас срочно пишу про княжну Мещерскую. Это очень интересно! Ей 85 лет». И подробно рассказал мне историю этой полунищей княжны… «Ну, конечно, вы должны в первую очередь о ней писать! Ведь она такая старая!» – воскликнула я, забыв, что мне самой… Нет, эта цифра не моя. А у Феликса искренний, добродушный смех.

9 сентября

Феликс задумал с моей помощью взять интервью у Жоржа Сименона, моего друга. Звонили в Лозанну прямо из кабинета Коротича. Феликс составил вопросы…

На другой день Феликс позвонил и снова появился передо мной весь взмыленный, подурневший. Сказал, чтобы я готовилась к выступлению в «Правде», что аудитория будет самая взыскательная.

12 сентября

В «Огоньке» довольны подготовленным к печати интервью с Симеоном, по поводу чего, по-видимому, Феликс появился у меня дома с дивной алой розой.

15 сентября, после концерта в клубе газеты «Правда»

Я приняла боевое крещение. Но поначалу хотела отказаться петь в этом огромном зале, потому что никогда в жизни не пела с микрофоном. Феликс заявил, что, если я его не буду слушаться, он не будет приглашать меня в концерты. И добавил, что мне надо обязательно научиться, и тогда я буду иметь огромный успех. Да я сама это предчувствую.

Было очень интересно. Народу полный зал. Блестяще выступали Зильберштейн, Мариэтта Чудакова, Андрей Дементьев, неистово антисемитствовал Солоухин. Рядом со мной сидела знаменитая Джуна, красивая, в ажурных черных перчатках и мини-юбке. Имела большой успех. Пела хорошенькая Вероника Долина – премило! Мне преподнесли розы и еще цветы и еще, а какая-то дама попросила у меня автограф. Я очень рада, что участвовала в этом первом для меня вечере «Огонька» среди знаменитостей… Мне было приятно, что, прощаясь, Илья Зильберштейн поцеловал мне руку и со мной единственной попрощался – ему понравился мой рассказ о Сименоне. Я не волновалась, зная, что говорю об интересном, о том, что мне близко.

16 сентября

Пришел Феликс. Вчера он был очень милый. Он сказал, что я всем очень понравилась, имела большой успех… «Наши огоньковские сотрудники сказали, что вы – чудо. Но сидели вначале, будто бы съежившись, а как заговорили, запели, то преобразились».

1 октября

О господи! Раздался звонок и голос Феликса: «Татьяна Ивановна! Немедленно собирайтесь в концертный зал „Октябрь“. Вас все ждут. За вами придет машина. Я замотан, приехать не могу. Не забудьте гитару…».

Ночью

Великолепный зал битком набит. Но я расстроилась, потому что этот зал не подходит для моего пения. Но все обошлось. В вестибюле концертного зала меня встретил посол Италии Джованни. Сидела я почти в центре. Справа и слева Эльдар Рязанов, Юрий Никулин, Илья Глазунов… Все они выступили очень интересно. Им сильно хлопали. Но Феликс сказал, что «изюминкой» вечера была я. Мне хлопали долго. Устала я, как собака… Хочу добавить все же, что Илья Глазунов говорил ужасно

долго, жаловался, что его никто не любит. Феликс же постоянно у него бывает и с ним дружит. Как и с Солоухиным. Но в Феликсе все-таки есть обаяние. Мотается, как черт. Казалось бы, должен изнемогать от усталости, от забот и дел, а ему как с гуся вода – все деловито помнит, здоровье гигантское, добрая улыбка, от которой он вдруг делается красивым.

Коротич не захотел печатать мое «Воображаемое интервью», сказал: «Сентиментально». Пожалуй, он прав.

Мне эти концерты как «питательная среда» – я великолепно себя после них чувствую.

7 октября

Мариэтта Чудакова сказала как-то раз: «Вы будете очень знаменитой после смерти, когда опубликуют ваши дневники».

8 октября

У меня чувство, будто сегодня решается что-то важное в моей судьбе, но что – не знаю. Судя по тому, что унылости и тошнотворной печали нет в душе, наверное, что-то не вредоносное. Но нужен чуть ли не триумф, чтобы доставить мне удовольствие, хотя это вряд ли. Снова возникло почти позабытое чувство отверженности, отторгнутости от моей кровной, исконной родины. Лагерь снова возник, мой арест снова дал себя знать. А ведь я абсолютно ни в чем не виновата! Наоборот! Сколько завоевано мной симпатий к СССР! Каким, могу сказать, великолепным агитатором в пользу России я делаюсь за границей. И я за границей чувствую себя так, словно по мне будут судить, какие наши русские женщины.

19 октября. День моего рождения

Еще годовая прибавка к моей жизни… Кто-то сказал, что дневники пишут от одиночества. После смерти Василия Васильевича я одинока. Очень!.. Почти плачу. Вспоминаю, что до ареста передо мной разворачивалась блистательная карьера: намечалась встреча с Н. Черкасовым, и я должна была петь в его фильме; Пудовкин обожал, как я пою, у дверей артистической после моих сольных концертов меня поздравляли Н. Тихонов, А. Фонвизин, Р. Фальк, Яхонтов и многие самые-самые… Если сейчас, когда мне за 80, говорят об обаянии, красоте, чудесном пении, то как это было, когда я была молодой и меня называли красавицей. Одним махом все это было изничтожено – без моей вины… И вот теперь, как поздняя реабилитация в искусстве, эти мои концерты от «Огонька»… Мои праздники.

2 декабря

Я неблагодарная! Сколько хорошего мне сделал Феликс! Благодаря ему были у меня праздники – концерты «Огонька», которые устраивал он. Благодаря ему будет мой вечер в большом зале ЦДЛ. Милый Феликс! Давненько так мной никто не восхищался. А я все ворчу на него. Слава богу, молча, про себя.

5 декабря, утром

…Феликсу отдаю должное за его умное поведение. Интересно, как в дальнейшем сложатся наши с ним отношения. Мне хотелось бы, чтобы возникла настоящая дружба, ибо из всех мужчин, которые теперь на моем пути появляются, он единственный, с которым мне порой душевно… В сущности, я вдруг начала делать то, что оборвал мой арест сорок лет назад, – и вот я в мои годы делаю снова то, к чему очевидно и была предназначена. И сделал это для меня возможным Феликс Медведев! Да еще в наше время!

10 апреля 1988

Удивил и обрадовал меня дружок мой Феликс. Привез настоящий кулич к Пасхе. Даже разукрашенный, даже с крестом на макушке. Люблю, когда Феликс является победоносным. Ведь куличей простым смертным не достать. Я подбила Феликса на заутреню в Даниловом монастыре. С билетами очень трудно. Приглашен весь дипломатический корпус. Феликс отдал билет на два лица своему другу Евтушэ. На всякий случай, чтобы нас всех пропустили, Феликс договорился с митрополитом Антонием. Рядом с Феликсом была молоденькая, тоненькая, прехорошенькая девушка с чудесными, большими глазами. «Это Мила, моя жена», – сказал Феликс. Мы расцеловались. От Феликса несло вином.

15 апреля

Мы начали репетировать вопросы, на которые надо отвечать в феликсовой передаче «Зеленая лампа». Кира (Кира Шереметева – представительница рода Шереметевых – гостила тогда в Москве. – Ф. М.), как типичная американка-интеллектуалка, рассуждает глуповато, но интеллектуально, а главное, скучно! Я старалась ее выручить.

Потом Феликс репетировал со мной. Уже сняли Серго Микояна и Владимира Солоухина с показом его коллекции икон. Феликс собрался уезжать к Анне Бухариной-Лариной и предложил Кире ехать вместе с ним. Феликсу, как мне кажется, абсолютно непонятен мир Киры Шереметевой – сугубо

шереметевский мир, особенно оттого, что они живут вдали от родины. Имеют значение их семейные традиции, аристократизм, православие…

16 апреля

Вечером позвонил Феликс и сказал, что у Бухариной было очень интересно. Разговоры о Сталине и его опричниках до часу ночи.

18 апреля

…Феликса увлекает не личность человека, а зигзаги его судьбы, повороты-навороты, необычность ситуаций. Именно с этой точки зрения и я ему интересна, но мало ли людей гораздо интереснее меня.

25 апреля, понедельник

По Москве ходит четверостишие:

Мы все живем в эпоху гласности,
Товарищ, верь: взойдет она,
И Комитет Госбезопасности
Припомнит наши имена…

Но вчера на телепередаче я сказала, что поток жажды, справедливости, милосердия и правды – необратим, неодолим, и вспять его нельзя повернуть.

Среди книг в квартире Феликса вдруг я увидела свою фотографию. Вообще фотографии развешаны по всем стенам. Очень интересные, разнообразные, знаменитые лица.

Пришел из школы мальчик, лет двенадцати. Это Кирилл, сын Милы и Феликса! Прелестнейший! И рожица чудная, и видно, что кроткий, славный мальчуган… А Феликс – умученный работой. Он не может остановиться, его несет.

Феликс с тревогой рассказал мне, что Юлиан Семенов и Анатолий Рыбаков получили письма о том, что их приговорили к смерти. Я считаю эту опасность весьма серьезной. В этом мне видится месть за Сталина.

31 июля

Я, пожалуй, и в самом деле становлюсь «знаменитой». Концерты, телевидение, вечера… «Выхожу в люди» – а ведь это сделал Феликс, наполовину он, а вторая половина – я.

Стихи Татьяны Лещенко-Сухомлиной из моего архива

Он был усталый. Грустный. Злой.
Не друг, не брат и не любимый.
Но чем-то очень дорогой.
Такой, что мне хотелось мимо
Скользить, не подымая глаз,
Благоухать улыбкой зыбкой
И петь, в душе храня рассказ
О рыбаке с лукавой рыбкой,
Которая давала все,
Себя не отдавая жадно.
Вставало прошлое мое
При встрече с ним, всегда досадной.
И не простой и не седой —
Такой, какой должно бы было,
Я становилась молодой
И вспоминала, что забыла, —
Мои тончайшие духи,
И драгоценные гитары,
И то, что мы к другим глухи,
И то, что мы бываем стары…
И становилось все равно,
Что думал он о нашей встрече.
Но стыдно, нелегко, темно
Спускался вечер мне на плечи.

Воркута, 1950

Москва

Ночной, лиловый город
Нахмуренно притих…
Уж он давно не молод,
А смолоду был лих!
Потом он был уютным,
Разлапистым селом.
Потом – кроваво-смутным
Джугаем за углом.

Стоит он, ощетинясь
И злобу затаив.
Из кубов и из линий
Надменно некрасив.
Смотрю в ночные окна
И тени в них ловлю.
И мне противно очень, что я его люблю.

1979

Вьюга

За окном вьюга сугробы,
Да, ах сугробы намела.
За окном не верят в Бога,
И деревья, как метла.
За окном чернеет в поле —
Может, кто-то там замерз…
А кругом поля да воля,
Воля, вьюга на сто верст.
Чтоб застыли злые лужи,
Слез моих о нем вода,
Выйти в поле, в вьюгу, в стужу
И замерзнуть завсегда.
Мне не жалко. Мне не жалко.
Я все знаю наперед.
Я теперь, как в поле палка.
Но ведь боль моя пройдет.
Все пройдет… Но сердце гложет
Эта вьюга, эта мгла!
Бедный, бедный… Он не может Так любить, как я могла.

1946

До сих пор чувствую себя виноватым за то, что загруженный актуальными публикациями о героях перестройки, о «текущем моменте», я не написал о Татьяне Ивановне в журнале «Огонек». Все откладывал и откладывал… А она так мечтала об этой публикации! И тогда Т. И. придумала необычный ход: сочинила «воображаемое интервью», сама задавая себе вопросы от моего имени. Текст этого шутливого по форме и трагического по содержанию интервью сохранился в моем архиве.

Спустя почти тридцать лет привожу фрагменты разговора Татьяны Ивановны Лещенко-Сухомлиной с самой собой.

Воображаемое интервью

Если гора не идет к Магомету – Магомет идет к горе. Феликс Медведев сам сказал мне: «О вас надо писать», – и исчез, получив государственную премию. Сейчас он проходит через испытание славой. Выдержит ли он этот беспощадный экзамен? Гм… Приходится мне самой давать себе интервью.

Итак:

Ф.: Татьяна Ивановна, вас называют «знатоком русского романса». Какую роль играла музыка в вашей жизни?

Т. И.: Главную. Могла бы сказать: «Моя жизнь прошла под музыку». Первое в жизни воспоминание – музыка. Мать – великолепная пианистка. Отец играл на скрипке и на гитаре. Оба пели. И бабушка. И я сама пела с детства. Музыка – и еще ветер.

Ф.: Почему ветер?

Т. И.: Главные события жизни для меня всегда связаны с ветром. Объявление войны 14-го года: дул шквальный ветер, обрывал листья, во все стороны летели брызги фонтана в нашем саду в усадьбе отца в Пятигорске. Революция 17-го года: страшная метель в Москве. Ночью ветер завывал в печке дортуара Екатерининского института, где я училась. Ураганный теплый ветер в лагере заключенных в Воркуте в день объявления смерти Сталина, снежные вихри, но ветер, несущий с собой весну. И надежды…

Ф.: Где же прошло ваше детство?

Т. И. – Мы с моим братом Юрием – близнецы, но очень разные, родились в Чернигове. Трехмесячных нас увезли в Петербург. Потом – Москва. Отец был агроном, мать пианистка. Трудовая интеллигенция.

Ф.: А ваш брат-близнец?

Т. И.: Юра был несравненно умнее, талантливее меня. Он был храбрый и сильный, очень серьезный. Часами сидел за роялем. Читал в 12–13 лет Шопенгауэра, Локка… В 18-м году в Пятигорске – мы той осенью не вернулись в Москву, – когда белые наступали на Минеральные Воды, Юра записался в Красный Отряд Боевой Молодежи. Тогда комсомола еще не было. Юра был за Ленина. Наши родители не были революционерами, но, как почти вся интеллигенция в то время, были против царизма. Юра в январе 19-го года ушел сражаться с белыми и в ту же ночь был убит под станцией Скачки близ Пятигорска. Много лет я не могла говорить о гибели Юры, произнести этого не могла. В бумагах отца сохранились об этом документы от Красной Армии. Я передала их в наш архивный фонд Сухомлиных

в отдел рукописей Библиотеки имени Ленина.

У Юры был абсолютный музыкальный слух. В 12 лет он играл сонаты Бетховена, этюды Скрябина, сюиты Баха. Вот Женя Кисин своей игрой напомнил мне игру Юры. За месяц до смерти Юра сказал мне: «Я словно прожил уже долгую жизнь, и мне не страшно умирать…» Стояла осень, мы ходили за молоком в станицу… Юра опекал меня, предостерегал, защищал. Всегда правду говорил. Ничего не боялся…

Ф.: А вы?

Т. И.: Я привыкла с детства правду говорить. За вранье нас строго наказывали. А вот боюсь очень многого.

Ф.: Почему вы уехали за границу?

Т. И.: Я вышла замуж. Без ума влюбилась в одного молодого американца, а он – в меня. Я была совсем юная. Мы зарегистрировались в ЗАГСе к ужасу моей семьи… И уехали с Беном в Нью-Йорк, – я в уверенности, что вернемся в Москву, где и будем всегда жить. Шел 24-й год…

Я часто мысленно скользила по поверхности, жила скорее воображением, чем реалиями. Но что-то словно защищало меня в жизни, а передряги были всякие… Что-то удерживало на краю соблазнов, опасностей, духовной гибели. Я ведь прожила долгую, очень многообразную жизнь.

Ф.: Вы, кажется, были знакомы с разными знаменитыми людьми?

Т. И.: Я знала Маяковского. Поэтов Николая Тихонова, Луи Арагона… Талантливейшего скульптора Дмитрия Цаплина. Он был несколько лет моим мужем, он отец нашей дочери. Дружна и по сию пору с Жоржем Сименоном. И еще… я никогда не чувствовала, не сознавала, что они «знаменитые»… Так случалось само собой…

Ф.: А где и как вы работали?

Т. И.: Я пела. Переводила книги с французского и английского. Писала стихи, песни, рассказы, музыку к своим песням – но это у меня в «ящике». А на Воркуте в лагере делала разную работу, подчас самую грязную и тяжелую, не думая о том, что она грязная и тяжелая.

Ф.: А что вы больше всего цените в жизни?

Т. И.: Искусство. Творческое начало в людях. И, конечно, доброту, благородство души, бескорыстие, дружбу. Жизнь люблю. Радуюсь жизни.

Ф.: Не боялись бедности?

Т. И.: А я всегда ощущала себя богатой, даже когда за душой ни гроша не было. Но я знала, что всегда могу себе на хлеб заработать: умею шить, переводить, не гнушаюсь никакой

посильной работы. Люблю работать. Хочу сделать как можно лучше – ведь это всего интереснее!

Ф.: Ваше самое сильное впечатление.

Т. И.: Анна Павлова, балерина. Гений! Ее появление на сцене – как электрический шок, а за ним наступало счастье. И еще: случайная встреча с Юрием Алексеевичем Гагариным. И встреча с благороднейшим человеком, вернувшим мне утраченное ощущение счастья, – Василием Васильевичем Сухомлиным… Но об этом когда-нибудь после…

Ф.: Как мыслите себе идеальный отдых?

Т. И.: Тихий вечер на берегу моря, и чтобы рядом дивно, как всегда, пел под гитару Саша Черный, цыган. И чтобы неподалеку был Феликс…

Ф.: Зачем?

Т. И.: А на всякий случай. В нем гнездится иммунитет от всякой пошлости и зла.

Ф.: Говорят, Жорж Сименон в восторге от вашего исполнения русских романсов и песен?

Т. И.: Да, я пела ему. Он потом написал мне, что мне удалось передать образ России, глубину ее, доброту! Красоту ее!

Ф.: Вы поете под гитару?

Т. И.: Да. Самую любимую, работы Ивана Батова, я подарила Эрмитажу, чтобы она прожила как можно дольше на радость людям. Она удивительно красива!

Ф.: А что за песни у вас?

Т. И.: Я свой репертуар подбирала всю жизнь. Мою коллекцию русских романсов и песен, начиная с конца XVII века, у меня купил Музей музыкальной культуры имени Глинки. Когда пою – я вижу то, о чем пою. А голос у меня небольшой.

Ф.: Вы ведь сидели в сталинских лагерях. Как это было?

Т. И.: Видите ли, я считала стихийным бедствием то, что происходило у нас в стране. Люди были в состоянии гипноза от страха, словно оцепенели! Меня арестовали осенью 47-го года. Для меня, когда кругом снова шли аресты, это было, как землетрясение, нечто гораздо более грандиозное, чем крушение моей личной судьбы. Я шла по делу одна. После года тюрьмы я по статье 58–10 попала в лагерь в Воркуту. На первых порах меня охватило огромное любопытство к совершенно новой для меня жизни. Оно спасло меня от отчаянья, от непрерывного страдания, от разлуки с детьми, с красотой и радостью жизни. Это наступило потом… Я уцепилась за единственную свободу, которую никто не может у меня отнять: не допустить гибели своей души, не допустить в нее ненависть, ругань, ложь, доносительство. Выдержать. Я была убеждена, что вернусь, что бред рассеется, что

землетрясение прекратится для всех. Я хотела, вернувшись, в глаза своих детей прямо посмотреть, глаз не пряча… «И вышек странные кресты / Мы позабудем – я и ты»… Я писала тайком стихи. Никому о себе, о своем прошлом не рассказывала. Сильно жалела окружающих – всех попавших в беду. Та «душистая-пушистая», какой я раньше была, не выдержала бы лагерной жизни, и я стала совсем другой. Я уже в тюрьме поседела.

В лагере мне пришлось столкнуться и с ненавистью лично ко мне, и с клеветой на меня. Я часто попадала впросак, бывала «белой вороной», а это особенно тяжко… Но я не сдавалась! Не поддаться, не стать частью злобного мира! И мне помогли многие. Теплом, участием, куском хлеба, добрым словом. Среди толпы обездоленных встречались люди потрясающей чистоты и душевной прелести, люди умнейшие и честнейшие… И доброта словно сама плыла ко мне. И спасала.

Но не могу больше говорить об этом, Феликс. Вы молодой, красивый, «на вершинах» – и вдруг волею судьбы стали моим исповедником. Хватит. Читателям нравятся интервью со знаменитостями. Никому не интересно, что пережила какая-то неизвестная Татьяна Ивановна. Читать не будут.

Ф.: Ну, ладно… Но что вы думаете о космосе?

Т. И. – Думаю, что, конечно, мы в нем не одиноки. Только большинство людей не способны видеть это и слышать. Но есть такие, кто видит и слышит. Жизненная энергия – это бессмертный поток. Им пронизано все. Я не погибели жду – я мира хочу и спасения для измученной нашей Земли. Ее спасет наша к ней любовь.

22 августа 1987 года

Глава 26. Графиня Разумовская о Марине Цветаевой

«Здесь не было тех причин, которые заставили бы ее наложить на себя руки».

«Автор книги „Марина Цветаева. Миф и действительность“, которая стоит у меня на цветаевской полке и которую я не раз перечитывал, живет в Вене?! Так помогите мне встретиться с ней», – обратился я к своим венским друзьям, сообщившим неожиданную новость. Я много лет «болел» Цветаевой, и все, что касалось ее судьбы, ее творчества, приводило меня в трепет.

…И вот с листочком бумаги в руках, на котором написан адрес, подхожу к особняку, построенному в конце XIX века. Дверь как дверь, звонок как звонок, только странно: на всех жильцов большого четырехэтажного дома одна сигнальная кнопка. Открываю дверь, вхожу в подъезд, и сразу же попадаю в «объятия» русской архитектуры, старинных картин. Поднимаюсь по лестнице мимо ряда огромных полотен с изображениями людей в одеждах «седой старины». Мрамор, хрустальные светильники, анфилада комнат. Сопровождаемый хозяйкой, прохожу в ее комнату, сажусь в кресло, осматриваюсь. И здесь старинные русские книги, утварь, мебель, роскошные люстры. Дворцовая обстановка.

Графиня Мария Андреевна Разумовская – наследница знаменитой русской фамилии.

– Мы с братом Андреем, – говорит Мария Андреевна, – прямые потомки Разумовских.

– *В Австрии?*

– Нет, в мире, включая и Россию. А было так. Отправленный в Австрию послом, это было в конце XVIII века, Андрей Кириллович Разумовский по окончании службы остался в Вене навсегда. Был два раза женат. Страстный любитель музыки, он сам играл на скрипке, покровительствовал Гайдну и Бетховену; один из циклов сочинений последнего так и называют – «Квартетами Разумовского». В Вене до сих пор есть улица Разумовского. В Австрию переселился и младший брат графа Григорий Кириллович, женившийся также на австрийке. И он стал жить в Вене. Таким образом, в России «настоящих» Разумовских не осталось. А в Австрии, наоборот, приумножилось, после того как

пошли дети у Григория. Вот так мы и живем здесь двести лет.

Моя мать – русская, отец – австрийский офицер. Во время Первой мировой войны попал в плен к русским. Пробыв три года в России, выучился русскому. Вернулся домой, познакомился с девушкой – беженкой, присматривавшей за детьми его сестры. Девушка-эмигрантка оказалась княжной Екатериной Николаевной Сайн-Витгенштейн из рода героя Отечественной войны 1812 года фельдмаршала П. Х. Витгенштейна. Она и стала моей матерью.

Стихи Цветаевой перевернули ее жизнь

…Итак, я шел на встречу с автором книги о любимом поэте, а общаюсь с наследницей старинной русской фамилии, владелицей родового имения в самом центре австрийской столицы. Неожиданный, но приятный сюрприз. И меня раздирают сомнения: о чем больше расспрашивать – о судьбах предков Марии Андреевны, служивших отчизне верой и правдой, или о ее работе над книгой о Марине Цветаевой?

Стихи Цветаевой ее увлекли совершенно случайно. Из России прислали самиздатовскую поэму, автором которой якобы была Цветаева. Сквозь все сочинение рефреном проходил душевный вопль героини: «Я так больше не могу, я так несчастна, я покончу с собой…» Было это году в 62-м. Заинтересовавшись судьбой поэтессы, Мария Андреевна взяла в библиотеке книгу американского автора С. Карлинского, посвященную жизни и творчеству Марины Ивановны. Прочла, заинтересовалась еще больше. Но на всякий случай разослала специалистам ту самую поэму. И что же? Выяснилось, что этот «самиздат» – не Цветаева. Поэма сочинена кем-то другим. Но это теперь было неважно: подлинная Марина Цветаева уже не отпускала Марию Разумовскую.

Как же, находясь в Вене, с которой поэтесса никак не была связана, можно изучать Марину Цветаеву? И графиня заказывает из многих библиотек мира книги и материалы для работы. Собрания сочинений Марины Цветаевой еще не существовало, но зато к тому времени, а это были 70-е годы, в печать выплеснулась лавина воспоминаний о ней. И на Западе, и в России. В том числе воспоминания дочери Марины Ивановны – Ариадны и сестры Анастасии Ивановны, опубликованные в «Новом мире» и в ленинградском журнале «Звезда».

Первое издание книги М. Разумовской «Марина Цветаева. Миф и действительность» вышло на немецком языке в 1981 году. Тогда у нас была еще запретной тема судьбы мужа поэтессы – Сергея Яковлевича Эфрона, завербованного НКВД во Франции и участвовавшего в убийстве разведчика Райсса. Автор сообщает читателям сведения об этом, почерпнутые ею в Швейцарии из подшивки газеты «Нойе цюрихер цайтунг», подробно освещавшей ход дела.

А в библиотеке Базельского университета она сидела над рукописями Цветаевой. Известно, что профессор русского языка и литературы Базельского университета Елизавета Малер, подруга

Марины Ивановны, взяла на себя хранение части ее архива. Она и сдала его в библиотеку университета. Кстати, именно оттуда вышли в свет циклы стихов Цветаевой «Лебединый стан» и «Перекоп».

Мария Андреевна рассказала мне, что, когда первый издатель этой рукописи Глеб Струве при содействии Малер получил ее фотокопию и собирался издать, его попросили не делать этого в интересах дочери Цветаевой Ариадны Сергеевны, проживавшей тогда в Москве. Почему? Марина Ивановна слишком уж сочувственно относилась к Белому движению, участником которого был и ее муж:

На кортике своем: Марина —
Ты начертал, встав за Отчизну.
Была я первой и единой
В твоей великолепной жизни.

Я помню ночь и лик пресветлый
В аду солдатского вагона.
Я волосы гоню по ветру,
Я в ларчике храню погоны.

– Помните эти стихи? – спросила Мария Андреевна, рассказывая о своих швейцарских поисках.

Помимо работы в архивах М. Разумовская общалась с людьми, знавшими Цветаеву. Один из них – блистательный литератор Марк Слоним, уже больной и старый, живший тогда в Женеве, тонко и точно чувствовавший Марину Ивановну, многое открыл исследовательнице в облике «живой» Цветаевой, в ее человеческом, нравственном облике.

К заслуге венской исследовательницы, несомненно, надо отнести и переводы стихов русской поэтессы на немецкий язык, и выпуск этих переводов отдельной книгой.

– Что поразило вас больше всего в судьбе Цветаевой?

– Ее характер, абсолютно бескомпромиссный во всем. Да, быть может, именно этот характер и «завязал» ее страшную судьбу в неразрываемый узел? Марина Ивановна обладала теми качествами, которые во многом уже утрачены людьми и больше не существуют. Как много знаем мы людей талантливых, одаренных, но не сумевших в «минуты роковые» сделать единственно честный выбор! Цветаева могла.

– А как вы считаете: правильно ли, что она вернулась на Родину? Может быть, ей следовало оставаться в Париже?

– Что было бы с ней, если бы она не вернулась? Я это вижу

как бы с другой, нежели вы, стороны. Она вернулась в Россию в июне 1939 года. А в сентябре у нас здесь началась война. Что случилось бы с ней при немцах, сказать трудно. Хотя предположить можно. Мы знаем о ее отношении к фашизму из цикла «Стихи к Чехии»:

О мания! О мумия
Величия!
Сгоришь,
Германия!
Безумие,
Безумие
Творишь!

Но думаю, что такой страшной судьбы, какая сложилась у нее в России, наверное, не было бы. Во всяком случае, здесь во многом отсутствовали те причины, которые заставили Цветаеву наложить на себя руки.

– А что вы думаете о сыне Марины Ивановны Георгии Эфроне? Есть мнение, что именно он во многом стал причиной ее самоубийства…

– Что можно сказать о шестнадцатилетнем мальчишке, избалованном безумно любящей мамой, делающей для него все, что он хотел. Но сказать сегодня, что он такой-сякой, негодяй, тоже нельзя. Как мне кажется, на него шоковым образом подействовало увиденное им в Советском Союзе, куда он рвался, заставив-таки маму покинуть Францию…

Мария Разумовская по профессии библиотекарь, специалист по русской литературе. Сорок лет проработала в Национальной библиотеке.

Занималась славянскими книгами. Точнее, книгообменом со славянскими странами и советскими библиотеками. Особенно интенсивным был обмен с Государственной библиотекой СССР имени Ленина. Началось все после войны, когда не стало хватать денег на культурные нужды. Кто-то предложил: давайте просто обмениваться книгами. Так и пошло. Австрийцев главным образом интересовала история, книжное дело, библиография. А советские библиотеки просили в обмен книги по истории Австрии, Средней Европы или книги, которые выходили здесь, в Вене.

Сейчас Мария Андреевна на пенсии. С улыбкой вспоминает, как все началось: в 46-м году, после того как в Чехословакии, в Силезии ее лишили родового имения, приехала в Вену.

Генеральный директор Национальной библиотеки искал переводчицу. «Оставайтесь здесь, в Вене, – сказал он ей, – работа будет постоянной». Проучившись два года и сдав довольно трудный экзамен, она стала сотрудницей главной библиотеки Австрии.

Родового герба Разумовских на церкви воскресения я не нашел

Несколько раз Мария Андреевна посещала свою прародину. В первый раз при Хрущеве, последний раз – в 1987 году. Родственников, несмотря на громкую и довольно распространенную русскую фамилию, у нее в России нет, поэтому жила в гостинице. А между тем, дом Разумовских в Вене всегда был открыт для русских людей. Вот и меня пригласили на встречу в этих покоях с Его Императорским Высочеством Великим князем Владимиром Кирилловичем Романовым, который должен был прибыть в Вену на презентацию новой книги о династии Романовых. Особенным гостеприимством семья отличалась, когда были живы родители Марии Андреевны. Именно эта семья едва ли не первой узнала от Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской о том, что они решили не возвращаться в Россию. К Разумовским приходили многие из третьей волны эмиграции, кто сидя в Вене – пропускном пункте в Израиль, Америку и Европу – ожидал своей участи.

Уже после беседы и чая брат Марии Андреевны Андрей Андреевич, журналист из «Франкфуртер альгемайне», повел меня вниз, в полуподвальное помещение-библиотеку. Такое я мог видеть только в фильмах про «осьмнадцатый век». Старинные шкафы забиты старинными книгами. Их сотни, тысячи. По корешкам вижу – им по сто, двести лет. Огромная зала, антикварная мебель, картины, оружие, камин.

– Это наследственное, – сказал Андрей Андреевич. – От отца, деда и прадеда…

…На прощание, уже в дверях, Мария Андреевна попросила меня об одной услуге:

– Посмотрите, не сохранился ли наш родовой герб на фронтоне церкви у Покровских ворот. Это та самая церковь, в которой, по преданию, венчались Алексей Разумовский и императрица Елизавета.

Вена, март 1991

По приезде я сразу же пошел к бывшей (благо живу в двух шагах от нее) церкви Воскресения, «что в Барашах». Внимательно осмотрел фасад перестроенного здания, в котором с конца 20-х годов размещаются государственные учреждения. Родового герба

Разумовских не обнаружил. Утешаюсь тем, что за тысячи верст от Москвы, в Европе, я нашел семью, чья фамилия навсегда занесена в историю России.

Глава 27. Тягостные разговоры с Татьяной Самойловой

…Снова не позвали на «Нику», снова забыли. Кому она нынче нужна – тень в коридорах и буфетах Дома кино на Васильевской?

– Мне необходимы деньги, я бедствую. Я вся в долгах с ног до головы. Пусть не убийственных, но гнетущих, унижающих. Ужасно.

Она вынуждена за деньги давать интервью. Двести долларов? Но разве она актриса меньшего ранга, чем Элизабет Тэйлор или Софи Лорен? Конечно, нет. Тот же бриллиант в оправе мировой кинокороны. Ей просто не повезло. С эпохой, с режиссерами, с мужьями. Она давно ведет затворнический образ жизни. Этакая московская Грета Гарбо. Не снимается в фильмах, не появляется на сцене. Один режиссер убеждал: «Хотя бы в образе Екатерины – и будет сенсация». Не хочет: нет желания, сил, куража. Затащили на пробу, надела костюм, тяжелый, нескладный. Нахлобучила, застегнулась – и вдруг поняла: поздно, унизительно. И сбросила все: нет. Она мало общается с людьми, скрываясь в своей квартирке среди книг, памятных вещей, дорогих фотографий. Тревога не покидает душу. Ее прошлое полно слухов, сплетен, легенд: якобы в Каннах в момент вручения Золотой пальмовой ветви у нее горлом пошла кровь; якобы в юности у нее был убийственный роман с Лановым, но он жестоко бросил ее; якобы в свое время она, не отдавшись режиссеру-вымогателю, потеряла роль, которая навечно утвердила бы ее имя в мировом пантеоне искусств.

– *Узнают ли вас нынче на улицах?*

– Нет, и слава богу. Я боюсь толпы. Я счастлива, что на улицах не мои зрители, не мои поклонники.

Говорят, что Самойлова странноватая: чувства «наружу», озарения, фантомы. Все оттуда – из горячечной молодости, любви, из Вероники. Калатозовский фильм «Летят журавли», получивший в Каннах высшую награду, сделал ее самой известной актрисой планеты. Пусть на час, на день, на месяц, но она побывала на пьедестале. Самое мрачное время ее жизни – сейчас, сию минуту. Сын далеко, за океаном; из близких рядом нет никого. Отец, актер Евгений Самойлов (Щорс, Фрунзе, генерал Скобелев) знаменит, важен, но у него своя судьба, свои счеты с эпохой. Хотела бы уехать куда глаза глядят, за границу.

Но как? К любимому и единственному сыну, в Америку? Или во Францию, где есть друзья? А может, в Венгрию, к мечте юности, где проходили съемки «Альба Регии»? Но кому она нынче там нужна? Радующаяся лишь в минуты, когда есть деньги и можно купить что-нибудь вкусненькое: пирожных, конфет, дорогого сыра. Для нее разорвана связь времен. Гамлет прав – все-таки «не быть». Актеры – хрупкие создания, их легко сломить и сломать. Где сегодня ее подруги-современницы: Зинаида Кириенко, Клара Лучко, Лариса Лужина? Почти забытые, они иногда мелькают на тусовках. Чтобы на минуту воскреснуть, ожить, пообщаться. Все на обочине. И это еще лучший итог. Извицкая давно в могиле – сошла с ума, Гулая – покончила с собой, Майорова – сгорела… Где же вы, поклонники, фанаты?

Я предлагаю ей выставить на аукцион каннское звездное платье.

Татьяна Евгеньевна теплеет, улыбается: «Давайте закурим. Спасибо за идею».

1998

Прошло три года, и вот я снова в гостях у актрисы, в ее квартирке на Васильевской улице по соседству с Домом кино.

– А у нас евроремонт, правда, не все еще доделали, – с порога ошарашивает Самойлова и продолжает: – Не так давно приезжал из Америки сын, отмечали день его рождения, был стол, друзья. Он такой у меня молодец, выслушал сердце, проверил давление – ведь он врач. Выписал кучу лекарств: «Я все пришлю тебе из Америки. В Москве лекарства жутко дорогие…» Сейчас я весьма востребована, у меня активная жизнь. За последние полгода я снялась в нескольких фильмах, играла на сцене, побывала с концертами в разных городах; в Иваново меня просто носили на руках, приглашали еще и еще.

И я теряюсь. Что произошло? Татьяну Евгеньевну будто подменили: она радушна и радужна, на ней праздничное, хотя и черного цвета, платье. Она энергично приглашает к столу, на котором стоит угощение. Теряюсь в догадках: или изменилась она, или изменился я, или иной стала эпоха?

– Татьяна Евгеньевна, значит, ваша тяжелая жизнь в прошлом, или я ошибаюсь?

– Но почему моя жизнь была тяжелой? Не думаю… Одни «Летят журавли» чего стоят, это был мой успех.

– …Но «Летят журавли» имел успех у зрителя, а не у глав государства, которые восприняли вашу Каннскую победу сквозь зубы.

– Да, чиновники видели в Веронике несерьезного героя, не типичного для советского менталитета, почти проститутку.

– Правда, что ради съемок вы ушли из театрального института, потому что по тогдашним меркам нельзя было совмещать учебу со съемками?

– Да, это так. И, к сожалению, я мало показала себя в театре, хотя сыграла много ролей. Но ведь после неслыханного триумфа во Франции казалось, что перед тобой открыты все двери.

– Но все-таки в театре у вас было не все гладко.

– Да, Калатозов – великий режиссер и педагог – боялся повторов. Мне предложили роль Офелии у Охлопкова, причем вместе с отцом (ему было тогда пятьдесят, а мне двадцать). Но Калатозов взял меня в охапку и отправил в Сибирь на съемки «Неотправленного письма», где я и просидела полтора года.

– А фильм-то не очень удачный, хотя и шумный, о нем много писали.

– Я согласна. Оператор, и сценарист, и режиссер получили за него разные премии, а зритель фильм не принял, хотя в нем снимались Урбанский и Ливанов.

– Вы согласны, что народ о вас помнит больше по «Анне Карениной»?

– Я безумно рада, что сыграла Анну, потому что это вещь из девятнадцатого века. Сыграла так, как надо было для своего времени, и, быть может, для режиссера и киношного начальства. Мне сказали, что я буду играть женщину, а не толстовскую философию, что именно Анна Каренина бросает вызов обществу своей безумной запретной любовью. Хотя и гибнет от этой любви.

– У вас, Татьяна Евгеньевна, удивительная творческая биография. Премией в Каннах вы не только обессмертили себя на экране, но и прорвали железный занавес для советского кинематографа. После вашей победы его признал весь мир.

Мне кажется, что ваша личная жизнь не очень удалась. Чего стоят легенды о неудачном браке с Василием Лановым…

– Ну, это был студенческий брак. Мы сидели с ним рядом и занимались учебой. Он всегда был отличником в школе, в институте. Да, собственно, и в институт-то он пришел уже знаменитым. А после «Павла Корчагина» стал почти кумиром. А познакомились мы так: он подошел ко мне и спросил, кто я. Я сказала, что я дочь Самойлова. «Неужели вы папина?» – спросил он. Я говорю: «Да, папина и мамина». «Ну что же, будем знакомы», – поставил он точку. Он стал за мной ухаживать и все повторял: «Ты мне нужна, очень нужна, бросай институт и рожай детей, я буду с тобой всю жизнь». Я же позволила себе не согласиться. И ему многое стало безразлично. Брак оказался неудачным. Вася многого хотел, недаром он был уже звездой. И все-таки мы прожили шесть лет.

– Но я слышал и другое: будто вы расстались с Лановым из-за того, что, когда вы объявили ему о своей серьезной болезни и подозрении на туберкулез, он вас просто оставил? Уехал в длительную командировку в Китай?

– Это не совсем так, а может быть, и не так. Мы пробовали сохранить семью, но было трудно: кастрюли, готовка, быт…

Да, действительно, в 1957 году мне сделали операцию на легком и повредили плевру. В свои двадцать три я села на уколы пенициллина и боялась, что окажусь инвалидом. Я сказала Васе, что мне больше ничего не хочется в этой жизни. И он ушел. Мы оба рыдали. Обидно было обоим. После случившегося у меня было много предложений от поклонников, но я уже никому не верила.

– Зато со вторым мужем писателем Валерием Осиповым вы прожили долго.

– Да, мы прожили бы с ним всю жизнь, но он умер, к сожалению, в возрасте пятидесяти пяти лет. Он заботился обо мне, как о ребенке. Сдувал с меня пылинки, за ним я была как за каменной стеной.

– Татьяна Евгеньевна, я чувствую, что вы очень домашняя женщина. Вам нужна семья.

– Да, да, это так. Особенно я стала такой после рождения Мити. У меня была семья, няня, которая готовила, покупала продукты. Я любила поесть, мои любимые блюда – бульоны, пельмени, миноги. От родителей я жила отдельно.

– Неужели вас «не развратили», «не расковали» вояжи в капстраны, о которых в сладостных снах мечтали все советские люди? Я слышал, что, долго прожив в Венгрии, вы разбогатели?

– Да, целых два года я жила в Венгрии и снималась в фильме «Альба Регия». Действительно, мне платили бешеные по тем временам гонорары, хотя и не просто так, ведь я выучила сложнейший венгерский язык. Я получала в день тысячу форинтов – столько, сколько получали в месяц венгерские актрисы. Приехала в Москву на «Опеле», по тем временам это была редкость. Даже у Высоцкого еще не было машины.

– Вы знали того Высоцкого, которого еще никто не знал…

– При моем содействии и хлопотах Марина Влади впервые приехала в Москву. Я была тогда на показе фильма «Летят журавли» и познакомилась с Мариной. И когда наши бонзы Госкино предложили Марине посетить Москву, она сначала засомневалась. Но мы ее убедили, что в России ее знают и тепло примут. Она приехала. И познакомилась с Высоцким, и между ними вспыхнул роман.

– Это правда, что в вас влюбился сам Пабло Пикассо?

– Он был и впрямь влюбчив, но я видела его всего лишь раз. Пикассо, после просмотра фильма с моим участием, подошел ко мне и сказал: «Ну вот вы и звезда. Вы больше уже никого не помните и не знаете никого, кроме себя». Я, возможно, нескромно сказала: «Вы хотите меня нарисовать? В Москве меня рисовал мой любимый художник Илья Глазунов». Пикассо встрепенулся: «О, Илья Глазунов, я тоже его очень люблю. Но вас рисовать не буду. Я вам просто подарю свою работу, вот эту плитку с Христом». Я, конечно же, была в восторге и до сих пор храню эту реликвию.

– А фильм-то ваш великому Пикассо понравился?

– Безумно. Ему очень понравилась работа оператора Урусевского, и он сказал ему: «Вы не снимаете светом, вы рисуете светом».

– Татьяна Евгеньевна, какая же у вас богатая биография! Но как же вышло, что вы не снялись в Голливуде, ведь вас туда звали на съемки «Анны Карениной»?

– Да, я очень переживала, когда сорвалась эта затея и я не смогла ответить на приглашение. Тут несколько причин. Одна из них – та, что я, снимаясь в «Альбе Регии» и изучая венгерский язык, стала забывать английский.

– Но я слышал другое: наши киночиновники посчитали, что вам и так уже много отдано, да и неизвестно, как бы вы повели себя, вырвавшись на свободу.

– Конечно, я не знала всей кухни в верхах, но, возможно, такое мнение имело место.

– Как к вам относилась Екатерина Алексеевна Фурцева, тогдашний министр культуры? Пришлась ли ей по душе Вероника?

– Сразу же после Канн меня позвали в министерство, и я встретилась с Фурцевой. Я сказала, что немного устала, что переболела болезнью Боткина и хочу немного отдохнуть. И Фурцева вызвала моих папу с мамой и предложила им в пользование в качестве дара участок земли в Переделкино площадью 28 соток. Ну, конечно же, на всю нашу семью. До сих пор в разросшемся саду мы собираем урожаи и очень любим там бывать.

– Вы живете одна?

– Одна, в этой квартире, среди книг и фотографий.

2001

Глава 28. Цыганка Валентина Пономарева не гадает

Роковая восхитительная женщина. Безграничный талант. Глубинная душевная щедрость. Уникальный голос. Царица русского романса Валентина Пономарева. Авторитетнейший Кембриджский международный биографический центр оценил содеянное исполнительницей джаза, цыганских песен и русского романса Пономаревой как яркий вклад в историю цивилизации и внес ее имя в специальное издание «500 выдающихся личностей XX века». Мало того, имя певицы вошло в английскую версию справочника «Кто есть кто», а один из ее джазовых дисков был признан лучшим в мировом реестре. Русская цыганка пела на самых элитных сценах Нью-Йорка, Рима, Лондона, Парижа…

Мы знакомы с Валентиной Дмитриевной много лет. Она участвовала в первой передаче моей «Зеленой лампы». Мы подружились, я даже задумывал написать о ней биографическую книгу, но пока собирался, она написала о себе сама.

Я пришел к «человеку столетия», как к простому смертному – душевной красивой женщине. Накануне она слишком долго радовала публику на творческом вечере и растянула голосовые связки. Говорила шепотом, рядом хлопотал муж. «Интервью даю тебе по блату», – пошутила Валентина, ставя передо мной стакан лечебного гриба из двухлитровой банки. «Пей и будешь вечно молодым», – прошептала она, и я приблизил прямо к ее горячим губам свой диктофон.

– Ты, знаешь, я долго обижалась на Эльдара Рязанова. Почему он не поставил мое имя в титрах фильма «Жестокий романс»? Ведь я тоже внесла свою долю в завоевание славы этой ленты, исполнив инкогнито, за кадром, романс на стихи Беллы Ахмадулиной «А напоследок я скажу…» и другие романсы. Фильм получал премии, он стал лучшим фильмом 1985 года, он принес режиссеру, актерам и деньги, и славу. А меня не пригласили даже на премьеру в Дом кино. Раз моей фамилии не было в титрах, значит, не было и певицы Валентины Пономаревой.

– Явная несправедливость. Романсы в твоем исполнении стали эмблемой фильма. Я бы сказал больше: «Жестокий романс» – это тот фильм, где поет Валентина Пономарева. То есть для многих зрителей фильм остался в памяти именно благодаря твоему голосу.

– Ну да ладно, давно уже не держу зла на Эльдара

Александровича. Знаешь, так значит и должно было быть. Я верю в судьбу, в рок и считаю: чему быть, того не миновать. У меня, к счастью, хорошая карма, которая делает меня счастливой. Не надо сердиться, держать на людей зла. Каждому воздается свое.

«Я определяю сексуальный тип мужчины по тому, как он танцует и как ведет машину…»

– Брак с Константином Гогунским, участвовавшим в создании твоего Музыкального театра, твоим аккомпаниатором, потряс в свое время многих. Зрители задавались вопросом: кто из двух молодых красавцев рядом с тобой на сцене муж, а кто – сын. Еще бы, у тебя с мужем немалая разница в летах. В советские времена такое выглядело почти вызовом обществу. Вы счастливы вместе?

– Да, счастливы. И это тоже судьба, карма. Бог послал мне прекрасного человека, ставшего настоящим другом и опорой. Он – мое счастье. Об этом я могу говорить бесконечно.

Я своего возраста никогда не скрывала. От возраста бегут те, кто хотел бы спрятаться от каких-то комплексов. Я не скрываю возраста, потому что со мной все в порядке, во всех смыслах. Мало того, я уверена, что впереди у меня полноценная, полнокровная и долгая жизнь. Образцами для меня в этом плане всегда были Элизабет Тейлор и Софи Лорен – дамы, которые не только не боятся своего возраста, но и дают советы молодым женщинам, как продлить молодость и сохранить красоту.

Мою сексуальную жизнь во многом определили нравы в семье и цыганские традиции. Отец-цыган со своей русской женой, моей мамой, прожили пятьдесят лет вместе, и мама, кроме него, никого не знала. Несмотря на свой разгульный образ жизни, меня отец крепко держал в узде. Да так крепко, что, смешно сказать, до 23-х лет я была фактически нецелованной. Звучит дико, если учесть, что нынешние 13-летние девочки уже рожают, а 23-летних девушек иные мужчины считают старыми девами. Своего сына я родила в 24.

Что такое цыганская свадьба? Это когда гости не поднимают чарок до тех пор, пока из алькова не вынесут свежеокровавленную простыню невесты и не покажут ее матери с отцом и всем гостям. Если все в порядке, начинается пир горой. Если же, не дай бог, что-то не так, позор падает на весь род. И эти настоящие ритуальные цыганские свадьбы проходили на моих глазах. Конечно, меня коробили дикие цыганские нравы, лицемерие отца, который гулял напропалую. И выдержав все традиции неписаного цыганского кодекса, родив первенца, я тут же, словно в отместку за закрытую пуританскую молодость, развелась с мужем, ушла из дома и стала (о, боже) петь в джазе! По тем временам джаз считался самой крайней, почти

разнузданной степенью музыкального искусства.

И я стала вести богемную жизнь. Я ощущала желание наверстать упущенное и ко мне чудовищно точно подходила в то время дурацкая мораль: «жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Смысл этих слов впрямую отражало мое отношение к молодости, мое женское начало. Я не хотела быть до отупения терпеливой, какой была в отношении с мужем моя мать. Я должна была все испытать, все перечувствовать-перепробовать, чтобы в следующем браке быть абсолютно счастливой. И я гуляла, чувствовала, проникалась опытом почти двадцать лет и вышла замуж второй раз в 43 года.

И вот что любопытно. В юности мне страшно нравились взрослые, даже пожилые мужчины. «Пожилые – значит опытные, они научат меня всему», – думала я. Когда же я всему научилась в любви, во мне произошла переоценка ценностей и меня стали привлекать мужчины намного моложе меня. В 43 года я вышла замуж за мужчину, который был моложе меня на 15 лет. И в его, и в моей семье этот брак был встречен решительным осуждением. В его семье был полный караул: единственный сынок, красавец-парень, любимый, талантливый, перспективный, интеллигентный. И вдруг – цыганка старше его на целое поколение, разгульная москвичка-джазистка. Кошмар! Одесское невинное дитя попало в темный омут.

А я считала, что Костю мне послал Бог в искупление всех моих грехов. И как раз в тот момент, когда я решила остановиться в своих любовных приключениях. Но вот что поразительно – Костя принадлежал к тому типу мужчин, которые мне не нравились и сексуально меня не волновали. Он не был тем электродом для вольтовой дуги, который в слиянии с моим пламенем создавал бы мощный разряд. Но Всевышнему было виднее.

Это случилось на джазовом фестивале в Санкт-Петербурге, когда в антракте я сидела в кафе вместе со своими друзьями Сергеем Курехиным и Володей Черкасиным. Огромный стол, выпивка, закуска, шумно, весело, прикольно. А в дальнем уголочке притулилось нечто белокурое, светлое, тихое, с ангельскими глазами. Я туда даже не смотрела. Но вот заканчивается антракт, прозвенело три звонка, и я вижу, что это «нечто» поднимается в полный рост, поправляет свои длинные, по плечи, волосы и тихой, легкой походкой приближается ко мне. Я, не дав ему сказать ни слова, интригующе приветливо объявляю: «Молодой человек, а может быть, мы опоздаем на концерт и выпьем по чашечке кофе?» Во мне в те минуты сидел черт, ибо я понимала, что этот Апполон совершенно не мой человек и не мой

мужчина. Я его спрашиваю: «Вы любите джаз?» И по глазам вижу: он любит джаз. Идем слушать музыку, взявшись за руки. И вот так по сегодняшний день…

Через два дня он приехал ко мне в Москву, поселился вот на этом диване и изменил всю мою жизнь: молодой, красивый, интеллигентный, тихий…

Позже я поняла – он меня просто уравновесил, успокоил, умиротворил.

Мой Костя вылитый Христос. Аж страшно. Однажды в Японии идем по сельской дороге, трогаем вишни, которые только что расцвели, навстречу школьницы, видят мужа, останавливаются как вкопанные: «Христос, Христос» и чуть ли не на колени.

Костя долгие годы терпел мои выходки, мое бешенство и, в конце концов, изменил мою сущность. Я думала, что буду из него вить веревки, но у меня ничего не получилось, это он переделал меня настолько, что я каким-то удивительным образом успокоилась и почти остыла.

Как мгновенно определить сексуальный тип мужчины? Я вывела для себя несколько рецептов. Скажем, я сразу определяю, мой мужчина или нет, по манере вести машину. Я никогда не сажусь на место рядом с водителем, женщина ему не должна мешать своей аурой. Близко соприкасающиеся ауры – опасная штука. Когда я была еще свободна и в машине садилась на заднее сиденье, я интуитивно и визуально определяла сексуальность человека за рулем.

Я научилась определять партнера по тому, как он танцует. Нет, не обязательно, чтобы он танцевал хорошо. Но по некоторым наблюдениям, по его движению, темпераменту, манере сближаться с партнершей в танце я безошибочно определяю свой тип.

…15 лет мы с Костей вместе работаем. Он прекрасный гитарист, обожает джаз, ценит и романсы. Романс – это моя душа, а джаз – это все. Слово «джаз» еще недавно сочеталось с понятиями запретного, разгульного, развратного, непотребного. Обо мне говорили, что я колюсь, что я наркоманка. Я переживала, но как только я прикасалась к джазовым мотивам, импровизациям, я эмоционально разряжалась. Мне не надо было ни курить, ни колоться, ни пить. Я до сих пор не пью даже кофе. Когда я начинаю петь, я – дьволица, я сумасшедшая, я псих. Во мне открывается космос. Я вижу и чувствую все, и прошлое и будущее.

«Звони мне в любое время», – сказала Терешкова

– Ты объездила весь мир. Афишами с твоим именем оклеены столицы Америки и Европы. Скажи, чем же близок русский романс западному слушателю?

– Дело в том, что слово «рома» в переводе с английского – «романтическое, любовное приключение». Я неоднократно сталкивалась с тем, что когда объявляли: «Валентина Пономарева представит русский романс», – думали, я буду рассказывать о какой-то любовной интрижке, романтическом приключении. И мне приходилось и впрямь читать лекции о глубоком любовном чувстве, воплощенном в слове и музыке. И я поняла, что о любви можно говорить и петь на любом языке – люди поймут. Любовь – это легко объяснимо.

Лучше всего мои выступления проходили в Японии, где вообще никто не понимал слов. Японские зрители больше смотрели на моего аккомпаниатора-мужа, обликом похожего на Христа, бледного, с распушенными волосами. И слушали. Успех был полный. По-видимому, они решили, что Иисус Христос и я – это и есть любовь. Потом мне объясняли детали, дескать, вашим нежным голосом, похожим на голоса наших женщин, можно петь только о любви.

– Ты цыганка благородных музыкальных кровей. Цыгане считаются вольнолюбивым народом. Были ли в твоем общении с людьми эпизоды, когда особенно проявилась твоя цыганская натура?

– Да, вспомнить есть о чем. Например, ту подмосковную дачу, куда нас привезли на черных «Волгах» с затемненными стеклами. Охраны тьма, через каждые десять метров ребята без галстуков. В уютной комнате готовимся к выступлению, выходим в красивый, просторный, отделанный лепниной зал. Столы ломятся от снеди. За столами космонавты. В глазах рябит от золота орденов и медалей. Кто до нас выступал перед покорителями космоса, мы не знали, кто будет после – тоже тайна. Я поняла, что нас выпускают именно в тот момент, когда мы были нужны. Ведущий объявляет: «Пока наша замечательная, единственная в мире Валентина Терешкова летала в космос, другая Валентина на Земле небесным голосом пела „Луны волшебной…“». И мы, трио «Ромэн», начинаем петь.

Пою, забавляю почтенную публику, а прирожденное чувство юмора, которое всегда и во всех ситуациях меня выручало,

толкает на какую-то выходку, игру. Вот ты, надеюсь, не спросишь меня, как многие другие журналисты, гадаю ли я. На картах, по руке… Я и в самом деле не гадаю, но в тот час, когда рядом со мной была самая знаменитая женщина планеты, я решила похулиганить. Беру в руки бокал с вином, подхожу к Терешковой и так по-свойски, запросто, заговорщически говорю ей: «Валентина, приблизься ко мне, я тебе пару слов скажу».

Терешкова и Николаев настораживаются, но она все же выходит из-за стола, и я начинаю лепить героине Вселенной черт знает что про жизнь, про дальние дороги, про будущее. Я куражилась, а Терешкова внимала каждому моему слову. И вдруг неожиданно она дает мне свой телефон. «Звони мне, – говорит дрожащим голосом, – только смотри, никому не давай этот номер. Это мой прямой телефон. Я сразу беру трубку». Представь, что значило для советского человека в те закрытые времена такое доверительное отношение легендарной женщины, облеченной доверием и вниманием сильных мира сего. Мне, проживавшей в Москве без прописки, без жилья, без друзей, без покровителей. Даже мой маленький сын находился в интернате. Тогда в моей судьбе были сплошные проблемы…

– Ну и ты, конечно, воспользовалась подарком небес? Хоть в самом малом?

– Не поверишь, ни разу не позвонила. Я и сегодня не знаю, действует ли этот пароль, сменился ли таинственный номер? Но звонить я уже не буду никогда. Мне нынче ничего не надо, я уже ничего не боюсь. Да и кланяться в ножки так и не научилась. Вот что такое цыганская гордость.

– Нынче мир завоевывает попса, авангардная абракадабра. Ты вышла из джаза. Как, впрочем, и Лариса Долина, которая заявила как-то, что джазом больше не занимается.

– И для меня, и, я уверена, для Ларисы джаз – любовь навсегда. Я не верю, что Долина разлюбила джаз, у нее наверняка все внутри трепещет при звуках блюза. Потому что это такая зажигательная музыка, которая ни за что не отойдет, которую не забудешь. Это как проклятие, которое, коснувшись, тебя уже не оставляет.

– Один из первых твоих джазовых альбомов «Предсказательница», изданный в Англии еще в 1985 году, вошел в десятку лучших музыкальных альбомов планеты.

– Конечно, я горжусь тем альбомом, что говорить. Бывает, и сегодня я возвращаюсь к джазовым номерам. Недавно в Москве прошел фестиваль джазовой музыки. Я не утерпела. И что же? Мои связки шли на разрыв, но я спела целую программу. Джаз – это не романсы напевать. Это и впрямь, как у Мандельштама,

помнишь, «играй же на разрыв аорты…».

– С главным рокером СНГ и Вселенной продолжаешь общаться? Или пути-дороги разошлись?

– С БГ? Когда-то мы были вместе. Несколько лет я плодотворно сотрудничала с «Аквариумом». Что называется, ели манную кашу из одной тарелки, в каких-то подвалах гоняли не только чаи. Недавно «Аквариум» выпустил компакт-диск с записями как раз той давней поры. Нашей совместной поры. И сегодня я иногда с юмором воспринимаю восседание Бориса Гребенщикова на небесах славы.

– Но и ты рядышком на тех же небесах. Тебя принимали цари и императоры, королева английская и султан оманский…

– Феликс, не фантазируй. Перед королевой Елизаветой выступать не приходилось. Но мои творческие заслуги перед владычицей морей и океанов Великобританией были отмечены совершенно неожиданным образом. Когда-то эта история была для меня трагической, но время, как мы знаем, лечит любые раны. И сегодня многое встало на свои места. Лет восемь назад вместе с сыном я поехала на гастроли в Англию. В Лондоне сына попросили задержаться для записи. Он остался, а я уехала в Москву. Через несколько дней раздается телефонный звонок и сын заявляет: «Мама, я хочу остаться здесь…»

Ошарашенная неожиданной новостью, а времена-то еще были советские, я попросила его не говорить резкостей по телефону и подумать о жене и сыне, которые у него оставались в Москве. Повесил трубку, а через несколько дней новый звонок: «Все что угодно, но высылай сюда мою семью и помогай». Что делать? Это при моем-то гордом характере. Но ради сына! И я звоню доброй моей знакомой, в доме которой много раз бывала в гостях, – жене английского посла. Так, мол, и так, хочу повидаться. Назначается файф-о-клок, послеобеденный чай. Прихожу, говорим о русской поэзии, о музыке, но по прошествии какого-то времени миссис стучит ложечкой по чашке и игриво говорит: «Ну, душечка, это не главное, зачем вы пожаловали, выкладывайте, что случилось».

«Миссис, у вас есть дети?» – спрашиваю я. «Да, есть дочь, она живет в Лондоне». – «Мой ребенок сейчас тоже находится в Лондоне, он больше не хочет возвращаться в Россию, помогите отправить к нему жену и сына». Легко сказать, помогите. Я сама видела перед посольством огромную толпу людей, которые ночами напролет у костров ожидали очереди за визой. Миссис нажимает звоночек, входит такая чистенькая канцелярская дама, и моя благодетельница дает ей команду: «Оформите выезд». Когда я выходила из посольства и снова увидела толпу жаждущих и страждущих, я поняла, какое счастье мне подвалило. Через

несколько дней мой сын соединился со своей семьей.

– Ну и как сегодня поживает сын? Чем он занимается?

– Живет в Дублине, в столице Ирландии. Чем занимается? А что могло выйти из моего живота, какой продукт? Только музыкант. Он скрипач, у него потрясающая группа «Лойко», они объездили весь мир. Ты знаешь, я считаю, что дети должны быть лучше нас. И мой сын действительно лучше меня. Он становится знаменитым, имеет какие-то регалии, премии. Его мечта приехать на гастроли в Москву. Приехать, но не остаться на Родине, ему многое не нравится из того, что происходит у нас сегодня. Его сын, мой внук, восклицает: «Бабуля, у меня все о'кей». И радуется сердце, пусть моему ребенку будет хорошо.

– Ну а самой-то, если честно, не хочется пожить в разных странах, где тебя знают и любят?

– Однажды что-то екнуло, когда я жила в Америке более полугода. Это были как раз переломные для России годы – начало 90-х. Но потом поняла: нет, не смогу. Меня тянули корни, тянула мама, тянули те люди, без которых я и впрямь мало что стою, мои поклонники, любители русской песни, романса. Может быть, когда уйду со сцены, когда здесь не буду уже никому нужна, когда и мамы моей не будет на свете, может быть, тогда захочу соединиться с любимым сыном. А вообще-то я не думаю ни о прошлом, ни о будущем. Живу сегодняшним днем, горячей жизнью.

– Еще бы, цыганская натура. Нынче здесь, завтра там, песни, пляски, табор, костер…

– Отчасти так. Поскольку цыгане живут обособленно в своем вакууме, они и сохранили свою самобытность. У них свои ценности, свои идеалы, и в этом смысле я, конечно же, цыганская женщина.

1998

Глава 29. Алла Баянова: «я ощущаю, что не сделала великой карьеры»

«От вас Россией за версту пахнет…»

Певица Алла Баянова родилась в 1916 году в Кишиневе. Отец Николай Баянов – русский оперный певец. Музыкальное образование, уроки вокала получила у отца. В 1918 году, когда Бессарабия отошла к Румынии, семья оказалась за границей. В Париже Алла в тринадцать лет стала профессиональной певицей. В 1933 году переехала в Бухарест, во время войны оказалась в концлагере. Много раз пыталась вернуться в Россию, чтобы петь на родине. С 1989 года живет в Москве и за одиннадцать лет дала более тысячи концертов. Выпустила несколько дисков и пластинок. Ее репертуар: цыганские таборные песни, романсы, песни 30—60-х годов, зарубежные шлягеры. Народная артистка России с 1999 года.

На пресс-конференции после своего творческого вечера на вопросы журналистов отвечала изумительной красоты женщина. Отвечала открыто, эмоционально. Я спросил Баянову, как она относится к современной эстраде: к Кобзону, Пугачевой, Киркорову или Земфире. А когда пришел в гости к Алле Николаевне в ее квартиру на Старом Арбате, она с порога словно продолжила пресс-конференцию:

– Земфира – такого сорта непредсказуемый персонаж, что за мои высказывания о ней когда-нибудь ее команда в каком-нибудь темном уголке так мне надает, что…

– Алла Николаевна, не бойтесь, это же полемика. Земфира наверняка понимает огромную разницу между ее поколением и вашим. Ваши вкусы как две разные планеты.

– На днях меня пригласили в жюри конкурса красоты по избранию какой-то там «Миссис Москвы». Мероприятие, в общем, интересное – соревновались молоденькие мамочки, и я с удовольствием наблюдала за красивыми стройными московскими леди. Но каждый сантиметр подиумного пространства освещался мощным потоком света, вокруг горели лампы и прожектора – синие, лиловые, красные, – и все двигалось, полыхало. От этой иллюминации публика чувствовала себя неуютно. А я тем более. Но оказалось, что это все цветочки. В честь победительниц был дан такой концерт, что я не выдержала. На сцене начался сущий

ад: ор, грохот, рев, мяуканье, лай. Один махал микрофоном, точно ковбой пистолетом. О чем он пел и под какую мелодию? Наверное, знал только он один. Нельзя ничего было понять. Я в шоке ретировалась из зала. Заболело сердце, к машине шла шатаясь.

– Ну, вот видите, какая пропасть между тем, как это все происходило в ваши молодые годы в Европе, где вы жили, и тем, что происходит нынче в России. Но мне кажется, что все же совсем отвергать эстраду XXI века нельзя. Кстати, вы очень красивы. Наверное, сами тоже когда-нибудь участвовали в подобных конкурсах?

– Участвовала. Тогда я была слишком юной, мне было семнадцать лет… Было это в Париже, где я жила с родителями и где прошла часть моего детства и юности. С Парижем многое связано. Именно там на меня как на начинающую певицу обратил внимание Александр Николаевич Вертинский. Он меня обласкал, а своим искусством произвел на мое пылкое воображение безумное впечатление. Второго такого певца и человека я в своей жизни больше не встречала.

– Говорят, он очень любил красивых молоденьких женщин. Наверняка пытался ухаживать и за вами.

– Вы знаете, нет. Все наоборот, я охраняла его от наскоков пылких дам. Он мне говорил: «Аделаида (почему-то он так звал меня), спасай, в зале акулы, спрячь меня куда-нибудь».

– Совместные с ним выступления были?

– Один раз мы дуэтом спели «Молись, кунак…» (Алла Николаевна запела эту старинную песню, и я не мог не восхититься ее голосом. – Ф. М.). Это было прекрасно, я очень волновалась, но потом ужасно гордилась. Пели мы в ресторане, что по тем временам было совершенно естественно. Вся музыкальная культура вышла из ресторанов и кабаков: и Вертинский, и Морфесси, и Настя Полякова. Ресторан был подиумом к чему-то более высокому. Ведь тогда не существовало ни театра «Ромэн», ни эстрадных театров.

– Великие русские певицы Вяльцева, Плевицкая прошли мимо вас?

– Я их не знала, они были старше. Но мне очень нравилась Надежда Плевицкая, я слушала ее на пластинках, и даже не очень хорошего качества, но и по ним я понимала, что это большая певица.

– Скажите, а позже, в 30—60-е годы, что знали вы, проживая в Европе, о русском искусстве? Слышали о Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, Лемешеве, Козловском, о балерине Улановой?

– К сожалению, почти ничего. Ведь существовал железный

занавес.

– Зато рядом с вами был великий Шаляпин.

– Это верно. Много раз я слышала его, а однажды в Бухаресте, где я работала в коллективе Петра Лещенко, мне посчастливилось общаться с ним в течение целого вечера. Но о Шаляпине можно долго рассказывать. Оставим эту тему на другой случай. В Париже тогда жила знаменитая балерина Кшесинская. Помню, как с моим отцом артистом мы выступали в Монте-Карло, в баре «Абрек». И вдруг струнный оркестр умолк. Я глянула и увидела, как в зал входит Матильда под руку со своим мужем. Оркестр заиграл в ее честь «Испанский танец» из балета «Лебединое озеро».

– Говорят, она была очень красива. Ведь сам Николай II был в нее влюблен.

– Нет, красивой я ее не находила. Но обаяние и какая-то магическая аура были при ней. Вся первая волна эмигрантов сплетничала, шепталась, что государь подарил Кшесинской не только дворец, но двенадцать солитеров. Вот вы наверняка не знаете, что это такое. Солитер – это большой бриллиант голубой воды. В переводе означает единственный, одинокий. Так вот, на балетной туфельке знаменитой балерины красовалось целых двенадцать солитеров.

– Выходит, вы мало знали о тогдашнем СССР. Но было ли предчувствие страшной катастрофы, войны, надвигавшейся на Европу?

– Да, было. Мой отец, участник Первой мировой войны, служил в 8-м Гвардейском кавалерийском полку, был дважды ранен. Смелый в своих суждениях, он говорил о Гитлере, о Сталине, они с мамой прививали мне и поддерживали горячую любовь к России. Помню, когда я была еще ребенком, отец посадил меня на колени, обнял и сказал: Знай, что нет на свете страны лучше России. Ты будешь жить своей жизнью, идти своим путем, но настоящее счастье придет к тебе, когда ты вернешься в Россию. И я рвалась в Россию. Всю жизнь. Но прорваться было невозможно. То не впускал КГБ, то не разрешал отъезд Чаушеску, то еще какие-то обстоятельства.

Из Франции мы уехали в 30-х годах. Путешествовали по миру. Объехали весь Ближний Восток, побывали в Израиле, по-тогдашнему, в Палестине. Впечатлений в памяти осталось много. Я помню то, что многие уже не помнят и не знают. Меня удивил тогдашний Тель-Авив, безлюдный, пыльный маленький городишко, в котором еще не было переселенцев. Страшное впечатление оставил Иерусалим. Заброшенным выглядел огромный собор, в котором хранятся Христовы святыни. А в Генуе

мама меня сразу же повела на кладбище и показала знаменитые мемориальные скульптуры. Мне казалось, что они вот-вот оживут, так совершенны они были. Творения Микеланджело и Леонардо я видела еще тогда в оригинале. В Италии же позже я узнала о великом Карузо, а Марио Ланца еще только начинал.

– Вы упомянули имя Чаушеску, который, как я слышал, был вашим злым гением. Но ведь этот диктатор, как и многие тираны мира, не был лишен сентиментальности и любил внимать голосу муз.

– Да, это чудовище любило музыку, в особенности романсы. Он даже коллекционировал пластинки. Слышал он и обо мне. Чаушеску взбеленился после одного моего выступления по румынскому телевидению. Почему взбеленился? Потому что я пела только по-русски. Я не могу представить, скажем, как по-румынски петь «Очи черные». И тиран взорвался, он приказал мне петь только на румынском языке. Однажды он прислал ко мне людей в штатском, которые известили меня, что Николае Чаушеску пожелал иметь у себя мою запись пяти романсов на румынском языке. Что делать? Ночи напролет я переводила русские романсы на румынский. И сделала запись. Через две недели люди-невидимки пришли ко мне снова, чтобы сообщить приговор: «Товарищ Чаушеску прослушал один романс и сказал, что от вас Россией за версту пахнет, а нам таких не надо».

И я пуще прежнего попала в опалу. Мне перекрыли кислород, жизнь становилась невыносимой. А уехать в Россию было очень и очень трудно. Ничего не мог сделать и советский посол в Бухаресте, который был ко мне внимателен и приглашал на дипломатические приемы. Спас меня Михаил Горбачев. И 22 декабря 1989 года после полувековых скитаний по чужбине я вернулась на родину.

– В этой уютной комнатке, где мы разговариваем, наверное, и часть вашей прошлой долгой жизни. Я смотрю на старые фотографии – на них ваши отец и мать?

– Кроме этих фото ничего у меня не осталось от прошлого. Ведь я уезжала в СССР как бы на время, полагая, что меня снова выпрут обратно, как какую-нибудь изменницу, и с собой взяла лишь маленький чемоданчик. А вышло, что приехала навсегда.

– Понимаю, что вы давно уже вжились в нашу жизнь, в нашу демократию, в наш капитализм. И как вам живется-поется? Хватает ли пенсии? Или приходится выходить на сцену не только ради удовольствия?

– Ради удовольствия, как говорил Шаляпин, только птички поют. Хотя я давала очень много благотворительных концертов. Особенно люблю выступать перед моряками, которых я обожаю,

перед блокадниками, инвалидами войны и, не удивляйтесь, милиционерами. Я их, конечно, не боюсь, стараюсь быть законопослушной, но жизнь у них нынче тоже нелегкая. Так что выступаю и за гонорары, мне кормить надо и своих помощников (они вас встречали в прихожей), и мою большую семью. Тем более, недавно она увеличилась сразу на три души. Там в углу в коробке спят три котенка. Они недавно родились. Их мама тоже со мной, а чтобы им всем было не скучно, я собираюсь подарить им общество двух прекрасных собачек.

– Алла Николаевна, что это у вас за орден на груди? Уж не мама ли вы героиня?

– Не шутите, это серьезный знак – я народная артистка России. Надела специально для вас. Как это в рекламе, ведь я его достойна. Хотя место на эстраде и народному артисту нелегко завоевать. Тем более мне, приезжей. Вся эстрада схвачена мафией. Не пробьешься, не пролезешь. Кругом кордоны. Мечтаю прорваться к самому Лужкову, поговорить с ним. Но как прорвешься, когда даже по его заместителям стреляют нынче прямо на улице. Ему, видно, еще долго будет не до моих романсов.

– Не обижайтесь, но мне кажется, что при вашем прекрасном голосе и необычной биографии ваша творческая карьера не достигла своего возможного пика. Вы могли бы завоевать весь мир.

– Спасибо, но я тоже ощущаю, что не сделала великой карьеры. Ни в творческом, ни в материальном планах. Так, видно, было угодно Богу. Но я не слишком переживаю и живу сегодняшними радостями.

2001

Глава 30. Анель Судакевич: последняя звезда немого кино

«Я смерти не боюсь, я зову ее. Я устала жить…»

Анель Судакевич (1906–2002), известная советская актриса, художник. Настоящее имя – Анна Алексеевна Судакевич. Родилась 28 октября 1906 года в Москве. Училась в Студии Ю. Завадского (1925–1927). В кино начала сниматься с 19 лет. В 1927–1933 годах – актриса киностудии «Межрабпомфильм». С 1934 года Анель Судакевич работала художником по костюмам. Заслуженный художник РСФСР (1969). Говорят, что кокошник, в котором Судакевич снималась в фильме «Победа женщины», был подарен американской актрисе Мэри Пикфорд во время ее пребывания в СССР.

Фильмы, в которых снималась Анель Судакевич, такие как «Мисс Менд», «Приключения трех репортеров» (1926), «Земля в плену» (1927), «Кто ты такой?», «По ту сторону щели» (1927), «Победа женщины», «Боярин Никита Юрьевич» (1927), «Поцелуй Мэри Пикфорд», «Король экрана», «Повесть о том, как поссорились…» (1927), «Потомок Чингисхана» (1928), «Иван Грозный» (2-я серия, сказ второй «Боярский заговор», 1945), «Агония» (1974–1981), «Маленькие трагедии» (1979), хранятся в архиве Госфильмофонда России, и их лишь изредка показывают в Доме кино.

«Сегодня я еще не выходила в Елисеевский»

– Да, вы можете посетить меня, но имейте в виду, я нынче не в форме. Тепло еще не включили, и я укуталась в три свитера и двое брюк. В таком виде снимать меня нельзя, поэтому будем только разговаривать. Кстати, мне нечем вас угостить: кроме сосисок, жареной картошки, мармелада, чая и отлично вымытого изюма, у меня ничего нет. Сегодня я еще не выходила в «Елисеевский».

Для кино– и циркового искусства XX века Анель Судакевич – глава в энциклопедиях и учебниках. А в генеалогической, семейной, московско-светской тусовке красавица Анеля – вдова Асафа Мессерера, блистательного танцовщика, главного балетмейстера Большого театра; мать известного всему театральному, культурному миру художника – академика Бориса Мессерера (мужа Беллы Ахмадулиной); тетя Майи Плисецкой и вообще глава огромного клана служителей Терпсихоры и Мельпомены, разбросанных по всему свету.

– Когда знаменитая артистка МХАТа Андровская с ордером в руках осмотрела эту квартиру, она показалась ей темноватой, и та не захотела сюда въезжать. Тогда Молотов написал личное распоряжение, чтобы квартиру дали моему Асафу. С той поры, то есть с 1938 года, я живу в этом доме.

– Имена некоторых ваших соседей, народных артистов, любимцев публики, живших в этой легендарной «хибаре», можно прочесть на фасаде, облепленном мемориальными досками. А с кем вы нынче соседствуете?

– Уже много лет я мало с кем общаюсь. У меня свои привязанности. Напротив живет Игорь Кваша, с ним и с его женой у меня добрые отношения.

– Завидую Игорю Владимировичу. Вы, ему, наверняка, не один раз рассказывали о знаменитостях XX века, с коими приходилось общаться. О Мэри Пикфорд, например, – одной из самых легендарных американских актрис.

– Да, Пикфорд была и впрямь феноменально популярна в 20—30-е годы. А познакомилась я с ней, когда она приехала в Россию вместе с не менее известным в те годы актером Дугласом Фэрбенксом. Я тогда играла в немом кино. Как раз во время визита американских звезд я снималась с Игорем Ильинским в одной ленте, и «Межрабфильм» организовал фотосъемку для

плаката, на котором мы вчетвером и изображены. Приезд голливудских звезд вызвал в Москве невероятный ажиотаж. Гости посетили кинофабрику, и на большом приеме Мэри Пикфорд в качестве подарка преподнесли мой кокошник, в котором я тогда только что отснялась в фильме «Победа женщины».

«Глаза погублены на съемках»

– Анеля Алексеевна, «немое кино» – это такое далекое прошлое для нас. Кино без звука и цвета. Ускоренные, вызывающие смех телодвижения актеров… Но ведь немое кино – это эпоха в искусстве, без него не было бы нынешнего любимого нами кинематографа. Не так ли?

– Сказать вам, что такое немое кино? Я благодарна судьбе, связавшей меня с киноискусством. Но сегодня я очень страдаю из-за слепоты. Вы, наверное, заметили, что в моем возрасте я сохранила зубы, но зрение было выжжено на съемках за те шесть лет, которые отданы карьере киноактрисы. Глаза были погублены, потому что для сохранения нашего здоровья не принималось никаких мер. Примитивная техника, ослепительный свет направлялся прямо в зрачки. Приходилось сниматься в страшной духоте и при слепящем освещении.

А попала я в кино следующим образом. Отучившись три года в школе-студии Юрия Завадского, я была приглашена сниматься режиссером Желябужским, приемным сыном Горького. На съемках познакомилась со всем цветом тогдашнего кино: Пудовкиным, Оцепом, Алейниковым, Райзманом… Ленты делались на студии, расположенной в районе нынешней гостиницы «Советской», в те времена ресторана «Яр». Тогдашние молодые гении жили на дачах в живописном Петровском парке. И первая моя работа с прекрасным режиссером Желябужским имела ошеломляющий успех. В картине «Победа женщины» по тексту великого писателя Лескова я снималась вместе с Серафимой Бирман, позже актрисой театра Ленинского комсомола, и артисткой Найденовой из Малого театра. Меня взяли на роль Марфиньки. Во время съемок случилось непредвиденное. На фабрике начался пожар. Безжалостный огонь сгубил и пробы, и первые кадры. Когда огонь перекинулся на другие здания студии, актеры бежали, а я была в кокошнике, в сарафане, и в таком виде меня привезли домой на Остоженку.

Сгорели многие мои вещи, но самое страшное – погибла пленка, и я поставила крест на себе как киноактрисе. Но вдруг через три месяца раздался звонок из «Межрабфильма»: съемки возобновляются, а помещение получено в «Яре». «Победа женщины», которую мы досняли, принесла мне огромную популярность. Афиши с моим изображением были расклеены буквально по всей стране. Одна из афиш усилиями геологов-альпинистов даже попала на труднодоступную горную вершину.

«Роман» с Маяковским

– Молва приписывает вам роман с Маяковским. В это можно поверить. Кстати, думаю, на земле не осталось людей, лично знавших великого поэта.

– И впрямь молва приписывает. На самом деле, как говорится, между нами ничего особенного не было. Да, Владимир Владимирович обращал внимание на красивых девушек, и девушки не могли пройти равнодушно мимо этого высокого, по-своему красивого, остроумного человека. Познакомились мы в Хосте, куда я приехала вместе с сестрой Софьей летом 1929 года и поселилась в санатории, где уже отдыхали балерины Большого театра. Маяковский заходил ко мне, приглашал покататься на лодке. Я не отказывалась, хотя рядом находилась его любовь – Вероника Полонская. Кроме того, поговаривали, что у него был серьезный роман с балериной Ильюшенко. Маяковский мне почему-то запомнился бегающим по берегу в больших черных трусах. Полонская заплывала далеко в море, и Владимир Владимирович волновался за нее, а сам плавал, по-видимому, неважно.

Вообще хостинские воспоминания остались в моей памяти очень яркими. Во многом из-за Маяковского. Ведь о нем невозможно говорить – «был». Он как бы всегда рядом. Прошло более полувека, но те солнечные дни, проведенные в Хосте с Маяковским, для меня – тоже сегодня.

…Хоста – зелено-голубая, залитая светом, молодая трава на главных улицах. Одноэтажные дачки, деревянные домики, и мы – загорелые, неистощимо и беспричинно счастливые. Это ведь первый в жизни выезд к Черному морю, на юг! Веселая таборная жизнь! Совсем юные танцовщицы Ильюшенко и Никитина; на весь Союз уже известный своим дебютом в «Красном маке» загорелый, изящный Асаф Мессерер; Саша Царман, сочетающий искусство балета с искусством фотографии.

Сегодня у нас в гостях Маяковский. Вечером мы идем на его концерт, а пока тащим завернутый в мохнатое полотенце к нам на дачу гигантский арбуз, с треском разламываем его, едим, слушаем Владимира Владимировича и без конца смеемся. Он в ударе, острит, читает стихи…

Саша Царман снимает нас. Мы, меряясь ростом с Владимиром Владимировичем, долго стоим на солнцепеке, ожидая пока щелкнет затвор аппарата…

Владимир Владимирович выступает. Жара. Он на маленькой сценке. Медленно снимает пиджак, потом галстук, вешает на

спинку стула, отпивает глоток воды из складного стаканчика. «Елена Михайловна Ильюшенко, – начинает он неожиданно эмоционально, обращаясь к публике, – встретив меня в Сочи, удивилась: „Как, вы собираетесь выступить в Хосте, в этой дыре?“ Я ей ответил, что для меня нет глухой провинции и заштатных мест. Для меня важен слушатель в зале».

Поэт читает. Льются его стихи, чеканятся рифмы – грозные, нежные, острые и беспощадные. Гремит бас Маяковского. Велика власть его над людьми.

В один из следующих дней поэт заезжает за нами из Сочи по дороге в Гагры и везет на свой концерт. Он слегка сосредоточен, но юмор и розыгрыши присутствуют и в этом нашем путешествии. Он покупает целую пачку открыток с моими фотографиями (они продавались в фотосерии артистов кино) и многозначительно и торжественно преподносит их прохожим. По дороге останавливает машину и дарит мои фотографии встречному пастуху. В машине Маяковский, Асаф Мессерер, моя сестра-студентка и я. Владимир Владимирович острит, сравнивая наши глаза – мои и сестры. Ведь я уже снимаюсь в кино, слегка гримируюсь и чувствую себя немножко «звездой». Владимир Владимирович шутит: «У вас глаза в мировом масштабе, у Софочки – в советском, поэтому она мне больше нравится». В компенсацию за обиду дарит мне свою книжку с надписью «Аneличке».

Вечером в Гаграх, как всегда входя в необычайно тесный контакт со зрителями, остря и пререкаясь, он затевает с кем-то, недовольным программой концерта, конфликт. Тот бурчит: «Я деньги за билеты платил, могу выражать свои желания». Владимир Владимирович начинает выворачивать карманы своих брюк и, вытаскивая смятые деньги, протягивает их через рампу.

«Недовольный» тянется за деньгами. Взволнованный Лавут – организатор концертов Маяковского – улаживает ситуацию. Бывал Маяковский и у нас в доме на Остоженке. К кому он приходил, не совсем было ясно, но мне казалось, что к моей сестре, за которой после Хосты стал ухаживать. Когда поэт первый раз пригласил Софью покататься на лодке в Петровском парке, мама очень испугалась его огромности и одну дочку не отпустила. Нашла сопровождающего.

А в мою жизнь именно в то время входил юный красавец-танцовщик Асаф Мессерер, общий любимец женщин. Между нами вспыхнуло совершенно непреодолимое чувство. Такое было тяготение друг к другу, что расстаться мы не могли, и, даже когда сестра запирала на ночь двери, я вылезала на свидание в окно. В 1933 году у нас родился сын Борис.

…Когда сегодня я прохожу мимо памятника на площади, я, как всегда, ревниво сравниваю бронзового поэта с живым.

«Я помню, как у мамы на улице просили автограф»

Рассказывает народный художник России, действительный член Академии художеств, лауреат Государственной премии РФ Борис Асафович Мессерер:

– У мамы изумительная внешность, я считаю ее красавицей определенного, нехарактерного типа красоты – очень тонкого, с польским акцентом. И в силу таланта, и в силу внешних данных знаменитые режиссеры доверяли ей интересные роли в фильмах «Победа женщины», «Два-Бульди-два», «Потомок Чингисхана», «Трубная площадь». Она была очень известной. Отголоски ее популярности – в моей памяти, когда ее узнавали на улицах, просили автограф. А ко мне, мальчику, очень часто подходили люди и спрашивали, не моя ли мама Анеля Судакевич. И я с гордостью это подтверждал.

Все мессереры – трагические личности

– Анеля Алексеевна, когда ваша великая племянница Майя Плисецкая приезжает в Москву, вы видитесь?

– Да. Недавно мы общались. Мне приятно и то, что она очень дружна с Борей – сейчас они вместе ставят на сцене Большого театра балет «Конек-Горбунок» – и, конечно же, с Беллой. Хочу заметить, что все Мессереры талантливые, интересные и в чем-то трагические личности. Отец Майи, Михаил Плисецкий, был советским послом на Шпицбергене, и первые жизненные впечатления у девочки связаны с суровой северной природой. Когда он вернулся, его арестовали. Детей – Майю и Алика – Асаф и я взяли к себе на воспитание. Точнее, так: Алик остался в нашей семье, а Майя – у Суламифи Мессерер, талантливой балерины. Вскоре Майю определили в балетную школу Большого театра. А потом она выросла в прославленную советскую балерину. Мне, конечно, приятно общаться с племянницей. Когда она приезжает в Москву и приходит к нам, то никогда не забывает о подарках.

– О Суламифи Мессерер в конце семидесятых трубили на весь мир. То, что она, будучи на гастролях в Японии, осталась в чужой стране, было шоком для Кремля, для Комитета Государственной Безопасности. Вы, конечно же, переживали, волновались за близкого человека?

– Конечно, волновалась. Но с той поры много воды утекло.

– Как, впрочем, и с тех давних лет, когда вы, расставшись с ремеслом актрисы еще немого кино, неожиданно стали художницей. Вы так запросто открывали в себе талант за талантом? При вашей-то внешности и блестящей карьере мужа можно было пребывать в домашних тепличных условиях, воспитывать ребенка.

– Я ушла из кино, разочаровавшись в некоторых фильмах, где снималась. И не растерялась, а за полтора года, почувствовав в себе дарование, освоила профессию художника по костюмам. Я написала огромное количество работ для театра, кино, эстрады, а позднее и цирка.

– Я слышал, что именно вы как художник создали образы великих клоунов Юрия Никулина и Олега Попова. Мне об этом рассказывал Игорь Кио.

– Не хочу преувеличивать. Но знаменитая кепка и штаны Олега Попова появились при мне, а с Юрием Владимировичем мы вместе проработали двадцать пять лет. Я участвовала в создании большинства цирковых представлений, побывала с гастролями во многих странах мира.

Жизнь и творчество Анели Судакевич вызывает восхищение. Все, с кем мне приходилось разговаривать об актрисе и художнице, выражали свои чувства только в превосходной степени. И все отмечали неизменно одно, но такое редкостное нынче качество – чувство вкуса, художественного и человеческого такта.

«Анеля Судакевич – светлое пятно в моей жизни»

Из разговора с Юрием Никулиным незадолго до его кончины:

– Все встречи с ней были радостными, она была всегда неотразимо женственна, умна, талантлива. Она облагораживала цирк. Она во многом создала мой имидж: посоветовала подкладывать животик, нашла костюм мышиного цвета, канотье, ботинки, смешные калоши.

«Дорогая Анель, где вы, кто с вами?»

И впрямь в эту редкостной красоты женщину влюблялись художники, спешившие оставить для потомков незабываемый образ. Одну из комнат квартиры Анели Алексеевны, которую, правда, сейчас занимают ее правнучки, я бы назвал «фонвизинской». Прославленный живописец Артур Фонвизин создал целую галерею портретов любимой им модели. Судакевич рисовали Тышлер, Фальк, Гончаров, Трузе – всех не перечислишь. Как только ни называли кумира далеких двадцатых: «Звезда русского Голливуда», «Покоряющая красотой», «Женщина-миф».

В рабочем столе Анели Алексеевны десятки лет хранились обращенные к ней письма великого режиссера Всеволода Илларионовича Пудовкина. Эти письма рисуют добрый, яркий и оригинальный образ талантливого художника. Моя собеседница долго не решалась опубликовать эти письма. В минуты сомнений полагала предать их забвению. Но потом поняла, что не права: надо спешить, пока живо еще то поколение, которое посещало премьеры фильмов Пудовкина. Влюбленный в красавицу Анель режиссер писал ей из Москвы, Ленинграда, Одессы, Кисловодска, Гамбурга, Берлина, Улан-Батора. Не все даты адресат могла восстановить: под некоторыми письмами нет чисел и даже места их отправки. Здесь важно иное – внутреннее художническое единство, сближавшее их независимо от времени переписки.

– Эти письма я начала получать еще двадцатилетней девушкой, а сейчас завершаю свой земной путь. О, как же много получила я от жизни, как богата она была впечатлениями и встречами, начиная с той поры, на которую пришлась моя молодость! Ведь мне тогда казалось, что я живу в «эпоху великого поиска», когда новым становилось все: театр, живопись, литература, и, конечно же, мой любимый кинематограф.

Я приехала в Москву четырнадцатилетней провинциалкой в 1921 году, а через шесть лет, в кокошнике и сарафане уже смотрела со всех афишных тумб на шумную Москву! Окончание десятилетки, поступление на драматические курсы под руководством Ю. А. Завадского и сразу после этого – головокружительная, хоть и краткая карьера киноактрисы. И впрямь, как много впечатлений за короткий срок. Школа тетра Завадского находилась на Собачьей площадке в районе Арбата, в прелестном готическом особняке с обитым деревом залом, окруженным хорами с деревянной балюстрадой. В этом зале уже шли спектакли, в которых блистали своими первыми ролями

Марецкая, Мордвинов, Алексеева, Успенская… Нам, вновь поступившим студентам, вменялась в обязанность любая работа, так как денег на обслуживающий персонал не было. Отказ от нее был бы сочтен за нестудийный поступок.

…Как рассказывала мне за чашкой чая в небольшой кухоньке Анель Алексеевна, в перевернувший ее судьбу вечер ей пришлось продавать программки. На спектакль пришли кинорежиссеры Борис Барнет и Федор Оцеп, но она не обратила на них никакого внимания. Куплена программка, сказано несколько любезных слов – и только. Но именно в тот вечер она получила приглашение на съемочную пробу к Барнету, снимавшему фильм «Мисс Менд». Он снял Анель в малюсеньком эпизоде в роли машинистки. А затем последовала проба у Юрия Желябужского и главная роль в его фильме «Победа женщины». Фильм имел огромный успех. Он вскоре закрепился участием Судакевич в фильмах «Поцелуй Мери», «Земля в плену», «Торговцы славой», «Два-Бульди-два», «Дом на Трубной». А через… двадцать лет Анель Алексеевна снялась у самого Эйзенштейна – во второй серии «Ивана Грозного».

Встреча с Пудовкиным произошла, когда он делал фильм «Потомок Чингисхана». Эпизод с Судакевич снимался в Москве. Отъездом творческой группы к провинциальной натуре и была вызвана начавшаяся тогда и длившаяся несколько лет ее переписка с Пудовкиным.

– Наступала эра звукового кино. Но профессиональной актрисой я так и не стала, настоящего таланта у меня не было, я знаю.

– Но как же так, Анель Алексеевна, ведь вы снимались у самых известных режиссеров своего времени. Значит, они чувствовали в вас актерские способности. Иначе зачем им было давать вам роли. Не за красивые же глазки!

– (Улыбается). Конечно, не секрет, что все режиссеры подыскивают на роли красивых, выразительных актрис. И я бы сказала так: я и впрямь возможно «попалась» на том, что была красивой, юной девушкой. Но внутри я чувствовала: актерство не мое призвание.

Мои сомнения находили постоянный отклик в замечательных письмах ко мне Всеволода Илларионовича Пудовкина. Благодарю судьбу за дружбу с таким замечательным человеком и художником. Он старался меня подбодрить, заставить поверить в свои силы.

В нашей переписке с ним видна безмятежная творческая

«игра», характеризующая наши отношения – **над** бытом, **над** личной жизнью, которая шла своим чередом. Хотя этот момент тоже его волновал, потому что в письмах были регулярные вопросы: «Где Вы?», «Кто с Вами?» В 1929 году я вышла замуж за А. М. Мессерера и прожила с ним одиннадцать счастливых лет, а рождение в 1933 году сына – Бориса Мессерера – было концом моей работы в кино.

«Я делала знамена для фронта»

Но жизнь Судакевич безмятежной назвать нельзя. Ее близкие в тридцать седьмом попали под молот репрессий.

– Многие годы я прожила под колпаком, – говорит Анеля Алексеевна. – И только в последние десять лет наверстываю то, что не успела, получаю ответы на вопросы, на которые раньше никто не мог ответить.

Когда я спросил собеседницу, где работала она в годы войны, то услышал поразительный ответ.

– Я делала знамена для фронта. Вручную. По красному полю шел герб Советского Союза, гербы пятнадцати республик, и я вырисовывала пастой, золотом все наши символы. Получались очень красивые знамена. Заказывали их в огромном количестве. Из моей мастерской знамена сразу же отправляли на фронт. Я получала за это зарплату. И еще делала костюмы для наших артистов, выезжавших на фронт с концертами: для Руслановой, Шульженко и многих других.

Под самый занавес актерской карьеры Анеля Судакевич успела красиво «покинуть сцену»: режиссер Элем Климов позвал ее сняться в образе хозяйки светского салона в фильме «Агония» о Григории Распутине. Судакевич сыграла небольшую роль так естественно, будто бы всю жизнь была на вершине богатства и власти. Впрочем, так оно и есть: в свои девяносто два года эта уникальная женщина-миф своим неувядаемым «даром красоты» (как сказала Белла Ахмадулина), щедростью души и сердца властвует над всеми, кто прикасается к ее прекрасной судьбе.

– Я смерти не боюсь… Я зову ее. Я устала жить. Старость хуже смерти, ибо невыносимо унижение и невыносимо подчиняться природе.

Октябрь 1998

Глава 31. Вещие сны Нонны Мордюковой

«Я буду долго-долго молодая».

По результатам опроса одного из институтов общественного мнения России Нонна Мордюкова вошла в список десяти самых великих актрис XX века. Вот эти имена: Мэрилин Монро, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор, Мадонна, Софи Лорен, Катрин Денев, Одри Хепберн, Мэри Пикфорд, Нонна Мордюкова.

Это интервью с актрисой Нонной Мордюковой нуждается в предисловии. Дело в том, что Нонна Викторовна не дает интервью. Или дает их крайне редко. Не хочет, не любит светской болтовни, нет времени… Журналисты с ней мучаются. Она не дает своего телефона и адреса, как может, уклоняется от встреч и предложений или, в лучшем случае, просит отложить разговор на потом. Вот почему откровения знаменитой актрисы в газетах и журналах встречаются весьма редко. А жаль. Жизнь и творчество Нонны Мордюковой – богаты, насыщенны и в чем-то драматичны. Чего стоит тот факт, что великая российская актриса целых… 18 лет не снималась в кино. Это трагедия для актера, художника, талант которого ржавеет на колосниках, за сценой, без режиссера и без юпитеров.

Мне повезло. В одном театре происходило торжество, на которое пришло довольно много именитых деятелей искусства, политики и бизнеса. Нонну Викторовну попросили выступить в официальной части, и сделала она это так блестяще, что сидевшие и на сцене, и в зале не могли сдержать аплодисментов, взрывов неподдельного смеха. Мордюкова настолько проявила свою естественность и самобытность, что все присутствовавшие приняли это без столь свойственной творческим людям ревности. Актриса вспоминала о своей молодости, учебе во ВГИКе, босоножках, которые первокурсницы носили чуть ли не по очереди, о недоедании и недосыпе… А потом перешла к нашему времени и так же убедительно и раскованно стала рассуждать о «новых русских», об их расторопности и нередко бескорыстном меценатстве. И хотя высокопарность, быть может, была не совсем кстати, Мордюкова ни разу не сфальшивила. «Как-то Константин Боровой мне предложил: „Хочешь, познакомлю тебя с хорошим банкиром?“ Я говорю: „Зачем? Денег у меня нет, о чем я буду с ним разговаривать?“ Было это несколько лет тому назад. И мы

тогда мало что понимали в этих делах. Конечно, я и сегодня не понимаю, что такое банк, но знаю, что люди там, деловые эти круги, как белки в колесе крутятся, чего уж там говорить… У них свое мастерство, свои думы – думушки и, наверное, свои трудности. Но, несмотря ни на что, хочется верить и надеяться, что самые честные из них, может быть, наладят нашу жизнь…».

Кому-то в зале могло показаться, что Нонна Викторовна подыгрывает хозяевам торжественного приема, благотворителям, ведь эти, как она сказала, честные банкиры только что вручили ей и двум другим актерам чек на пожизненную пенсию. Как думала, так и говорила. Да, она была благодарна частным лицам, ибо государство не может сегодня даже артистам уровня Нонны Мордюковой или Михаила Ульянова предоставить необходимые жизненные условия.

После речей и церемонии был банкет в огромном фойе театра. Мне повезло еще раз – я оказался за столом по соседству с Нонной Викторовной. Казалось, ничто не мешало поговорить с ней о жизни и о театре. К моей радости, актриса согласилась ответить на два вопроса. «Хорошо, – подумал я, – лиха беда начало», – и пошел в наступление. Я не предвидел, что в таком мимолетном общении сполна проявится великая актриса нашего времени: мудрая, откровенная, искренняя, натуральная, понимающая…

– Актеры – народ полуночный: спектакль, съемки, ресторан ВТО или Дома кино… В котором часу вы приклоняете уставшую головушку, Нонна Викторовна?

– В полпервого я уже сплю. Просыпаюсь в половине десятого.

– Привычка?

– Да. Если что надо, в шесть утра я не встану ни за что. У меня голова, приросшая к подушке. А в полдесятого – нормально.

– Вы тревожно спите, сны видите?

– Да, и сны вижу, и просыпаюсь среди ночи. Иногда даже боюсь, чего это я проснулась? Но через 15–20 минут снова засыпаю.

– А свои сны помните? Сбывались ли? Расскажите о каком-нибудь вещем сне. Самом-самом…

– Самый? Ну вот такой… Мне восемь лет. И вот вижу, будто бы пришли к нам в село какие-то ряженые и говорят не на русском языке. И пришли они из-за холма. Такие нерусские, ничего не пойму, о чем говорят. И на всех зеленые накидки. Проснулась – и к маме: рассказываю, что привиделось. А она в ответ: ох, не войну ли ты, доченька, увидела? И точно, через несколько дней началась война. Как же это я нерусских увидела,

они и вправду на немецком говорили. Все в какие-то бубны били и снова ушли за бугор. Отступили. Не вещий ли это сон? Как в руку – война.

– Помню, как после войны, годах в пятидесятых, я увидел вас в фильме «Молодая гвардия» в роли Ульяны Громовой. И хотя прошло уже, кажется, с того времени много лет, но смотрю на вас – и вы такая же молодая и красивая.

– Ну вот вам еще один будто бы сон. Но это взаправду было. Мама моя так любила смотреть, когда я собиралась на танцы и косу заплетала, платьишко примеряла. Лежит себе на кровати и советы дает: так положи коску, эдак. Бочком ко мне встань, личиком повернись. И вдруг говорит: «Ты будешь долго-долго молодая». А я думаю: «Я буду долго молодая? Почему? Что это мама придумывает». – «Да, Нонночка, ты похожа на тетю Дусю Крикунову, родню нашу, а дожила она до 83 лет – и ни одной на лице морщинки. И лоб точно мраморный». А мамина сестра тетя Эля будто добавляла: «Нонка така худенька есть, и худенька будет». Разговор этот – будто сон вещий. Посмотри, на моем лице нет ни жиринки, и никогда не было ничего лишнего. И лицо треугольничком. Это наследственное. В последнем номере журнала «Семь дней», хоть я его и недолюбливаю, мы четверо сняты, четыре сестры. И хотя мы все разного возраста, но выглядим – будто бы одного…

– Нонна Викторовна, за окном ночь, кругом все веселятся, можно задать неожиданный вопрос? Скажите, вас волнуют нынче мужчины?

– Пока еще в моем организме запрета не наступило. И я волнение ощущаю. Только, знаешь, все должно быть не торопясь. Сначала ду-хов-ное, потом – поступок какой-то, фразочка заманчивая, и кстати, в точку. А ты уже задумываешься, и начинает в тебе просыпаться чувство. И вот я вывела такое правило, что у женщины всегда есть желание влюбляться. Почему, не знаю, но так думаю.

– Было ли так в жизни?

– Было. На съемках «Мамы». С одним мужчиной у нас шла как бы игра. Фразы, знаешь ли, подковырки. Мы понимали, конечно, что с разных полюсов, и вот как-то выпили после съемки, и я сказала ему только одну фразу: «Не затевай…»

– Почему?

– Так решила. Это действительно было бы смешно, и я отрезала: «Не затевай…» А утром вижу, он грустный, подошел и говорит: «Вы правы…» Хоть я и отрезала (куда это годится – на тридцатку моложе меня), но потом все равно хотела, чтобы он рядом сидел.

– Да, печальная история… Только мне кажется, вы не правы. Знаете расхожую истину: женщине столько лет, на сколько она выглядит.

– Ну, выгляжу, а паспорт?

– При чем здесь паспорт?! Разве чувства, любовь по паспорту сверяются?!

– Нет, нет, самолюбие выше.

– У Эдит Пиаф, как известно, муж был моложе ее как раз на эти самые тридцать лет.

– Но она была гениальна, зачем сравнивать?!

– Вы тоже гениальная – и актриса, и женщина… Ну да ладно. О первом-то своем любимом муже вспоминаете? Он тоже здесь…

– Штирлиц-то? Конечно, вспоминаю. Отношения с ним нормальные. Столько лет прошло, но любопытство к нему осталось. Долго не видишь и любопытствуешь. Ведь человека-то знаешь всего, вплоть до подагры…

– Жалости нет, что постарел?

– Нет, я сама его возраста, какая тут жалость. Наоборот, знаю, что он счастлив. И радуюсь за него. Такая у него награда от Бога – его дочка. Золотая! Они такие друзья. Сумасшедшие друзья. Я даже боюсь, что она заиграется и замуж не выйдет, настолько папу своего любит.

1999

Глава 32. Анастасия Цветаева: о религии, об искусстве, о сестре

«Когда человек молится, он начинает чувствовать свое бессмертие».

С Анастасией Ивановной Цветаевой я беседовал в Переделкине под Москвой в 1987 году. Несмотря на свой преклонный возраст (Анастасии Ивановне уже перевалило за девяносто), она была бодра, активна, памятлива. Ее размышления, суждения о своей судьбе, об искусстве, о религии, о прошлом и будущем изумляли свежестью, незашоренностью, здравостью и тактом. Анастасия Ивановна чуралась лишних встреч, интервью давала неохотно, я бы сказал, капризно. Бросила камешек и в мой огород, дескать, тратится драгоценное время, а во имя чего?

Провидчески мудрая, она оказалась права: за волнами перестроечной суеты я так и не успел опубликовать интервью. Прожила Анастасия Ивановна на этой земле почти век. Посылаю ей в Вечность мой земной поклон.

О сожженной книге

– Одно время я гостила у Максима Горького в Италии, и тайно от него решила написать о нем книгу. Каждую ночь записывала в тетрадь все, что видела днем. Горький вставал в семь утра, до часу дня работал, с часу бывал с нами, со своими гостями, иногда мы сидели до двенадцати ночи. Я вносила в тетрадь каждую его интонацию, каждое слово, тему разговора, вопросы, к нему обращенные, поведение гостей, их приезды, отъезды, обеды, чаепития, впечатления, суждения, происшествия – в общем, живую картину каждого дня. Получилась документальная книга, похожей на которую, уверена я, нет ни о ком.

В 1937 году, когда меня арестовали, книга пропала. Через 22 года, после тюрем, лагерей и ссылок, я, вернувшись в Москву, пошла в КГБ и попросила вернуть мне мои записи. «Из всего вами отнятого, – сказала я, – больше всего я хотела бы эту книгу о Горьком». А они мне ответили: «Мы все сожгли, мы много бумаг сожгли. Сожгли и вашу книгу о Горьком. А вы, как нам кажется, разум-то не потеряли, сядьте и напишите эту книгу заново». И выдали мне бумажку, что, дескать, эти 22 года ничего не значат, что никаких преступлений в моих поступках не было, что я могу дальше радоваться жизни.

Вот и все, что могу сегодня сказать о моей документальной книге о Горьком.

Впрочем, неотвязна в моей памяти песенка, которую, как говорят, он напевал своим внучкам Марфиньке и Дашеньке восьми и шести лет:

Диги-диги-дигли,
Диги-диги-талис,
Вот мы и достигли,
Вот и долетались.

Мудрое стихотворение. Обращено оно не в виде упрека кому-то, а в виде укора себе. Вспоминал, наверное, своего буревестника…

О Валентине Распутине и Евангелии

– Давно уже я ничего не читала, глаза не позволяют. Из современных писателей я признаю только одного Распутина. Может быть, потому, что его только и читала, запоем, когда могла еще, несколько лет назад. Он мне очень нравится.

Но когда я услышала, что он вместе с Астафьевым, которого я не читала, занялись чем-то вроде юдофобства, я от него отвернулась. Внутренне отвернулась. Хотя мы переписывались, и он бывал у меня в Москве. Как же так: верующий, читающий Евангелие человек, в котором на каждой странице говорится об избранном народе и черным по белому сказано, что дева Мария для вынашивания и рождения божественного ребенка была избрана из народа еврейского. Как же можно «свои мысли» иметь на эту тему? Спорить с Евангелием? Тогда вы не считайте себя верующим человеком. Евангелие нам дано, чтобы мы принимали его без критики. Говорить, что одно хорошо, а другое плохо – значит не верить ни в Христа, ни в Евангелие.

Если вы можете подтвердить, что он выступает против евреев, что он антисемит, тогда я очень огорчусь. Потому что Распутин – прекрасный писатель.

О времени

– Вы спрашиваете, чем я сейчас больше живу: прошлым или настоящим… По-моему, будущим. Это же интересней, чем то, как мы тут живем. Нас сюда бросили, как щенка, за шиворот. Щенок плавает, учится. Так и мы. Но очень важно, как мы проживем это время, важно по сочетанию с будущим, для будущего. А прошлое что же? Прошлого… его нет. Конечно, интересны хорошие книги из прошлого и хорошие люди из прошлого, память о них. Все это приятно. Но сделать мы уже ничего не можем. Разве что Борису (Борис Пастернак. – Ф. М.), нашему с Евгенией Филипповной (Е. Ф. Кунина, литератор, подруга А. И. Цветаевой, знавшая Б. Пастернака. – Ф. *М.)* другу, открыть музей в Переделкине. Он ему не нужен, он нужен другим, ему он абсолютно не нужен. Так же, как моей сестре Марине совершенно не нужен музей в мемориальной квартире (имеется в виду готовившийся тогда к открытию первый музей М. И. Цветаевой в Москве, на ул. Писемского. – Ф. М.), потому что Марина там уже не живет. Но для людей это воспитательно, это нужно, поэтому мы, конечно, будем отстаивать эти музеи. А настоящее… это что? Это стык между прошлым и будущим… Встреча прошлого и будущего – это и есть настоящее, оно существует эфемерно. Как во сне… Один только миг…

О бессмертии

– Искусство для меня играет только служебную роль, как переход к религии. Но есть и совершенно безрелигиозное искусство, как у милого Андрюши Вознесенского, который хулиганит по поводу Божьей Матери. В одном из его сборников написано, что какая-то девка (иначе я сказать не могу, хотя он ее называет «девушкой») в лицо Божьей Матери ругает ее сыночка, а Божья Матерь терпит и улыбается. Считаю это хулиганством. Поэтому не могу серьезно относиться к такому искусству.

Я думаю, что когда у поэта очень сильно заболит живот или очень сильно заболят зубы, он взмолится, и эта мольба будет серьезнее, чем его стихи. Потому что, когда человек молится, он начинает чувствовать свое бессмертие, из которого он создан. Мы сделаны из вечного материала, и ничего с этим поделать не можем. Очень важно вот это осознавать. Покуда человек не понял этого, он вроде бы как в темноте. А когда он поймет, тогда он пробьет себе путь, ему будет легко. Он будет идти с чьей-то помощью, взывать к чьей-то помощи, и помощь сейчас же придет.

Бог – это самый грациозный индивидуалист на свете. Он не навязывается, Он все время грациозно отступает: «Меня нет, меня нет, пожалуйста, я не настаиваю». И только когда Его зовут, Он радуется и очень просто помогает. А навязываться Он не будет. Не может и не хочет. Дана Библия, дано Евангелие, даны Святые Отцы, жизнь Святых Отцов, жизнь мучеников, которые во имя чего-то умирали. И если во всем этом разобраться, то поймешь, что временная жизнь не могла этого создать. Только сочетание с Вечностью могло создать такие судьбы. Когда поймешь, тогда интересно жить. А так, по-моему, смертная скука: знаешь, что ты завтра можешь заболеть раком или при переходе улицы тебя собьет машина – и ты умрешь, и тебя нет. Какая тут охота жить?

О старости

– Вы спрашиваете, как я переживаю свой возраст… Ответ будет неинтересным. Дело в том, что настоящая моя старость началась… восемь месяцев назад, потому что начались постоянные боли. Появился остеохондроз, болит шея, постоянно болит голова, ни наклониться, ни откинуться назад – каждое движение болезненно. Как мне жить? Я стараюсь отвлекаться или сном, или работой. А так… Радостного ощущения старости у меня нет. Может быть, и существует радостное ощущение старости, но когда человек не болеет. А когда он не болеет, тогда он и не старый, он тогда пожилой и его назвать стариком нельзя. Старик – это, с моей точки зрения, человек, который страдает от своего тела и терпит его. Что может быть в этом веселого? Правда, все дело в том, как к этому относиться. Если мне это послано и не помогают никакие врачи и никакие друзья, которых у меня много, значит, надо терпеть. И я терплю. Посмотрим, кончится ли это состояние в какой-то час или кончится вместе со мной. Приходится принимать и это.

О судьбе

– Если бы я не была религиозна, мне было бы очень трудно в жизни. Ни с того, ни с сего быть сосланной на десять лет в сталинский лагерь, жить с проститутками, убийцами в общем бараке… Если бы я была неверующей, я только бы возмущалась, как все неверующие, бывшие со мной в то время. Они все время сосчитывались со Сталиным, со следователями, с доносчиками. Но это же совершенно бесполезно. Ведь те творили то, что они считали нужным. Их за это нужно жалеть, за них надо молиться, но злиться на них – бесполезное занятие. Так же, как я не могу предъявить никаких претензий к тому, что у меня постоянно болят шея и голова. Если будет болеть настолько сильно, что я не смогу ни спать, ни работать, тогда я буду взывать о помощи, а сейчас я мало взываю о помощи, потому что могу терпеть. Терпение – это то, что более всего нужно человеку. В заключении я только и слышала проклятия в адрес правительства, неудержимую ярость. А в чем виновато правительство? Оно ведь не видит дальше своего носа, с этого носа оно и судит. Сталин считал, что все кругом – враги народа, он был глубоко больным человеком. Как там рассчитались с ним за эту болезнь, сколько ему за эту болезнь спустили – не мое дело. Но злиться за то, что он меня посадил? Я говорила следователю: «Что я могу иметь против вас? Вы исполняете вашу работу, и я, если это Богу угодно, поеду в лагерь на десять лет. Ведь вы только орудие в руках Божьих». Поэтому что мне на них злиться? Где они сегодня, мои следователи? Все на том свете, вероятно.

Три раза меня уводили из дома. Первый раз – на два месяца. Горький заступился, меня выпустили в тридцать третьем. В тридцать седьмом следователь мне сказал: «Горького нет на свете, он за вас не заступится». И я пробыла десять лет, потом еще полтора в лагере рядом с сыном, потом была послана на вечную ссылку. Ее я тоже пережила, значит, это – моя судьба. С чем спорить? Кто обещал нам, что, придя на Землю, мы будем счастливы, богаты, признаны? Никто. Мы как гости попали сюда. А кто куда и как попал – это его судьба. И с этим надо справляться, потому что она неповторима, эта судьба, она у каждого – своя. Это же не судьба соседа. Если я пробыла в ссылках и лагерях двадцать два года, то это я их пробыла. Если бы их пробыл другой, все было бы по-другому. Другой мог все воспринять иначе. Значит, нет в мире равенства меж людьми и судьбами, и не будет никогда. Все помыслы об этом – фантазия.

О Марине

У моей сестры Марины хорошо сказано о том, что есть такие стихи, которые меньше, чем искусство, но они и больше одновременно. При этом она цитирует стихи одной малограмотной монахини:

Что бы в жизни
ни ждало вас, дети,
В жизни много
есть горя и зла:
Есть страдания
жгучего сети
И раскаянья
жгучего мгла,
Есть тоска
невозможных желаний
И тяжелый
безрадостный труд,
И расплата годами
Страданий
За десяток
Счастливых минут.
Где судьба бы вам
жить ни велела:
В блеске света иль
в сельской глуши,
Расточайте без счета и смело
Все сокровища вашей души.

Следующие две строки я запамятовала, а концевые такие:

Человечество
вечно богато
Лишь порукой
добра круговой.

Марина и говорит: «Как стихи – это ниже искусства, но это выше, чем может дать нам искусство». Почему она так сказала? Потому что в Марине, как и во мне, религиозное начало было сильнее всего.

Кстати, я подготовила к печати книгу ее статей об искусстве. Я написала предисловие к книге. Мне было очень трудно писать. Если я просто талантливый человек, которых кругом, как собак нерезаных, то Марина, конечно, была гением. В книге такие глубины, такие высоты, что ее статьи надо перечитывать и перечитывать. Настоящий блеск мысли.

1987

Глава 33. Анна Черненко: «я заплакала, когда муж стал генсеком»

В России наблюдается настоящая мода на «эпоху застоя», особенно возрос интерес к ее вождям. В первую очередь, конечно, к Леониду Ильичу Брежневу. Константину Устиновичу Черненко уделяется внимания гораздо меньше, что отчасти и понятно – он скончался, продержавшись на посту генерального секретаря всего один год и двадцать пять дней. Тем интереснее было пообщаться с его вдовой Анной Дмитриевной.

– Анна Дмитриевна, как вы познакомились со своим будущим мужем?

– Я работала тогда в парткоме Наркомата заготовок. В августе 1944 года нас отправили в районы и области страны. Перед отъездом провел совещание сам товарищ Маленков. И вот в этой поездке, а именно в Сергачском районе Горьковской области, я и познакомилась с приехавшим туда Константином Устиновичем. Между нами завязалась дружба, и, когда мы вернулись в Москву, встречи наши продолжились. Ходили в театры, в кино, на концерты в зал Чайковского. Мне тогда был 31 год, а Константин Устинович на два года меня старше. Вскоре мы поженились.

– Вы первая жена Черненко?

– Нет, от другого брака у него была дочь – Лидия Константиновна. Я подружилась с ней, и наше общение, и взаимная поддержка продолжаются до сих пор.

– Я слышал, что генсек Черненко был «тишайшим», добрым человеком…

– Да, он был исключительно добрым. Мне запомнился случай, когда к Константину Устиновичу обратилась чета наших известных кинодеятелей – Белохвостикова и Наумов – с просьбой помочь с квартирой. У них случилось несчастье, кто-то в их квартире погиб, и они хотели переехать на новое место. Наташа переживала тяжелейший стресс. Они обращались в самые разные инстанции, но никто не шел им навстречу. Они обратились к Константину Устиновичу, и он им, конечно, помог. У него черта была такая – если он мог, то помогал, без всякой волокиты.

– Константин Устинович был амбициозным человеком?

– Ну, что вы! Какие амбиции?! Ведь все ступеньки служебной

лестницы он прошел шаг за шагом. Пионер, комсомолец, заведующий отделом райкома партии. Ушел в армию, в пограничные войска, где его избрали парторгом заставы. Вернулся – и опять на партийную работу. Так дошел до секретаря Красноярского обкома партии. Мне после его смерти было больно и обидно, когда я читала в прессе, что, дескать, Черненко «сделал» Брежнев. Да, одно время они вместе работали в ЦК партии в Молдавии, а позже именно Леонид Ильич порекомендовал Константина Устиновича в отдел пропаганды ЦК. Но это не фаворитизм, а нормальные рабочие отношения. Когда Леонид Ильич был генсеком, он звонил Константину Устиновичу даже в часы отдыха домой. Давал ему поручения, советовался.

– А семьями вы общались?

– В праздники Брежнев любил собирать в одну компанию своих ближайших помощников. Тогда там бывали Андропов, Устинов, другие члены политбюро. Это были короткие праздничные встречи, на час-полтора. А дальше мы разъезжались по домам и продолжали праздник.

– Говорят, что у Черненко были не очень хорошие отношения с Андроповым?

– Мне кажется, что Андропов относился к нему с каким-то недоверием. И близости у них, действительно, не было. Встречались они лишь по необходимости, когда Брежнев приглашал соратников на дачу по праздникам. Но когда Юрий Владимирович умер, Костя, по-моему, очень сильно переживал. Конечно, Андропов умный человек и руководитель высокого класса. Константин Устинович относился к нему очень уважительно, а Андропов к Черненко – настороженно.

– Каково было его отношение к Михаилу Горбачеву?

– Константин Устинович видел недостатки Горбачева, скоропалительность, непродуманность в решении вопросов. И он относился к нему сдержанно. Да, помогал, наблюдал за ним, но чувствовал в Горбачеве гонор. Тот выслушает, но сделает по-своему, поэтому близких отношений между ними не возникло. Я была очень расстроена, когда после смерти Андропова Константина Устиновича избрали генеральным секретарем. Я перепугалась, и когда муж пришел домой, сказала ему: «Что же ты наделал, как ты мог согласиться на это?!» Ведь были и другие кандидатуры – Гришин, Романов… Но больше всех рвался на этот пост Горбачев. А Константин Устинович считал, что Горбачеву еще рановато.

– Он об этом прямо говорил Михаилу Сергеевичу?

– Да, он прямо так ему и сказал: «Рановато». Дескать, молод

еще. В общем, я расплакалась, когда Черненко стал генсеком.

– А почему же так надо было переживать?!

– Поймите меня правильно, для его здоровья это было тяжеловато. Хотя он говорил о том, что есть у нас молодые силы, которые потом могут стать во главе, но к ним надо присмотреться. Он часто болел воспалением легких, когда выезжал в командировки. То поломка машины, то еще что-то в пути, и он здорово промерзал. Да о своем здоровье он вообще не думал! Такая борьба шла кругом. На работу уходил с температурой. «Куда же ты идешь, ты же болен!» – останавливала я мужа. – «Я не могу не пойти, людям же встречу назначил». Константин Устинович работал по 14–18 часов в сутки.

О его назначении на пост я узнала по радио. Мы ничего не отмечали, ведь радоваться было неприлично: страна хоронила Андропова.

– Я беседую с вами, Анна Дмитриевна, в бывшей квартире генсека. А где вы жили раньше? Как Черненко относился к бытовым неудобствам?

– Долгие годы мы жили в небольшой, хотя и отдельной, квартире всей семьей, с детьми. Когда поженились, жили в коммуналке. Переехали в Москву, получили небольшую квартирку. И так было все время. То, что ему выделяли, он не оспаривал и сразу соглашался. Положено – так положено.

– Была ли у вас машина? Пользовались ли кремлевскими льготами?

– Машину нам выделили, когда он стал генсеком. Все последние годы мы жили на даче за Барвихой, в Усове. Потом на даче в Огареве. А за продуктами я ходила сама. Конечно, в цековских магазинах выбор продуктов был лучше. Но с Константином Устиновичем всегда были проблемы. Когда, скажем, ему полагался новый костюм, то с великим трудом удавалось его уговорить поехать на примерку. Всего костюмов у него было пять-шесть: летние, повседневные и праздничные.

– Что Константин Устинович больше любил из еды?

– Очень любил пельмени, мясо по-домашнему. Сам его и готовил. Получалось очень вкусно с картошкой. Я прошла с мужем целую школу лепки пельменей. Когда был жив его папа, Устин Демидович, то мы при готовке пельменей чинно, как на параде, выстраивались и делали до 400 штук. Один готовил тесто, другой его раскатывал, кто-то вырезал стаканчиком, кто-то клал фарш.

– Что же пили под такую прекрасную закуску?

– Муж пил только по праздникам, коньяк или водку. Но много не пил. Пьяным я его не помню.

– Какой была зарплата, приносил ли он ее или откладывал на сберкнижку?

– Зарплату всегда приносил всю, и я ею распоряжалась. Я знала, что и кому надо купить. Предпоследняя его зарплата на посту секретаря ЦК была 400 рублей, а когда стал генсеком, стал получать 600 рублей. Машина тогда стоила 3000.

– Известно, что Андропов писал стихи, а ваш муж любил поэзию? Какие поэты ему нравились?

– Очень любил Есенина, Некрасова, знал их наизусть. Любил также Твардовского. Конечно, боготворил Пушкина и Лермонтова. Когда мы на отдыхе в Кисловодске гуляли по парку, он читал мне стихи «Выхожу один я на дорогу». Наш брак был счастливым. Костя ни разу не обидел меня ни словом, ни действием. По его взгляду, по его первой реакции я понимала, что он чем-то недоволен, и старалась поправить дело. Мы все прощали друг другу. И вместе прожили 42 счастливых года.

2000

Глава 34. Ольга Аросева: «люблю людей, которые смеются»

Ольга Аросева, народная артистка СССР, родилась 21 декабря 1925 года в Москве. Отец, Александр Яковлевич Аросев – один из руководителей Московского революционного восстания в 1917 году, затем – дипломат. Мать, Ольга Вячеславовна Гоппен, родом из польских дворян, окончила институт благородных девиц, работала секретарем-референтом у Полины Жемчужиной, жены Вячеслава Молотова. В роду Аросевой – польский аристократ, усмиритель польского восстания 1863–1864 годов Михаил Муравьев, купец первой гильдии, актеры.

Детство Ольги Аросевой прошло за границей – в Париже, Стокгольме и Праге. В 1933 году семья вернулась в Москву.

– В своей родной «Сатире», Ольга Александровна, вы уже, кажется, более 55 лет. Это же подвиг! О своем служении театру вы даже книгу написали…

– Книга не только о театре. Мои мемуары – о театре, о детстве, о родителях, о том отрезке времени, который Бог подарил мне на этом свете. С кем зналась, дружила, кто на меня влиял. Это не личная жизнь, не романчики.

– О романах ни словечка? Не поверю. Я слышал, что у вас была бурная жизнь.

– Нормальная, но зачем обо всем этом рассказывать. Я не люблю сплетен. Для меня моя жизнь – творчество. И потом, я прожила огромный исторический отрезок времени. Очень интересный.

– Некоторые ваши коллеги по «Сатире» все же решаются на откровенно-лирические мемуары.

– Намекаете на книгу об Андрюше Миронове. Но тоска – говорить о той книге и об авторе. Хотя я считаю, что человек имеет право писать о чем угодно, в том числе и выражать всяческие фантазии, но нельзя все и всех чернить на этом свете. И делать виновниками своих неудач других.

– Ваш театр всегда был отдушиной для зрителей, не так ли?

– Да, вы правы, он был перекрестком, на который сходились, с одной стороны, зрители, с другой – те, кто «наезжали», недовольные смелостью театра, правдой его спектаклей. Ведь именно Театр Сатиры заново возродил пьесы Маяковского «Клоп» и «Баня», которые ставились еще у Мейерхольда. Мы ставили Эрдмана, которого не решались показывать даже Станиславский

и Мейерхольд. Мы инсценировали «Теркина на том свете» Твардовского. Конечно, мы тоже боялись цензуры, запретов, но дело свое делали честно, потому что знали, что нельзя у народа истребить желание смеяться.

– Вы комедийная актриса, и вам, наверное, ближе человек, который смеется?

– Конечно, я оптимист по природе. Я люблю смеяться и люблю людей, которые смеются.

– Как же быть с теми, кто приходит к вам в плохом настроении? Или у вас самой кошки на душе скребут; как получается веселить других?

– Не важно, какое у меня настроение, моя профессия – поднимать настроение. Бухгалтер с плохим настроением все равно должен выдать зарплату.

– А плакать, когда нужно, умеете?

– Конечно, плачу. Актерский дар, способности. Актер ставит себя в положение героя и плачет, если надо.

– Если «сатировцы» такие смелые, скажите, когда вы перестали бояться анекдотов? Наверняка рассказывали их только по кухням?

– Нет, открыто, не боялись. Только герои менялись, то Чапаев, то армяне, тот евреи, а нынче «новые русские».

– Не всегда ваша жизнь была веселая, беззаботная. Переживали ведь и серьезные времена?

– Конечно. В этой квартире я живу десятки лет и только недавно сделала ремонт. Отдирала обои и зачитывалась старыми газетами: война на Ближнем Востоке, наш Даманский. А ведь я ездила туда поднимать дух бойцов в их противостоянии с китайцами. Прямо под бомбы. Помню, начальник заставы Константиновский возмущался, кто это ему артистов нагнал, как снег на голову свалились, отправить их надо обратно. А один солдатик и говорит: «Товарищ полковник, но они же к нам с душой». Помню, как мы пошутили над одним нашим чтецом, который слишком громко декламировал: «Тише, тише, китайцы услышат и ударят по нам».

– А вы боялись?

– Нет. Я ведь и в Афгане была. Не боялась. Правда, как и другие, не боялась только по легкомыслию, не понимая ситуации.

– Ольга Александровна, вопрос неожиданный: чем пах Сталин?

(Молчит.)

– Ну чем пах Сталин, ведь вы сидели у него на коленях?

– А… Не на коленях, он держал меня на руках. Было это на параде в Тушино в 35-м году. Там был и мой отец, приближенный к Кремлю, посол. Вот мне и «повезло» побывать на руках вождя

народов. А чем он пах… Да табаком.

– А что вы сегодня думаете о нем, ведь он погубил вашу семью, уничтожил отца.

– Это был великий злодей. Его нельзя назвать ничтожеством или слабым. Главная его черта – властолюбие. И еще мне кажется, что он был трусом. Он боялся потерять власть. И от этого всех подозревал. Но я не историк и не могу судить широко. Скажу при этом, что когда он умер, я плакала. Было ощущение катастрофы.

– Несмотря на то, что он убил вашего отца?

– Я долго не верила в это, да и мать скрывала. Мне говорили, что отец уехал. Он ведь и впрямь часто бывал за границей, то послом в Швеции, то в Чехословакии. И я не стала Павликом Морозовым, верила, что отец прав. Ведь он меня воспитывал, как честный коммунист. Он в партии состоял с 1907 года, а по должности в революцию был начальником штаба вооруженных сил в Москве. В комсомол я не поступила: требовали отречься от отца. Я ответила отказом.

– Вы все знаете об обстоятельствах смерти отца? На Лубянку ходили?

– Да, мне дали его дело. Он держался до конца, отрицал вину. А взяли его, скорее всего, за вторую жену. Он привез ее из Праги. 8 февраля 1938 года на заседании тройки отца приговорили к смерти и через два дня привели приговор в исполнение. А знаете, где?

– Догадываюсь, на улице 25-го Октября, где сейчас памятник Ивану Федорову, там был горвоенкомат.

– Точно. Судили его вместе с Антоновым-Овсеенко. Вместе и расстреляли.

– Личная трагедия не сломила вас, вы не озлобились на весь мир. Миллионы людей знают вас, как веселого доброго человека.

– (Смеется.) Да, я не злая и не желчная. Не успела всего этого накопить, потому что занималась любимым делом – театром, искусством. Окончила цирковое училище, что называется, по проволоке ходила. Не клянчила ни званий, ни наград. Не давали – в обморок не падала.

– Ну, сейчас-то вы самая что ни на есть народная…

– Ну уж, конечно, при этом звании…

– Много страшных событий прошло на ваших глазах, вы много пережили. Что осталось в памяти? Убийство Зинаиды Райх до сих пор остается загадкой…

– Помню по тогдашним разговорам, убили ее в собственной с Мейерхольдом квартире. Соседи слышали страшные крики, на полу остались кровавые пятна. Ходила версия ограбления. Не уверена, что когда-нибудь мы узнаем правду об этом страшном

злодействе. Как, впрочем, и о гибели Всеволода Эмильевича[24]. Разное говорили. Будто бы чуть ли не в 50-х годах где-то в лагерях какой-то старик ставил гениальные спектакли. Но поверить в это нелегко.

– А убийство Зои Федоровой[25]? Это уже наши времена…

– Ну, что-то вас тянет на чернуху… Что сказать? Таинственное убийство. Что предшествовало? Дочь уехала в Америку, к отцу, Зоя, по слухам, тоже собиралась. И вдруг… Меня на допросы затаскали. В прокуратуру. В то время мы были вместе заняты в съемках картины «Шельменкоденщик», и меня выспрашивали, кто мог с ней расправиться. А я им, естественно, говорила, что хотела бы узнать об этом от них.

– Скажите честно, если бы не ваш, простите, легкомысленный кабачок «Тринадцать стульев», вы были бы так невероятно знамениты? Как вы чувствовали себя после его закрытия?

– Пусть это не звучит нахально, но я всегда была известной как актриса театра и кино. Но, конечно, многомиллионную всенародную популярность могло дать только телевидение. Я это ощущаю до сих пор. Сколько людей воспитывалось «кабачком», сколько людей находило в нем отдохновение. Еду куда-нибудь с концертом, играю, рассказываю, а из зала кричат: «Давайте пани Монику!»

Я понимаю публику – пятнадцать лет мы тащили этот воз, не шутка. Люди к нам привыкли, мы входили в каждый дом, как свои, родные. И это наше счастье. Отголоски этой славы я ощущаю и сегодня. Еду с дачи в электричке, в штопаных носках и драных тапках, слышу, шушукаются: «Она? Неужели пани Моника?» Да что простые люди, не секрет, что нас очень любил сам Леонид Ильич. Как-то раз я не могла приехать на выступление, так он интересовался, что случилось.

– Ольга Александровна, кто, по-вашему, в «сатирическом» коллективе был самым смешным? Папанов?

– Папанов был, конечно, очень смешным. Но одновременно и очень глубоким. Чего стоит роль Серпилина в фильме «Живые и мертвые». Мишулин – комик, но как прекрасно он сработал в «Белом солнце пустыни».

– Над Андреем Мироновым вы, наверное, выплакали все слезы?

– Это была какая-то библейская история. Почти одновременно ушли из жизни два едва ли не самых известных комедийных актера нашего цеха. Здоровый, молодой, красивый, богатый, популярный Миронов. Ему было 46. Папанову – 64. Жутко и страшно, и так несправедливо.

– На вашем столе я вижу не Пушкина и не Островского, а биографию Николсона – кумира Голливуда.

– Любимый мой актер.
2000

Глава 35. Наталья Решетовская: последнее интервью

Мы были знакомы семнадцать лет. С той еще поры, когда она пребывала в глубокой опале: Солженицын вычеркнул ее из своей жизни новым браком, детьми, и многие его поклонники не простили первой жене писателя изданную ею в Агентстве печати «Новости» книгу «В споре со временем», которая, как считали, была написана в сотрудничестве с КГБ.

Я пришел к ней в квартиру на Ленинском проспекте, которую она превратила в музей мужа-писателя, лауреата Нобелевской премии. Наталья Алексеевна поразила меня силой духа, феноменальной организованностью в творчестве и быту, ясным аналитическим умом, логикой суждений, удивительной упорной верностью делу, слову и… своему великому бывшему мужу. Мне даже тогда показалось, что в этом «овеществленном» фанатизме было нечто мазохистское – жить рядом с вещами оставившего ее мужа, молиться на них, оберегать этот пантеон. Возможно, так она хотела загладить свою вину перед человеком, которого очень любила. Возникшая раковая болезнь (которая вроде бы отступила, как, кстати, отстала опухоль когда-то и от самого Солженицына) усугубляла драматическую ситуацию.

Тогда мы почти подружились: я рассказал о Решетовской в печати, пригласил ее в «Зеленую лампу» с первым на ТВ сюжетом о вермонтском сидельце.

…С той поры прошло много лет, и вот я снова позвонил Наталье Алексеевне. Она обрадовалась, пригласила в гости. Если бы я знал, что старый недуг все же догнал несчастную женщину, то, может быть, не поехал и не мучил бы Наталью Алексеевну расспросами. Хотя, возможно, предчувствуя скорый уход, она хотела еще раз поговорить о самом больном…

– Наталья Алексеевна, когда Солженицын в 1994 году вернулся на родину, вы мечтали о встрече с ним?

– Увидимся мы или нет, я не знала. Зависело от него, но он не захотел. Мне кажется, что в каких-то душевных порывах он старался себе не сознаваться. Не может быть, чтобы его не тревожила совесть. Ведь, когда его посадили, я ждала его много лет. Не дождалась, что было, то было: вышла замуж за человека старше себя с ребенком. И этим потом мучилась, казалась себе преступницей… Нет, после его возвращения на родину мы так и не встретились. Правда, один раз он позвонил.

– Материально вам помогает? Ведь вы живете на пенсию.

– Три года назад я упала, сломала шейку бедра, стала лежачей. Он оплачивает сиделку (вернувшись в Москву, Солженицын выплачивал своей бывшей жене по 3000 долларов в год. – *Ф. М.)*.

– *Когда Солженицын сидел в лагере, вы его поддерживали?*

– Из своей зарплаты преподавателя я посылала пятьсот рублей каждый месяц. Тогда это было сложно, я боялась, что меня вышвырнут из института, поэтому деньги я посылала своим родственникам в Ростов, а они уже отправляли ему продуктовые посылки.

Вообще мы долго жили на мою доцентскую зарплату. Только в 1969 году, когда он стал получать западные гонорары за книги, он сказал: «Я разрешаю тебе уйти с работы». Я ушла из института, в котором проработала много-много лет и вкладывала в работу всю свою душу. Ушла и стала писать мемуары. Точнее, вести дневник его трудов и жизни. Однажды Саня попросил меня дать ему дневник на прочтение. Читал-читал, потом через балкон зовет меня: «Иди на расправу». Пришла, а он: «Я от тебя такого не ожидал». Был восхищен. Ну вот, а дальше… А дальше – в том же году у Светловой начал расти животик. Я была беременна мемуарами, а его любовница – будущим их первенцем, Ермолаем. Мы же 27 апреля 70-го года отметили 25-летие совместной жизни. «Выпьем за то, чтобы до гроба быть вместе», – поднял Саня свой бокал. Вот так…

– *Какие чувства вы испытываете сегодня к Наталье Светловой: ненависть, зависть, безразличие?*

– Сейчас я спокойна, а тогда, конечно же, видеть ее не хотела. Разлучница. Все дело в ребенке. Он очень хотел ребенка. У меня же после операции рака матки не могло быть детей.

– *Это правда, что после операции врачи заявили Солженицыну, что он не сможет иметь детей?*

– Да, это так. После той операции я круглые сутки сидела возле него… «Нам дети не нужны, у нас другое предназначение…», – все повторял он. Но жизнь, как видите, распорядилась иначе – мое предназначение, как оказалось, быть всегда с Солженицыным, а вот детей Бог ему дал.

– *Почему вы целых три года не давали мужу развода? Биографы считают, это его озлобило.*

– Я была уверена, что, если я не дам развода, я буду его женой всегда. Мне было обидно – со мной он стал известным писателем, Нобелевским лауреатом, я отдала ему всю жизнь, а тут другая женщина… Кстати, могу заметить, что у Солженицына всегда были поклонницы, он видный, интересный мужчина. (Есть свидетельства, что после того как Решетовская узнала о

присуждении бывшему мужу Нобелевской премии, она написала завещание и приняла убийственную дозу мединала. Муж вызвал врача, тот ввел в кровь глюкозу, и несчастную отвезли в больницу, где она проспала трое суток. Наталью Алексеевну спасло то, что она запила таблетки холодной водой, а не горячей. – *Ф. М.)*

– *Вы сильный человек…*

– Да, представьте, столько перенести болезней, второй рак переживаю. Но, если честно, устала от операций, вот еще и шейку бедра сломала. В Пасху, 30 апреля, три года назад засмотрелась на пасхальную передачу и уснула. Телевизор разбудил меня противным сигналом, я вскочила, чтобы выключить, и упала.

– *А кто сильнее – вы или Александр Исаевич?*

– Нет, я хоть и храбрюсь, но сравнивать себя с ним не смею.

– *Правильно то, что Александр Исаевич отказался принять из рук Ельцина орден Андрея Первозванного?*

– По-моему, нет… Впрочем, мне сейчас уже труднее стало судить о тех или иных вещах. Ведь все надо взвешивать, анализировать. Раньше у меня была чистая голова, какое-то обостренное мышление. Сейчас некоторые вещи как в тумане.

– *А надо ли было Солженицыну возвращаться в Россию?*

– Нет! Но это был бы уже не он, если бы не вернулся.

– *Сохранилась ли ваша переписка и где хранятся письма? Ведь это письма великого человека.*

– Во время войны Саня письма нумеровал, сохранилось более двухсот. Некоторые я использовала в своих книгах, их у меня шесть. Десять лет назад я передала их в архивы Москвы и Ленинграда, Пушкинский дом мне кое-что даже заплатил. А Москва – нет. Тогда-то у меня деньги были, все-таки от Солженицына я получала доллары. Дело не в деньгах, все кругом шаталось, а мне важно было сохранить его письма для потомков. А конспирации мы учились одновременно.

– *Вы сходились с мужем характерами?*

– Да, очень сходились. Даже трудно сказать, в чем мы расходились.

– *А как, по-вашему, когда он стал известным писателем, общественным деятелем, – изменился?*

– Да, когда начали широко печатать, стал меняться. И по отношению ко мне, и вообще…

– *Значит, правда, что слава портит любого человека?*

– Думаю, что да. Во всяком случае, я по отношению к нему не менялась, а он стал другим.

– *Когда он все же один-единственный раз вам позвонил, чтобы поздравить с днем рождения, как выдержало ваше сердце такую*

эмоциональную нагрузку?

– А я только и смогла произнести: «Боже мой!» Голос у него не изменился, такой же быстрый, молодой. Но когда я иногда в свой монокуляр вижу его крупное лицо по телевизору, я твержу: «Нет, это уже не мой Саня».

Мне показалось, что Наталья Алексеевна устала, речь ее становилась все медленнее… И хотя она готова была еще продолжать разговор, я стал прощаться.

– Вы просмотрите наше интервью перед публикацией? – спросил я собеседницу. Ответа я уже не услышал. Решетовская заснула. Я уверен, что в эту ночь ей приснился навечно любимый человек. Саня, Александр Исаевич Солженицын. Великий писатель XX века. Ее муж, ее гордость, ее боль, вся ее жизнь.

2002

Глава 36. Екатерина Васильева: горькая исповедь

Если честно, я не предполагал, что мои разговор с народной артисткой РСФСР Екатериной Васильевой будет столь неожиданным, даже шокирующим. Шел на назначенную встречу в Дом кино с неким предубеждением, и вопросы, которые пришли мне в голову, касались в основном светской биографии и творчества популярной актрисы. «Что ж, – думал я, – молва хоть и твердит, что Васильева на какое-то время уединялась в монастыре, но потом ведь вновь стала появляться на сцене. Временное увлечение, вызванное разочарованием, или, наоборот, какой-то пресыщенностью, – такое бывает».

И мне вспомнилась талантливая, яркая игра Васильевой и в Театре имени Ермоловой, и в «Современнике», и во МХАТе, и в знаковых спектаклях «Валентин и Валентина», «Чайка», «Дядюшкин сон», «Господа Головлевы»… Ее роли в кинофильмах «Бумбараш», «Обыкновенное чудо», «Визит дамы», «Двадцать дней без войны» и во многих других, запомнившихся именно характерной игрой самобытной артистки. Я даже не знал, заговаривать ли с Екатериной Сергеевной, ныне казначеем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, на необычную и непростую тему ее отношений с Богом. Вдруг обидится? Ведь это вторжение постороннего в личную и деликатную сферу.

Но оказалось, Бог послал мне удивительно интересного, тонкого и глубокого собеседника.

– Не все знают, что вы дочь известного советского поэта-коммуниста Сергея Александровича Васильева. Как же так вышло, что вы пошли «иным путем» и стали служить Богу?

– Да, но не все знают, что семья родителей была религиозна, что мой дед был старостой в одной из курганских церквей. К сожалению, мои родители разошлись. Это было в 1957 году, и меня сразу отправили в пионерский лагерь, а мой младший брат Антон оказался в детском саду. Мы вполне почувствовали на себе ужас от развода родителей, ощутив себя полусиротами. Уверена, что многие трагедии нашего времени идут из обездоленных, неудачных семей.

Мое поколение, а если более узко – дети писательского, актерского круга, – почти все «разводники». Развод тогда считался банальным делом – как женился, так и развелся. Кстати

говоря, уже позже, став воцерковленным человеком, я узнала, что клеймо распада семьи переносится на последующие поколения.

– Не обижайтесь, Екатерина Сергеевна, но с вами лично было то же самое – развод с Михаилом Рощиным. Значит, все сходится?

– Да, сходится. Я в точности повторила историю мамы, я, как и она, была инициатором развода. Когда папа с мамой разошлись, я с братом лишилась многих благ, и мы ушли в никуда. Да, позже я сделала необдуманный, больше, наверное, эмоциональный жест, уйдя от Михаила Рощина. Уйдя снова в никуда.

– Ваш сын Димитрий – сын Михаила Рощина?

– Да, Димитрий единственный мой ребенок, и я помню очень хорошо: когда после развода мы вышли из зала суда, то впереди нас весело и счастливо бежал ничего еще не понимавший пятилетний мальчик. Я часто вспоминаю тот день, хотя лучше к таким трагическим воспоминаниям не возвращаться. Позже многое сгладилось. Мы рвали сына на части, каждый хотел владеть им безраздельно, но потом смирились, снова сдружились, простили и стали как бы заново любить друг друга. Но уже по-христиански.

– Хорошо, что вы говорите обо всем этом накануне 8 Марта.

– Как же я ненавижу этот праздник! Он ужасен, его придумала Клара Цеткин[26] на горе всем женщинам.

– Не совсем понимаю вашего гнева…

– Во-первых, этот праздник всегда попадает на Великий пост, а самое главное для меня – как бы неслучайное совпадение двух дней, один из которых, праздничный, символизирует победу женщины над Богом. Эмансипация разрушила все представления о женщине, я считаю ее одним из самых жутких новообразований современного общества, апофеоз которого – праздник 8 Марта. Мы воспитывались на том, что женщина – все. А что мужчина? Придя в храм, я познала, что муж – это глава семьи, защитник и кормилец, а жена только помощница и опора. И я уже много лет живу с этим другим отношением к мужчине, начиная со священника, которому мы целуем руку, берем у него благословение, и кончая неким преклонением перед всеми без исключения мужчинами.

С какой радостью и одновременно завистью смотрю я, будучи уже двадцать лет в церкви, на семьи, которые живут по иным, по христианским законам, где много-много детей, где развод немыслим и невозможен, где брак освящен таинством венчания. И думаешь: «Боже мой, чего же нас лишили? Лишили самого главного – отняли радость семьи».

О смысле жизни мы не задумывались, мы жили, как бараны, как, к сожалению, живет очень много людей. Ну как же можно

жить, не понимая, зачем ты живешь? Родиться на свет, чтобы умереть? Наверное, не для этого же… Как можно не знать всего этого, когда в любой церковной лавке есть книги на любые темы? В свое время мы не могли найти ответа, занимались только социальными вопросами и стали жертвами перевертышной демагогии.

– И все-таки, что значит «победа женщины над Богом»?

– Это по Кларе Цеткин. Она же атеистка, фанатичка была.

И я жду не дождусь, когда отменят это 8 Марта или перенесут. Скажем, на неделю жен-мироносиц – в первую неделю после Пасхи, когда все женщины празднуют свои именины. И это воистину женский праздник!

– Для вас понятие «любовь», как мне кажется, связано только с Богом? Кого из своих мужчин вы любили настоящей любовью?

– Можно, я не буду отвечать на этот вопрос?

– Тогда спрошу по-иному: простите, почему у вас только один ребенок? Вы не хотели больше детей?

– Нет, я хотела больше… Я не знаю, как ответить… Один ребенок – это мои грехи… Как вам сказать, один ребенок – это грех абортов. Грех прощен, смыт, но для меня все равно он остался тяжестью на душе. Если бы вы знали, что такое горе, неизбывное. Когда я вспоминаю обо всем этом, я будто бы задыхаюсь, меня накрывает страшной волной, непомерным ужасом, мне начинает казаться, что это не простится никогда. Поэтому, когда я смотрю на многодетные семьи, я чувствую себя обездоленной, Господи, что же я делала, что же делали мы все, как легко мы разводились, как легко мы избавлялись от будущих детей. И ведь никто нам не говорил, не убеждал нас, не объяснял нам, что такое семья, в которой мужчина – глава, а женщина «да убоится мужа своего». Нас не учили ни шить, ни вязать, ни готовить, ни воспитывать.

Только я говорю, конечно, не обо всех. Я говорю о своей среде, в которой я росла. Мы сами учились пить, курить, быть свободными настолько, насколько это возможно. Поэтому все это выдавалось как некое противопоставление системе, выражение личностной свободы. Но это такая чушь! Поверхностные ценности выдавались за очень важные, была сплошная ложь, не та – тоталитарная, партийная, про которую без конца талдычили, а ложь духовная. Нас изуродовали, у нас отняли Бога, а это значит – отняли все представления о ценностях жизни, об абсолютных истинах. Кто выжил, тот выжил. Но духовно выжили единицы. Чудом выжила и я.

– Вы курили?

– Конечно. И очень рано начала выпивать. Еще в школе, в 9—

10 классах, мы уже прилично выпивали, это считалось даже шиком, нормой жизни. А главное – мы, девчонки, уравнивали себя с мальчиками, мужчинами. А поскольку я была очень тщеславной, то для меня отставание от кого бы то ни было всегда было невозможным. И я пила наравне с мальчишками. Рано начала материться, и все от меня были в восторге: своя в доску, лидер, вожак. Культивировала в себе остроумие, и тут мне не было равных, все анекдоты – мои, все хохмы, байки, истории – все мои, оттачивала язык. Вот так и вышло, что уже к поступлению во ВГИК я была готовенько-развращенной. И это при том, что тайная, подлинная моя жизнь была целомудренна и чиста долгое время. Ведь душа по природе своей – христианка. Хотя никто об этом не знал, потому что я всем говорила, что прошла медные трубы, иначе в компаниях бы не котировалась. Так что еще один чисто русский порок во мне – сокрытие своих добродетелей. Как бы в угоду гордыне я слишком заигралась в игру, из которой потом было трудно выходить.

– Получается, что вас развращали не только люди, но и сама эпоха?

– Да, безусловно. То была эпоха «шестидесятников», и ничего хорошего в ней я не вижу. Надо сказать, я была начитанной особой: с одной стороны, папа – поэт, литератор, с другой – Антон Макаренко, знаменитый педагог и писатель, был моим родственником по маминой линии. Я считаю, что меня развращал, к примеру, Хемингуэй и еще два-три писателя, которых наравне с Кларой Цеткин я могу назвать болящими. Портрет Хемингуэя висел, точно икона, чуть ли не в каждом красном углу. Западные властители умов изуродовали наши души, ибо мы работали под их героев. Нынче, когда я читаю книги духовного содержания, жития святых, просто жизнеописания моих воистину духовных современников, я с ужасом оглядываюсь назад: ведь они жили со мной в то же время, молились и страдали, но я о них ничего не знала. Выходит, что мы жили вне истории, вне России. Мы – это московская «золотая» молодежь – никакого отношения к тому истинному, чем жила Россия, не имели. Мы были сплошным уродством, помойкой. Мы смотрели фильмы Антониони, Феллини, и наши уши были повернуты на тот же Запад. Диссидентская волна выдавалась за важное, самое важное, ибо нас убеждали, что мы борцы с режимом. И я хотела было уже влиться в диссидентское движение, но Бог миловал, я не попала в эту компанию, а просто стала артисткой.

– Но театр, лицедейство, комедиантство – это ведь от дьявола? Выходит, что, став верующей, играя у Меньшикова в

«Горе от ума» сегодня или в только что снятом фильме Янковского, вы служите и Богу, и дьяволу?

– Страшные слова вы говорите. Но это мой грех, и я за него буду нести ответ. Игра мне дается с трудом, особенно последние работы у Питера Штайна или в «Королеве Марго». Тяжело мне было играть, невыносимо. Это наказание, мучение. Как тяжело мне давались пять минут на сцене в «Горе от ума»! Вы представить себе не можете, об этом знают мои домашние: уже за день до спектакля меня крутило, мутило, я не находила себе места.

И выход у Меньшикова был не выходом перед публикой лицедейской актрисы, а просто Кати Васильевой, некоего знака, символа принадлежности моей к театру, к людям. Я действительно в свое время на пике творческих сил ушла из театра и кино, а то, что сейчас я сыграла у Меньшикова, не считаю возвращением на сцену. И зал – я чувствовала – понимал меня.

Так что в моем нынешнем положении я нахожу оправдание греху, о котором вы спросили. И у Янковского я согласилась играть потому, что этот фильм о тех же самых проблемах воссоединения семьи. Это совершенно христианская картина. И меня интересовала только идея, ни в коем случае не лицедейское мое участие.

– Вы можете назвать актеров, которые вам духовно близки?

– Понимаете, духовная близость – это не книжная близость, а близость, имеющая отношение к Церкви, поэтому духовные люди – те, которые находятся в Церкви. Валера Приемыхов посещал наш храм (Царство ему Небесное), он был моим другом и духовным братом, у нас общий духовный отец в нашем храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Приходят Киндинов с супругой и дочкой Дашенькой, Миша Ефремов с новой супругой Ксенией Качалиной, известной уже актрисой, у них недавно родилась девочка, и крестили ее у нас. Я вижу в храме Ирину Мирошниченко, Валеру Золотухина, Юрия Петровича Любимова, Иру Муравьеву, Людмилу Зайцеву, Володю Ильина, да многих, многих, слава Богу.

– Скажите, Святейший наш Патриарх для вас, наверное, абсолютно безукоризненный, чистейший человек?

– Абсолютно, я его бесконечно люблю, бесконечно! Я счастлива, что у нас такой Патриарх!

– А в Путине есть антихристовое?

– Да Господь с вами, ужас вы говорите, Путин хороший! Я к нему хорошо отношусь, и будет страшное разочарование, если он меня обманет. Я верю, что он будет и впредь прислушиваться к

голосу Церкви и общаться с достойными людьми, как он общался со старцем Иоанном (Крестьянкиным).

– Вы могли бы сыграть на сцене или в кино Матерь Божию?

– Боже мой, что вы говорите? Такие вопросы задавать нельзя. Это кощунство!

– Но Скорсезе же сделал фильм, в котором Христа играет простой смертный актер, и НТВ показало этот фильм.

– Как же мы просили, умоляли НТВ не делать этого, к чему было такое противостояние? Мы ходили в Останкино, женщины, дети, умоляли не показывать этот фильм, но они показали и получили свое – вы знаете, что нынче происходит с этой телекомпанией.

– Вы, наверное, отдалились от мужского общества, от мирских соблазнов, скажите, неужели вы больше не сможете полюбить мужчину?

– Что вы, нет, конечно, никогда.

Не хочу обижать других своих многочисленных собеседниц, но интервью с Екатериной Васильевой стало для меня одним из самых искренних и горьких исповедей. Мне и вправду показалось, что Божий человек, человек религии намного чище и возвышеннее нас, убогих и сирых, ведь перед ним открыты многие истины, до которых нелегко дойти. Они глубже и справедливее объясняют нашу человеческую сущность, наше предназначение на земле. С ними рядом, как мне показалось, теплее и надежнее.

2001

Глава 37. Руфина Филби: она любила шпиона номер один

Встреча с вдовой разведчика, члена легендарной «кембриджской пятерки»[27] Кима Филби далась мне нелегко. В нее, словно по определению, вторглись элементы детектива. Для начала, чтобы найти прямой телефон Руфины Ивановны, пришлось письменно обратиться в компетентные органы. Ответ пришел довольно быстро – встречу разрешили. При первом разговоре вдова самого знаменитого (возможно, после Зорге и Абеля) советского шпиона немного сомневалась – нравы нынешней прессы известны – и пожаловалась на вроде бы респектабельные «Известия», напечатавшие заметку, основной темой которой была, мягко говоря, слабость Филби к алкоголю. «Я очень дорожу памятью о Киме, и мне больно, когда искажается его образ», – сказала Руфина Ивановна. Я пообещал честную журналистику. Потом в московской квартире Руфины Ивановны начался ремонт, длившийся два месяца. А ей хотелось спокойного, цельного разговора о любимом человеке. Когда я попросился на ее подмосковную дачу, снова возникло препятствие: Руфина Ивановна предположила, что дачный поселок, в котором она живет, закрыт для фотосъемок. Тогда я нашел новый вариант: прямо напротив квартиры Филби размещается кафе «Пушкинъ». Вот где возможно все, подумал я: спокойная, душевная беседа, чай по-английски, приватный кабинет для интервью. Но не тут-то было. «Пушкинская директория», узнав, кто предполагает их посетить, с галантными манерами девятнадцатого века любезно попросила меня прислать официальный факс-запрос. Удивившись столь бюрократическим нравам респектабельной столичной кофейни, я довольно банально разрешил проблему: провел интервью в рабочем кабинете главного редактора одной из газет в центре Москвы.

…Рассматриваю фотографии, принесенные Руфиной Ивановной. Они для нее не только память о Киме, но и часть ее счастливой жизни, ее молодости. Нельзя не восхититься красотой этой женщины, следы которой сохранились и поныне. Да и как же элегантен и импозантен серебряновласый мужчина рядом с нею.

– Говорят, что между вами была огромная по советским меркам разница в годах?

– Да. Мы с Кимом из разных поколений. Из разных социальных миров. Казалось бы, ничто не предвещало нашей

встречи. Познакомились совершенно случайно. Закончив Московский полиграфический институт и проработав немного в книжном издательстве, я устроилась в Центральный экономико-математический институт. Там я подружилась с коллегой Идой, которая вышла замуж за получившего в СССР политическое убежище английского разведчика Джорджа Блейка. (Высокопоставленный сотрудник британской разведки. Один из самых ценных шпионов КГБ, передавших советской стороне секретную информацию на более 400 британских агентов. Бежавший на Запад сотрудник польской разведки выдал Блейка. Он был арестован и приговорен лондонским судом к 42 годам тюремного заключения. Но с помощью КГБ ему удался побег в Советский Союз, где Блейк получил работу переводчика в издательстве. В СССР Блейк и сблизился с другим советским агентом – Кимом Филби. – *Ф. М.)*

Я стала регулярно общаться с этой семьей, бывала у них дома, мы вместе ходили на концерты. Однажды Ида, зная, что моя мама работает в Доме актера, попросила меня достать билеты на американский балет, впервые приехавший в Москву. Для себя, Иды, Джорджа и гостившей у него матери я купила четыре билета. Встретились мы у метро «Лужники». На встречу пришел друг Джорджа Блейка, которого мне представили как Кима. Вышло так, что мать Джорджа заболела, и Ким оказался в нашей компании. Мы познакомились. Как сейчас помню, это был солнечный день, и на мне были темные очки. Мы пожали друг другу руки. И мой новый знакомый попросил меня снять очки. «Я хочу видеть ваши глаза», – сказал он на ломаном русском языке. Меня удивили его слова, но я не придала им какого-либо значения. Болтая, мы с Идой пошли вперед. Мужчины шли позади. Спустя много лет Ким мне признался, что в эти минуты он сразу влюбился и решил на мне жениться. А у меня и мысли подобной в те мгновенья не возникло.

– Знали вы, с кем свела вас судьба? Слышали о Филби раньше?

– Смутно. Лишь один раз я встретила где-то упоминание об этом интересном человеке. Я вообще не очень интересуюсь незнакомыми людьми. Сейчас это может звучать странно, но в то время было не принято особо копаться в чужих судьбах. По дороге в Лужники Ида мне рассказала немного о Киме, и я поняла, что он имел отношение к КГБ. Но я не испугалась, реагировала спокойно. Ведь мы просто познакомились, и я восприняла этого мужчину в отрыве от политики, от профессии. Он не был для меня героем. Передо мной стоял просто пожилой мужчина с несколько одутловатым, помятым лицом. Много позже Ким скажет, что муж – не герой для своей жены.

– Наверняка эта сентенция в вашей дальнейшей с Филби жизни подвергалась сомнению? Для жен многих великих людей их мужья были пророками не только в своем отечестве, но и в собственном доме. Одно то, что он был человеком закрытым, секретным, должно было к нему притягивать, не так ли?

– Да, Ким был исключительным человеком во всех отношениях: в эрудиции, в человеческих качествах, в культуре. Меня всегда удивляло, что он был прав во всем, о чем рассуждал. А ларчик открывался просто – Ким говорил только то, в чем был полностью уверен. Это отличало его от многих других, особенно от русских. Если Ким хоть немного в чем-то сомневался, он просто говорил «не знаю». Он был умным, интеллигентным, безо всякого высокомерия, считал, что высокомерно держатся неполноценные, неумные люди. Настоящий человек всегда доброжелателен. И Ким по-доброму относился к людям, сочувствовал им. И не важно о ком шла речь: о простом человеке или о генерале. Для него имело значение только одно – человек как человек.

– Чем же закончился тот культпоход на балет, перевернувший, как я понимаю, всю вашу жизнь?

– После балета Ким пригласил всех нас к себе на шампанское. От метро ехали на троллейбусе по бульварам, и я неожиданно для всех решила пойти домой. Ким очень огорчился. А через несколько дней мы вновь встретились. Ида с Джорджем позвали меня к ним на дачу, куда неожиданно приехал и Ким. Это было так забавно. Он приехал с двумя огромными сумками, в которых гремели сковородки и кастрюли. К всеобщему удивлению он заявил, что хочет приготовить свое любимое французское блюдо – петуха в вине. Ким оказался отменным кулинаром. Кулинария была его страстью. С нескрываемым любопытством мы наблюдали, как он вынимал из сумок разнообразную снедь: мясо, грибы, овощи, вина. Спустя примерно час был приготовлен замечательный ужин. Потом Ида с Джорджем, утомившись, ушли спать. Ким же о чем-то доверительно беседовал с матерью Джорджа. Она была разговорчива, к тому же любила мелкими глоточками попивать русскую водочку. Разговаривали по-английски. Я ничего не понимала, кроме постоянно повторяющего слова «Руфа». Меня это немного смутило, и я отправилась к себе в комнату готовиться ко сну. Только я улеглась, как раздался скрип открывающейся двери. В кромешной тьме появился красный огонек и стал медленно приближаться ко мне. Огонек оказался сигаретой, которую курил Ким. Он осторожно присел на краешек моей кровати и торжественно произнес:

– Я английский мужчина!

– Да-да, – ответила я, – вы джентльмен.

– Я английский мужчина, – повторял он с пьяным упорством.

– Это прекрасно, – сказала я, лихорадочно вспоминая английские слова из своего скудного словарного запаса. Вспомнила лишь единственное подходящее к ситуации слово «tomorrow» (завтра).

– Завтра, завтра, – повторяла я по-английски.

Это, казалось, его убедило, и он медленно удалился. Но через минуту снова раздался скрип двери, и снова Ким показался на пороге. Все повторилось: «я английский мужчина» – «tomorrow»… Опять осторожно закрывается дверь и через мгновенье снова приоткрывается. Я твержу «tomorrow», корчась от смеха. После третьего или четвертого раза я продолжала с замиранием сердца всматриваться в темноту. «Английский мужчина» больше не появлялся. Я уснула.

На следующий день мы гуляли в лесу, и все было уже совершенно по-другому. Ким был трезв, серьезен, озабочен. Я на него взглянула другими глазами – это был и впрямь очень интересный мужчина – значительный, умный. И тут мне стало его жалко, я решила, что его мучают воспоминания прошлой ночи. Но, как оказалось, он совсем не помнил, что было прошлой ночью.

– Как дальше развивался ваш роман?

– Поначалу влюбленность Кима меня несколько тяготила, поскольку мои чувства к нему еще не пробудились. Ким несколько месяцев продолжал очень красиво ухаживать, пока я, наконец, не попала под власть его обаяния: в нем соединялись сила, уверенность и надежность в сочетании с необычайной деликатностью. В том же году мы поженились, и я переехала к нему, стала его помощницей, секретарем. Он никогда не подходил к телефону. На все звонки отвечала я, регулировала всю его внешнюю жизнь.

– Как Филби адаптировался в Москве, к советской атмосфере, ведь он приехал из Европы?

– Ким был удивительно пунктуальным человеком. Его шокировала русская необязательность. Скажем, я извещаю, что через 20 минут у него встреча, и Ким уже не присядет, начинает ходить по комнате из угла в угол, волнуется. А гость появляется через час. Или, например, ему приносили работу, говорили, что «срочная». Он понимал это буквально, тут же садился и все выполнял. Проходит неделя, а за «срочной» работой никто не приходит. Ким удивляется, возмущается. Он так и не смог привыкнуть к нашему разгильдяйству.

– Когда вы познакомились, Филби был абсолютно закрытым человеком. Интересно, как спадала эта закрытость? Ведь иначе бывший разведчик не смог бы стать для вас близким и родным.

– Действительно, поначалу о его прошлом я почти ничего не знала. В Советском Союзе он был настолько неизвестен, насколько знаменит на Западе. Однажды я была потрясена, когда в его личной библиотеке наткнулась на целую полку книг, посвященных его жизни. Правда, все книги были на английском, который тогда я плохо знала. Вообще мы общались друг с другом на смешной смеси французского с нижегородским. Освоив со временем английский, я выступала в роли его переводчицы. Вот тогда-то я и сумела прочитать книги о моем муже. Живя с ним бок о бок, трудно было сознавать его шпионское прошлое. Я никак не могла связать этого мягкого, в чем-то беспомощного человека с образом легендарного разведчика. К тому же я была так воспитана, что не любила задавать лишних вопросов кому бы то ни было. И сегодня, если честно, я сожалею о своей скромности, о том, что я все-таки многого не узнала о Киме Филби. Когда человек уходит из жизни, люди жалеют, что мало о нем знали. Всегда кажется, что он унес с собой многие тайны, откровения. Так произошло и с Кимом.

– Муж был старше вас на много лет, и в прошлой его жизни были, конечно же, увлечения. Об этом-то он вам рассказывал?

– Очень мало. Он не любил говорить на интимные темы. Но я поняла, что этого мужчину очень любили женщины. Кстати, муж тоже редко спрашивал о моем прошлом. Тому есть простое объяснение – Ким был очень ревнив. Только однажды он спросил даже не меня, а мою подругу, почему я не выходила замуж, ведь мне уже 38. В тот момент я готовила что-то на кухне, и она прибежала ко мне с вопросом: как же ему ответить. Я выпалила: «Скажи, что меня никто не брал». Рассказывая о забавных эпизодах из своего прошлого, я чувствовала, что Ким весь сжимался, будто боялся чего-то. Ида мне как-то сказала, что последняя жена Филби написала о нем книгу «Шпион, которого я любила», и добавила: «Почитай, тебе будет интересно». Совет меня заинтриговал, и я попросила Кима дать почитать эту книгу. Он мгновенно изменился в лице, потом ушел в свою комнату, и больше этой книги я не видела, хотя перерыла всю его библиотеку. Ким просто уничтожил ее. Как человек решительный, он умел отсекать за ненадобностью те или иные части своей прошлой жизни. Со мной у него началась другая жизнь, словно до меня ничего не было.

– Почувствовал ли он разочарование в социализме, увидев его прелести своими глазами? Каковы были в ту пору его политические

взгляды?

– Знаете, однажды он сказал: «Я уже слишком стар, чтобы начинать все сначала». Конечно, многое, что он увидел в СССР, его разочаровало, но все-таки он оставался коммунистом. Хотя ни в какой партии не состоял. Тем не менее, он считал, что путь социализма – верный путь, но полагал, что эти идеи неправильно воплощаются. Он был уверен, что социализм когда-нибудь приведет к правильному укладу жизни. Все дело в людях, в их отношении к самой системе. В конечном счете, Ким оказался прав, потому что наш социализм не был настоящим социализмом. Как, например, в Швеции, где более справедливое общество.

– Как Филби отнесся к перестройке? Была ли она ему близка?

– Ким ушел из жизни в 1988 году, и в СССР к тому времени мало что изменилось. Но, конечно же, после безвременья Брежнева Филби с энтузиазмом воспринял приход Горбачева к власти. Правда, вскоре у него появилось легкое раздражение. Он говорил, что ничего особенного не происходит, а ускорение, о котором трубили, только фикция. Его раздражала демагогия вождей.

– Принимали ли советского супершпиона высшие кэгэбэшные начальники? Встречался ли он с Андроповым?

– Да, несколько раз. После визитов на Лубянку он рассказывал о встречах с Юрием Владимировичем, который ему очень нравился. Говорил, что Андропов умный, глубокий человек, что он правильно все понимает и легко схватывает. Что с ним интересно говорить на профессиональные темы.

– Когда вы стали женой шпиона, с вами наверняка беседовали люди из КГБ? Давали ли вы подписку о том, что не будете разглашать те тайны, которые Филби мог вам поведать?

– Нет, я ничего не подписывала, и никто со мной никогда не вел никаких бесед. Хотя в КГБ были не в восторге от выбора Кима. Мою персону там внимательно изучали, но я не испытывала никакого давления. Хотя, зная те времена, конечно, можно было всего этого ожидать. Если честно, наш союз может показаться странным, ведь среди моих друзей были даже диссиденты. И об этом КГБ, конечно, ведал. Скажем, моей близкой подругой была дочка писателя Льва Копелева, знакома я была с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Вообще на тему «Филби – КГБ» ходило много легенд. Писали, например, что у него свой кабинет на Лубянке, что за ним приезжает шофер, что он катается, как сыр в масле. Другие наоборот, извещали публику, что крупный советский разведчик живет в нищете, что он опустился. На самом деле не было ни того, ни другого. Филби жил, как все. По тем временам не бедно. Он получал пенсию в

500 рублей, которую потом подняли до 800.

– Говорили, что Ким Филби имел звание генерал-лейтенанта КГБ…

– Нет, вы ошибаетесь. Киму в КГБ не присваивали никакого воинского звания. Да и ему это было как-то безразлично. Он вообще на Лубянке был только в качестве гостя. Вы знаете, до сих пор о Киме пишут всякое. Недавно я наткнулась на заметку о том, будто бы Сталин подарил одному из главных своих клевретов символическую «гору Арарат» из драгоценных камней. Это лишь фантазии газетчиков, одни солгут, а другие перепечатают.

– Были ли у Филби личные встречи со Сталиным? Вопрос, возможно, наивный, но, как известно, товарищу Сталину до всего и до всех было дело?

– Наверняка Сталин знал об одном из ярчайших наших разведчиков. Хотя, быть может, подлинное имя Филби скрывалось за агентурным псевдонимом.

– Кстати, как он относился к Сталину?

– Живя за границей, он мало знал о сталинских репрессиях и ужаснулся, когда узнал правду.

– Мы уверены, что Ким Филби – Герой Советского Союза, ведь его заслуги были огромны.

– Нет. Ким не был Героем Советского Союза. Он награжден орденами Ленина и Красного Знамени. Кстати, уникальный случай: Филби одновременно являлся обладателем высших наград за особые заслуги перед Соединенным Королевством Великобритании и Советским Союзом.

– Руфина Ивановна, существует представление о шпионе как человеке, который что-то прячет, упаковывает, все время озирается…

– Ну что вы! Ким был интеллектуалом. Вообще настоящий разведчик – это прежде всего аналитик. Эта работа достаточно скучная, будничная, где надо быть точным, скрупулезным. Разведчик – это упорный труд. Это совсем не то, что мы видим в кино.

– Как воспринимал Филби фильм «Семнадцать мгновений весны»?

– Он смеялся, хотя ему очень нравился Броневой-Мюллер. А про Штирлица-Тихонова он говорил, что с таким лицом разведчик не продержался бы и дня, потому что его внешность не соответствовала немецкому менталитету. Ведь немцы – веселые люди, они наслаждаются жизнью. А со штирлицевской гримасой его бы тут же разоблачили. Фильм, конечно, сделан хорошо, но с профессиональной точки зрения слабоват.

– Любопытно, был ли хоть в чем-то легендарный Джеймс Бонд

примером для Филби?

– Насчет киноверсии не помню, но книги об агенте 007 он покупал и читал. Он вообще любил детективы и в бессонные ночи мог проглотить несколько романов.

– И все-таки, не обижайтесь, что вы скажете о сплетнях, будто бы в последние годы жизни великий разведчик стал запойным пьяницей?

– Да, действительно, такая проблема была, но только в самом начале нашей совместной жизни. Ким часто впадал в депрессию. Он считал, что его знания, опыт плохо используются. Он хотел и мог быть полезен советской державе. Однажды он даже воскликнул: «Я весь переполнен ценной информацией. Я готов ею поделиться. А это, оказывается, здесь никому не нужно». Но все, слава Богу, обошлось, Ким сумел справиться с алкоголизмом. И я горжусь, что в этом есть и моя заслуга. Позднее он говорил, что пьянство – самый легкий способ самоубийства.

– Почему же человек, которым гордится наша разведка, был не полностью использован?

– Мешала глупость, бюрократизм. Шел 63-й год, оттепель закончилась, и закрытость общества становилась нормой. В СССР тогда рассуждали так: если ты ничего не делаешь, ты ничем не рискуешь. Так было проще. И еще это все потому, что, по-видимому, его курировали не слишком серьезные и глубокие профессионалы, о чем он написал в своей книге, изданной на Западе в 1967 году. Книга вышла в 11 странах, Советский Союз в этот список не вошел. У нас же, словно спохватившись, ее напечатали только в 1980-м году. Кстати, недавно эти уникальные признания Филби переиздали в США.

– История знает немало примеров того, как спецслужбы уничтожают своих разведчиков, перешедших на сторону противника. Не пытались ли британские спецслужбы устранить Филби?

– Да, в первый год совместной жизни нам постоянно твердили, что Киму угрожает опасность. Советовали реже выходить из дома. Выделили даже личную охрану. Каждый раз перед выходом на улицу я должна была звонить по определенному номеру и говорить: «Мы выходим». Мы с Кимом выходили, и за нами демонстративно следовало несколько телохранителей. Уж совсем бессмысленно выглядели охранники, когда в полном составе на черной «Волге» сопровождали троллейбус, в котором мы находились. Однажды водитель такси, в котором мы ехали, увидев неотступно следующую за нами «Волгу», поинтересовался, знаем ли мы, что «за нами следят». Как такая охрана могла защитить Кима, если ему действительно

угрожала опасность? Вообще Ким никогда серьезно не относился к разговорам об угрожающей ему опасности, и никогда не было с нами инцидентов, говорящих о какой-либо опасности.

– Живы ли сегодня кто-либо из родственников Филби?

– У Кима была довольно бурная личная жизнь, и сегодня в разных странах живут пятеро его детей. Недавно умерла его родная сестра.

– Вы живете в той же квартире, порог которой переступили много лет назад вместе с Кимом? Извините за любопытство, какими из сохранившихся личных вещей Филби, его подарков вы особенно дорожите?

– Его личный сейф был всегда открытым, но я никогда в него не заглядывала. Когда он умер, я его открыла и, обнаружив там две черных папки, мгновенно поняла, что в них что-то профессиональное, и читать не стала. Позвонила куратору и отдала ему эти папки. Позже друзья корили меня, что совершила большую глупость. Не исключено, что в записях одного из самых закрытых людей страны было много интересного. Правда, должна признаться, из прочих материалов я оставила себе воспоминания Кима о его детстве. Еще одна важная для меня деталь. Свои мемуары Ким начал со слов «Руфина сказала…». Я читала его записи и наслаждалась. У Кима был особый литературный дар. Я довольна, что сохранила кое-какие записи. Иначе они бы также исчезли.

– Вы гордитесь тем, что были рядом с великим Филби?

– Естественно! Даже если бы он не был разведчиком, в моих глазах он был удивительной личностью. Человеком с большой буквы. Я была очень счастлива с Кимом. Сейчас мне даже страшно подумать, что я могла его не встретить.

– Как же все-таки аристократ, англосакс Филби вживался в нелегкий советский быт? Чувства чувствами, любовь любовью, но, простите, вкусно поесть тоже хочется.

– Понимаю вас. Ким привык в Москве к вечному дефициту, его любимым словечком стало «запас». Это меня поражало. Когда мы переехали в эту квартиру в центре Москвы, обнаружили, что тут есть удобная кладовка. И вот «запасливый» Ким вскоре всю ее заставил всевозможными консервами. Дело доходило до того, что часть «запасов» начинала портиться, и я потихоньку выбрасывала на помойку банку за банкой. Помню такой курьезный случай. Однажды ему захотелось отведать сома в томате, и он вскрыл вздутую банку. С ужасом я попыталась отобрать у него «смертоносное яство». Но он его все-таки съел, и я со страхом ждала, что с ним вот-вот что-то случится. Он же надо мной только хихикал. В итоге ничего не случилось. И он известил меня,

что сом был очень вкусным и что его желудок способен переваривать гвозди.

– Интересно, после Лондона, Бейрута, многих столиц мира полюбил ли Филби советскую столицу?

– Не только полюбил, но и прекрасно ее узнал. Мне было стыдно, потому что он знал Москву лучше, чем я. Прекрасно ориентируясь, он исходил ее вдоль и поперек. Особенно любил гулять по переулкам. Он даже составил подробную карту московских туалетов. Ведь общественные туалеты в хрущевско-брежневской Москве были редкостью, а когда человек много гуляет, он должен знать все укромные места.

– Последний «серьезный» вопрос: умел ли легендарный советский разведчик по-джеймсбондовски палить из пистолета?

– Нет, стрелять он не умел, у него даже не было пистолета.

2003

В начале 2009 года в Лондоне вышла книга воспоминаний моей героини «Личная жизнь Кима Филби».

Глава 38. Нина Ильюшенко-Родинова: рассказ дочери репрессированного полковника

Телесериал по роману А. Солженицына «В круге первом» растеребил души оставшихся в живых людей, которые пострадали от сталинских репрессий. Прошлое забывается, люди живут нынешним быстротекущим бытием. Не хочется думать, вспоминать тяжелое, трагическое. Но что поделаешь… Разве мог я подумать, что судьба моих близких – мамы и дедушки моей жены точь-в-точь совпадет с судьбами героев книги. Я и раньше слышал разговоры о деде, который пострадал в годы репрессий, но журналистское любопытство спало крепким сном. То, что рядом, иногда кажется недостойным внимания. Но когда шел телефильм, вдруг слились и мое журналистское, и ее, моей тещи, эмоциональное напряжение от увиденного и услышанного. Понимая, что не много осталось в живых людей, которые могут свидетельствовать о том страшном времени, я записал рассказ Нины Семеновны Ильюшенко-Родиновой.

– Многое из того, что я увидела в фильме Глеба Панфилова, удивительным образом совпало с судьбой моего отца Семена Аникеевича Ильюшенко, судьбой моей мамы, а значит, и моей судьбой. Если честно, то, что происходило на экране, я смотрела через силу. Ведь снова и снова я переносилась в те далекие, драматические годы.

Отец родился в Белоруссии на Витебщине в 1898 году. В Гражданскую войну молодым бойцом воевал под началом Михаила Фрунзе. Помню, что у отца была медаль «XX лет РККА», ею награждали в 1938 году тех, кто служил в Красной Армии с момента ее образования. Как-то я спросила отца, где он воевал в Гражданскую, он с гордостью ответил: «С Фрунзе». Сохранилась у меня и фотография отца в шинели.

После войны отец окончил Артиллерийскую академию имени Дзержинского в Ленинграде. Работал в институте, где начинались разработки реактивной техники. Институт курировал маршал Тухачевский, с которым отец был знаком. Жили мы в ведомственном доме по улице Мичуринская, 14, рядом со знаменитой мечетью.

В 37-м пошли аресты. Арестовали и Тухачевского, после чего пострадали многие сотрудники института. Отца же перевели в Москву, в ГАУ (Главное артиллерийское управление Красной

Армии), где он работал заместителем начальника отдела наземной артиллерии, носил в петлице три «шпалы». Будучи еще в Ленинграде, ездил в командировки в Чехословакию, а перед самой войной и в Германию, что, конечно же, послужило дополнительным аргументом для ареста отца.

Когда началась война, отец находился в командировке в Казани. Оттуда он не вернулся, его арестовали в июле 41-го. Жили мы тогда уже в Москве в «военном» доме на Чистых прудах, дом 12, корпус 2, квартира 72, даже помню номер телефона К-3-33-32.

Уже перед войной почти в половине квартир прошли аресты. Мы, дети, мало что понимали, но очень страдали. Ведь видели, как к кому-то из друзей и подружек приезжали с фронта посланцы отцов – адъютанты на машинах. Они привозили подарки. А где были наши отцы, мы не ведали.

Потом мама узнала, что отец вначале был эвакуирован в Куйбышев, затем в Казань. Его осудили Особым совещанием (то есть без суда) по 58-й статье, дали срок. Примерно в 43-м году отца доставили в Москву и определили на работу в город Дзержинский, где на базе НИИ химтехнологии была создана «шарашка» (п/я № 14). Работники «шарашки», в основном осужденные специалисты, создавали твердое топливо для ракет. Здесь же в лесу был полигон, где проходили испытания, во время которых иногда погибали люди.

Когда отца перевезли в Москву, нам с мамой разрешили с ним свидание на территории Бутырской тюрьмы. В фильме «В круге первом» показан 49-й год, мы видим марфинскую «шарашку» в районе Останкино. Но сцены свидания показаны так же, как запомнила их и я, тогда совсем девочка. Мама и папа сидели по разные стороны стола, «свечка» (так звали часового) стоял у окна. Ничего лишнего не позволялось. Правда, когда я подбежала к отцу, села ему на колени, которые на нервной почве у него подпрыгивали так, что я еле-еле могла на них удержаться, меня не согнали.

Отец был в какой-то серой одежде типа телогрейки, я его едва узнала, так он изменился. Тем более что раньше я видела его только в военной форме. На свидании с отцом я была один раз. Но ходила с мамой на тайные встречи с какой-то Тамарой (для обеих это было опасно), которая работала вольнонаемной вместе с отцом в Дзержинском и приносила нам сэкономленные им для нас сахар и папиросы. Мать их меняла на рынке на еду.

Кончилась война, я училась в 5-м классе 612-й школы. В один непрекрасный день я пришла с уроков, а квартира наша на Чистых прудах опечатана. Жилье понадобилось какому-то

высокопоставленному военному, который вернулся из Германии и привез с собой возы барахла: мебель, картины, доспехи средневековых рыцарей, шляпы со страусовыми перьями, мраморные умывальники и всякую прочую ерунду. Уже в наше время стало известно из публикаций в газетах, что «всякого прочего» не чурался и маршал Жуков, которому на квартиру и дачу доставлялись целые вагоны экспроприированного у немцев.

Наше же небогатое имущество (как сейчас помню, пронумерованная мебель в квартире, принадлежавшая государству) было частью потеряно при переезде в военный городок на Хорошевском шоссе. Взамен Чистопрудной квартиры нам дали маленькую комнату в коммуналке. Отца освободили после войны, но не реабилитировали. Он продолжал работать в том же месте, но уже как вольнонаемный. Ему дали комнату, и мы с мамой переехали к нему в Дзержинский. Там я окончила школу. В школе, естественно, учились дети, чьи отцы работали в «шарашке». Уже много позже один мой одноклассник показал брошюру, в которой упоминалось имя отца как инженера, придумавшего какое-то изделие, взятое на вооружение Красной Армией во время войны.

Отца реабилитировали в 1955 году, восстановили в звании инженера-полковника. Как опытный специалист, он, работая в НИИ, вел еще и спецкурс в Московском химико-технологическом институте.

Вместе с коллективом авторов он получил Государственную премию СССР. Отец работал до конца своих дней. Он умер в августе 1968 года.

Мама умерла в 50-м году. Перед смертью она узнала, что у отца новая семья. Мой отец, сблизившись в «шарашке» с вольнонаемной, по выходе на свободу на ней женился. Мы с мамой уехали от отца в другую коммунальную квартирку. Тогда мы, конечно, отца осуждали. Мама болела, жить было очень тяжело. Но, посмотрев фильмы «В круге первом» и «Московская сага», я с высоты своего возраста и пережитого окончательно поняла, каким страшным катком проехало по всем нам то время. Жены отвыкали от мужей, дети забывали отцов, а отцы уже не могли вернуться к прежней жизни.

Не могу не сказать еще и вот о чем. Помню, однажды отец передал мне, чтобы я пришла к нему на встречу в ГУМ. Оказалось, что за годы, проведенные в заключении, он получил денежную компенсацию от государства и хочет сделать мне подарок. Мы встретились, отец был доволен, что сделал мне приятное.

Жена отца недавно умерла, я с ней иногда общалась. «Мы

полюбили друг друга, – сказала она как-то при встрече, – когда твой отец еще не был реабилитирован и наша жизнь ничего хорошего не предвещала». Она родила моему отцу двух сыновей.

Сейчас в Дзержинском стоит памятник – большая ракета, и написано, что это памятник создателям ракетного щита нашей Родины. Я считаю, что это памятник и моему отцу Семену Аникеевичу Ильюшенко.

Февраль 2006–2010

Глава 39. Нами Микоян: «Моя жизнь не была раем…»

Почти полвека имя этой женщины из высшего круга вызывает у многих обывательски-активный интерес. Большинству ее судьба кажется бесконечно счастливой. Еще бы, ее отец, дядя, два мужа (генерал-лейтенант авиации Алексей Микоян и заместитель министра культуры при Фурцевой Кухарский) и, конечно же, свекор, член сталинского Политбюро Анастас Иванович Микоян, принадлежали, что называется, к небожителям, хозяевам жизни. Наверное, можно предположить, что и ее жизнь была сплошным праздником.

Нами Микоян – дочь первого секретаря Аджарского обкома партии, покончившего с собой в 1937 году, племянница первого секретаря ЦК компартии Армении, невестка бессменного члена Политбюро СССР Анастаса Микояна, мать легендарного рок-музыканта и продюсера Стаса Намина – одна из немногих сегодня свидетелей жизни и нравов кремлевского сталинского, хрущевского и брежневского режимов.

Мы знакомы четыре года, и все это время я расспрашивал ее о пережитом, о людях, которых она хорошо знала, о драматических страницах советского прошлого, о наиболее ярких моментах ее биографии. Говорит Нами медленно, не спеша, чтобы точно донести свою мысль. Она мудрый, ответственный человек, за ее плечами исторические события, к которым она причастна. Поэтому мне всегда кажется, что в разговоре Нами взвешивает каждое слово, и если в чем-то хоть немного сомневается, тут же старается вернуться к сказанному и проговорить все более четко. При этом я чувствую, что в наших беседах она касается лишь малой толики того, что знала и пережила. Так, однажды я попросил рассказать о визите четы Горбачевых. Что и говорить, не каждый день глава государства, хоть и бывший, наносит визит частным лицам. Поэтому мне была интересна каждая деталь, каждое слово, сказанное Михаилом Сергеевичем и Раисой Максимовной, манера их общения, темы беседы, в особенности их рассуждения о том или ином событии, связанном с деятельностью последнего генсека Советского Союза и первого Президента России. И хотя история – категория вечная, интересно, как эту историю «подают» ее творцы. Вспоминая о встрече с Горбачевыми, Нами как бы специально подчеркнула, что запомнившееся – это ее личное, субъективное мнение. Она тонкий человек, и я уже давно понял, что хотя своему впечатлению она доверяет, но

высказать его другим не всегда решается. Так было и на этот раз. Мне показалось, что от долгого разговора, по-видимому, во многом откровенного, с четой Горбачевых она ждала большего. Еще ей, возможно, показалось, что Михаил Сергеевич не совсем понял, к чему, в конечном счете, привела миллионы людей политика гласности, свобода слова и мысли. Ну хотя бы потому, что именно при нем случились драматические события в Карабахе, Ош и Тбилиси.

К Нами Микоян постоянно приходят гости, и каждого она встречает с широким армянским гостеприимством, угощает национальными вкусностями, обсуждает чьи-то проблемы. Ее волнует все, что связано с родной землей, где в далекие 30-е годы ее дядя был главой республики. Она пишет в ереванские газеты, хлопочет о разного рода пожертвованиях, издает книги, связанные с историей Армении. Несколько лет назад, собираясь в Ереван, она пригласила меня с собой, обещала познакомить с заповедными местами любимого города, свести меня как журналиста с известными людьми. Особенно Нами хотела, чтобы я посетил галерею великого Мартироса Сарьяна, которого она хорошо знала, познакомился с главой Армянской церкви, чью духовную миссию она высоко ценит, увидел дом, в котором прошло ее детство. Очень жалею, что не смог воспользоваться гостеприимством Нами Артемьевны.

Зная об обширных связях, дружбе Нами с выдающимися людьми прошлых десятилетий – политиками, народными артистами, композиторами, – к ней постоянно обращается телевидение с просьбой об участии в той или иной передаче, и она, несмотря на нездоровье, не отказывает. Я думаю, прежде всего потому, что ей важно вспомнить о тех людях, о которых она может поведать то, что не поведает никто. Много раз в наших беседах Нами говорила, что счастье и гордость ее жизни – ее дети, Стас и Нина. При этом она признавалась мне, человеку со стороны, насколько они разные. Стас – яркий музыкант, человек с жестким, наступательным характером, а Нина – мягкая, скромная, добрая, отдающая всю себя больным детям (она директор коррекционной школы).

После первого интервью с Нами Микоян наши встречи стали постоянными. В своих вопросах к ней я старался не опускаться до сплетен и слухов, касающихся московской богемы прошлых лет, хотя понимал, что моя собеседница может о многом рассказать. Нередко она сама начинала какой-то сюжет, и я не перебивал и не останавливал ее. Открыв рот, я слушал ее признания о личных отношениях с Арно Бабаджаняном; рассказы о Майе Плисецкой, человеке нелегкого характера; о чудодейственном влиянии

Вольфа Мессинга на всю дальнейшую жизнь Нами после первой с ним встречи в 60-х годах; о Йоко Оно, жене легендарного Джона Леннона; о крупном современном политике Евгении Примакове… О многом и о многих…

Наверное, ей нелегко дается возвращение в прошлое, которое для нее не всегда радостно. Но все же мне везло. Прослышав об Артеме Сергееве, приемном сыне Сталина, я посетовал, что не знаю людей, которые могли бы меня с ним познакомить. В ответ Нами воскликнула: «Я с удовольствием это сделаю. Артема Федоровича я знаю много-много лет». И через несколько дней я уже был в гостях у этого легендарного человека на его даче в Жуковке.

Как-то Нами огорошила меня неожиданным признанием: «Только что я уничтожила часть своего архива». Хочу сказать, что мне случалось и раньше слышать от моих проживших долгую жизнь собеседниц о такого рода драматических поступках. И хотя я понимал, что они имели на это полное право, мне всякий раз было до слез жалко и обидно. Однажды что-то толкнуло меня в который уже раз упомянуть имя «вождя народов». Нами вжалась в кресло, поставила локти на стол и, пристально глядя на меня, отрезала: «Я устала от Сталина, хватит о нем, поймите меня…»

«Французские духи были мне недоступны…»

– О закрытой жизни кремлевского истеблишмента мы могли знать только из западных источников. Простой советский человек пользовался лишь слухами. И многим казалось, что жизнь там, за стенами Кремля, была настоящим раем. Так ли это?

– У меня не сложилось впечатления, что какие-то свои годы я прожила в раю. Жизнь в Кремле в то время, когда я была женой сына Анастаса Ивановича Микояна Алексея, была очень замкнутой, аскетичной, можно сказать, суровой. Правда, свекровь говорила мне, что до 37-го года в кремлевском кругу было больше общения, открытости. Что касается «райского» быта, то могу заметить, что наша семья занимала шесть комнат. Конечно, это много, но в семье было двенадцать человек: четыре сына, четыре невестки, Анастас Иванович с женой и их матери. Были повар, горничные, две машины, одна из которых обслуживала только члена Политбюро. Ходили в театры и на концерты, имели хорошие книги. А вот покупать красивую одежду в магазинах не могли, потому что в них в те годы ничего не продавалось. Как и все, мы пользовались ателье. Ведь так называемые спецмагазины появились только при Хрущеве, как и «конверты» в дополнение к окладам членов правительства и секретарей ЦК республик. При Сталине не существовало никаких «спец».

– Как питалась ваша семья?

– Основные расходы оплачивал каждый сын Анастаса Ивановича, государство помогало, но минимально. Меню состояло из мяса, сосисок, курицы, картошки, риса, овощей, то есть ничего особенного.

– А всякие «буржуазные» штучки типа французских духов были вам доступны?

– О каких духах вы говорите?! Только «Красная Москва». Да и она считалась редкостью. Помню, как я радовалась, когда свекровь подарила мне эти духи на день рождения. Скажу вам, когда я впервые попала в Америку и увидела тамошнее изобилие: и шикарные магазины, и роскошные автомобили, и бесплатные столовые для рабочих, – для меня это было совершенно неожиданно.

– Можно ли говорить о каком-то вашем разочаровании в Сталине? Если да, то в какие годы оно появилось?

– Я не могу согласиться с этим словом – «разочарование». Да, я принадлежу к поколению, которое не разочаровывалось лично в

Сталине. Мы жили в стране, в которой действовали суровые законы, в 37-м году погиб мой отец, но никто в семье не связывал эту трагедию только со Сталиным. Почти все связывалось с Системой. Вы, быть может, удивитесь, но я и сейчас так считаю. Во все времена власть не терпела инакомыслия, всякого рода оппозицию.

– Вы говорите о какой-то Системе. Но кто ее придумал?

– Это сложный вопрос. Террор был и во времена Французской революции, и до нее, и после. А как ответить на вопрос, почему революция, всегда стремящаяся к идеалам, вдруг обращается к террору? Мы жили в стране, в которой рядом с беспощадно жесткими законами действовали мораль и разного рода духовные ценности. Нас воспитывали по нормам нравственности. В годы моей молодости люди, олицетворяющие власть, не воровали, не клали себе в карман. Да, много лет я жила в семье Микояна, до этого с отцом, секретарем Аджарского обкома партии, после гибели отца – у своего дяди, первого секретаря ЦК партии Армении, но я никогда не видела в этих семьях ни бриллиантов, ни золота. Я тоже привыкла обходиться без лишней роскоши. Посмотрите на меня, посмотрите вокруг – вы не увидите ничего вызывающе дорогого, бросающегося в глаза. Наша семейная мораль пришла к нам еще с дореволюционной поры. Мой дедушка, генерал медицинской службы, мама, дворянского происхождения, агроном – были настоящими интеллигентами и по образованию, и по воспитанию. Никто не стремился к вещизму. И я была разочарована, когда при Хрущеве это явление стало распространенным.

– Скажите, почему у вас такое странное имя? Я не нашел его в святцах.

– Да, мое имя единственное в своем роде. Это имя дал мне отец, учившийся в Научном автомобильном и автомоторном институте. Он считал, что новое время приносит новые имена. Аббревиатура названия этого института и составила имя – НАМИ. Кстати, мой сын Стас избрал себе псевдоним, производный от моего имени.

«Алексей Микоян был большой гулена…»

– Как вы познакомились с сыном Микояна?

– Знакомство с Алексеем было очень естественным: Анастас Иванович во время выборов в Верховный Совет СССР в 1946 году был депутатом от Армении и приезжал в республику выступать перед избирателями. В те времена, а точнее, до правления Хрущева, высокие гости из Москвы останавливались не на каких-то особых гостевых дачах, а жили в квартирах руководителей республик. В Ереване у нас был государственный полутораэтажный дом, который стоял на холме и казался двухэтажным. В этом пятикомнатном строении одна из комнат называлась «гостевая». В ней-то и останавливались Анастас Иванович и другие крупные деятели из Москвы, скажем, тот же Косыгин. Обедали мы вместе, вот и выходило, что те несколько дней, которые гости проводили в Ереване, они жили в нашей семье. Именно так я познакомилась с Анастасом Ивановичем. А когда мы в свою очередь приезжали в Москву, то Микоян приглашал нас к себе на дачу. Так я познакомилась с его сыном Алексеем.

– Вы мне показывали ваш фотоархив, и я понимаю, что Алексей Анастасович не мог не обратить внимания на такую красивую девушку…

– Алеша был очень большой гулена, ему все нравились. И, возможно, родители подсказали сыну быть настойчивым в ухаживании за мной. По правде говоря, он был незаурядным человеком, добрым, хорошим, смелым, ответственным в работе, но, к сожалению, безответственным в семье.

– Но все же ваша жизнь с ним была интересной?

– Безусловно, грех жаловаться. Хотя наша жизнь проходила в разных военных гарнизонах, мне она не казалась скучной. Прожили мы вместе пятнадцать лет… У нас чудные дети – Стас и Нина.

– Вы жили в знаменитом Доме на набережной, воспетом писателем Юрием Трифоновым…

– Я попала в этот дом в 1965 году, когда Анастас Иванович был уже на пенсии. К тому времени Алеша ушел к другой женщине.

«Перед самоубийством папа мне сказал: „верь в партию…“»

– Как вы отнеслись к тому, что поселились в доме, о котором по Москве ходили страшные слухи?

– Отвечу так. Для меня в этом не было, к сожалению, ничего необычного, так как подобное я пережила в другом доме, еще в Тбилиси, где застрелился мой отец, занимавший должность заместителя председателя Совнаркома Грузии. Помню, что перед этой трагедией отец сделался молчаливым, замкнутым. Время романтического задора, дружеских встреч и общения прошло. Существовали только приказы сверху. Однажды отец не выходил из своей комнаты целые сутки. Он что-то писал в кабинете. Мы с мамой и годовалой сестренкой Ниной находились в спальне. Помню, как в ночь на 30 октября 1937 года отец позвал меня, мы сели на тахту, в его комнате на столе лежали бумаги и ружье. Он поцеловал меня и сказал: «Что бы ни случилось, верь в партию». Ночью я проснулась от оглушительного странного звука. Это был выстрел. Папа вышел на веранду, взял зеркало, чтобы не промахнуться, и выстрелил в себя. Пришли какие-то люди, они унесли его, он был еще жив. Я и сейчас слышу его голос: «Кися, прости, прости…» Это – маме. Утром в дверь постучали. Я открыла. На пороге стоял сотрудник НКВД. Он сказал: «Девочка, пойди и скажи маме, что твой папа умер». Я это никогда не забуду. Маме тогда было 25 лет. Вот почему, когда мы въехали в Дом на набережной, слухи об исчезновении жильцов не вызывали у меня никаких эмоций. Люди того сурового времени ко всему относились мужественно, сдержанно. Происходившее никогда не обсуждалось. Я долго думала об этом и поняла, как можно выжить: надо было верить в добро, жить с надеждой, с любовью. Много позже я встретилась в Лондоне с митрополитом Антонием Сурожским, которого очень почитаю и с которым поделилась печалью о недостаточной своей вере. Он мне тогда ответил: «Не ищите Бога в небе, не тянитесь туда, это все здесь, рядом с нами». И я окончательно поняла: истина в том, чтобы любить рядом живущих – родителей, детей, близких…

– Ваш подход к жизни мне кажется философским… И все-таки, что в ней было для вас самым тяжелым?

– Серьезной драмой считаю уход из семьи мужа Алексея. Это событие стало болью на всю жизнь. У него были и раньше романы, но я всегда знала, что он вернется. На этот же раз оказалось все серьезно: в другой семье появились дети. Тяжелым

был для меня и период, когда Хрущев несправедливо снял с работы моего дядю. В то время я, как могла, духовно помогала ему. Григорий Арутинов в 30-е годы занимал пост первого секретаря компартии Армении. Его столетие было в 2000 году достойно отмечено Академией наук Армении. В память о дяде я издала в Ереване книги, посвященные его жизни и деятельности. В книге воспоминаний собраны свидетельства о его жизненном пути, поведанные Мартиросом Сарьяном, Мариэттой Шагинян, Арамом Хачатуряном, физиком Виктором Амбарцумяном.

– Вам можно позавидовать, вы общались со многими крупнейшими деятелями политики, культуры и науки XX века. Ваше положение, ваше консерваторское образование и, наверное, искреннее отношение к людям талантливым, неординарным позволили вам дружить с Родионом Щедриным, Арно Бабаджаняном, Святославом Рихтером, Дмитрием Шостаковичем, Мстиславом Ростроповичем, Арамом Хачатуряном, Екатериной Фурцевой…

– О жизни и работе министра культуры Фурцевой я, конечно же, немало знаю. Хотя бы по той причине, что мой второй муж Василий Феодосьевич Кухарский был ее заместителем. Конечно же, Екатерина Алексеевна Фурцева – женщина неординарная, талантливая, умная. Воспитанная в простой семье, она добилась высоких государственных постов. «Командовать» культурой она стала как бы случайно, ее просто назначили. Удивительно и то, что она быстро поняла, что к столь высокой должности, как министр культуры, надо отнестись, как к делу всей своей жизни, и по мере сил старалась быть ближе к деятелям культуры, к их творчеству. Да, конечно, ее помыслы совпадали с партийными инструкциями, в ее действиях не присутствовало «инакомыслие», ею двигало только искреннее желание вывести культуру России на мировой уровень. Именно об этом говорят ее контакты с Пабло Пикассо, Фернаном и Надей Леже, с театром La Scala, великими итальянскими режиссерами 60—70-х годов. Она старалась вывести на мировые сцены своих любимых певцов Галину Вишневскую и Муслима Магомаева. И бесконечно много Екатерина Алексеевна сделала для «диссидентствующего» театра «Современник» Олега Ефремова, для Майи Плисецкой.

«Берия для меня и сегодня фигура неясная…»

– О вашем общении с Берией ходят легенды. Сегодня вы одна из немногих, кто знал этого человека еще в 30-х годах. Столько сейчас о нем понаписано всякого разного! Каким же он был, по-вашему, на самом деле?

– Берия и для меня неясная фигура хотя бы потому, что я видела его и общалась с ним еще девочкой шести-восьми лет. Что сказать? Лаврентий Павлович видится мне личностью незаурядной. Мои родители, которые были в кругу его друзей, говорили о нем доброжелательно. Хотя я была ребенком, я понимала это. Лето, как правило, мы проводили вместе, и я часто бывала в доме семьи Берии. Я чувствовала, что по своей манере общаться с людьми он был лидером, ведущим. Он обладал хорошим вкусом, дача в Гаграх сооружалась по его плану. О его расположении к детям говорит, на мой взгляд, тот факт, что он прекрасно воспитал своего сына Серго, который знал несколько иностранных языков, стал видным ученым, не сломался. Я дружила с ним до последних его дней.

Конечно, Феликс, я понимаю, что моя оценка «из детства» может вас шокировать. Если честно, мне и самой трудно понять Берию, человека, которого называют и монстром, и убийцей. Этим эпитетам есть оправдание, ведь почти все, кто считал себя его друзьями, были арестованы в один-два месяца. Мой отец нашел в себе мужество покончить с собой, но абсолютное большинство близких к Берии людей были уничтожены или погибли в лагерях. Я не могу всего этого понять. Однажды в Тбилиси, уже после гибели отца, мне было тогда восемь лет, я шла по улице на урок ритмики. Жарко светило солнце, и я была в одних трусиках. Вдруг вижу, навстречу мне едет шикарный роллс-ройс, в котором поблескивает пенсне Берии. Он увидел меня, выглянул из машины и спросил, почему я в одних трусиках, мама не может мне платье купить? И добавил: «Пусть мама зайдет». Это было вскоре после самоубийства отца, и наша семья тогда на самом деле пребывала в тяжелейшем положении. Зачем он это сказал и хотел ли, правда, помочь маме, я не знаю. Но зато спустя много лет, в 1951 году, я, гуляя в Кремле с коляской, в которой спал годовалый Стас, увидела его, идущего навстречу, и хотела бросить ему в лицо гневные слова за все, что случилось с моей семьей. До встречи оставалось метров десять, я подумала: «Наконец-то». Если бы был револьвер, я бы выстрелила. Вдруг

шагов за пять до меня он резко повернулся и пошел обратно.

«Мой сын подарил Фиделю русский снег…»

– Давайте вспомним о других временах и именах. Ведь вы принимали в доме Микояна Фиделя Кастро.

– Да, это так. Известно, что Анастас Иванович сблизился с вождем кубинского народа во время визита на Кубу в 1961 году. И когда Фидель прилетел в Советский Союз с ответным визитом, в его программе была запланирована частная, домашняя, встреча с Микояном. Анастас Иванович позвал всех нас, всю семью. Он вывел детей и внуков к Фиделю, который был в приподнятом, радостном настроении и сразу же ласково потрепал всех по щечкам. Мне как матери было приятно, что этот мужественный человек, известный уже тогда на всех континентах, нежно пообщался и с моими детьми. Неожиданно для всех приключился такой эпизод. После общения с Фиделем Стасик вдруг куда-то исчез. Появился он минут через пятнадцать-двадцать с подносом настоящего снега. Был теплый апрель, и снег в Москве в ту весну уже весь растаял. Как потом выяснилось, Стас собрал остатки снега в каких-то ложбинах на Воробьевых Горах (там в правительственном особняке происходила эта знаменательная встреча). Кастро был в восхищении. Оказалось, что до этого он не держал в руках снега и мечтал увидеть его в России. Кстати, позже он прислал нам самолетом огромную коробку мороженого.

Вообще Фидель Кастро – личность невероятная. Анастас Иванович каким-то внутренним чутьем его очень хорошо понимал.

Он нигде не пишет, но я помню по его рассказам, что он говорил Кеннеди о романтичности Фиделя, о том, сколько в нем хороших качеств, и если бы они были с ним лично знакомы, то Фидель расположил бы к себе американского президента. Джон Кеннеди на это ответил: «Скорее всего, он мог бы понравиться моему брату Бобби». А несколько лет назад Фидель рассказывал Евгению Максимовичу Примакову о том, как кончился Карибский кризис: «Когда я уже не знал, что мне делать: ставить ракеты – не ставить ракеты, я узнал, что у Микояна в Москве умерла жена, и известил Анастаса Ивановича, что в любую минуту ему будет выделен самолет. На это Микоян ответил, что не может сейчас улетать, отошел к окну, и я увидел на его глазах слезы. И тут понял, что дам согласие на снятие ракет». Так вспоминал Примаков.

«Меня всегда восхищали сильные личности…»

– Я вижу на стене фотографию другого легендарного человека, с которым вы общались, – Вольфа Мессинга. Помог ли он вам в чем-нибудь?

– Однажды, это было в 60-е годы, я должна была ехать в Венгрию как корреспондент Армянского телеграфного агентства, чтобы освещать «Дни Армении», проводившиеся в этой стране. Перед отъездом выяснилось, что в корпункте не работает телетайп.

Я страшно испугалась, что должна буду каждый день звонить в Москву: для меня выразить информацию устной речью подчас сложнее, чем написать. От волнения у меня пропал голос. Что делать? Я в панике. Незадолго до этого судьба свела меня с Вольфом Мессингом. Я была у него дома на Песчаной, в маленькой квартирке, где он жил один после смерти жены. Знаменитый гипнотизер-чудодей оставлял впечатление очень застенчивого, грустного, я бы сказала, незаметного человека. Удивительно, эта легендарная личность, чьи возможности проявились при встречах с Гитлером и Сталиным, не вызывала у меня ничего, кроме теплого сочувствия. Прощаясь в тот вечер, он подарил мне свою фотографию с, казалось бы, простой надписью: «Нами, верьте в свои силы» и добавил, передавая мне ее, чтобы на эту фотографию я смотрела каждый день.

Так вот, что бы вы думали? Волнуясь, что сорвется моя командировка, веря и не веря незамысловатому совету моего нового знакомого, я все же в два предотъездных дня прямо-таки не спускала глаз с портрета Мессинга. И вот чудо! Ко мне вернулся голос! Скажу честно: я не очень связывала мое выздоровление с Мессингом, но, в конце концов, поняла, что именно его слова, его внушение помогли мне побороть страх. С той поры эта фотография висит у меня на самом видном месте. Что и говорить, Вольф Мессинг – потрясающий человек, огромной силы воли и необыкновенных способностей, но хочу повторить: он был удивительно застенчив и робок.

– Но как же он не испугался ни Сталина, ни Берии, ведь, по легенде, он их «обвел»?

– Я не согласна с вами. Конечно же, он боялся этих людей. Но ведь он и вправду, когда Сталин решил проверить его способности, нашел спрятанную в кабинете вождя трубку. Нашел ее после мучительного, нечеловеческого напряжения души и

страха. Победила фантастическая сила духа этого вроде бы невзрачного с виду человека.

– Так и хочется повторить: как же вам везло на знакомство и дружбу с самыми яркими людьми советской эпохи! Можно ли, по-вашему, научиться у других быть сильным, побеждать невзгоды?

– Как тут ответить? Да, мне везло, я всегда была в гуще если не событий, то людей, которые делали события. Вот, например, очень яркой, волевой, я бы сказала, «железной женщиной» была забываемая, к сожалению, сегодня политик Галина Старовойтова. Незаурядная фигура, она была удивительно открытой, искренней, отзывчивой. А это уже великое качество, которое непременно передается другим.

«Мой сын – моя гордость»

– Я, как и многие, восхищаюсь талантами вашего сына Стаса Намина. У вас в квартире повсюду его фотографии, сыновние подарки маме. Как мне кажется, весьма оригинальным и трогательным подарком от него ко дню вашего недавнего юбилея стал коллаж из фотографий всех членов семьи начиная от предков, живших еще в XIX веке. Стас, наверное, – ваша самая большая радость?

– Я бы сказала так: мои дети – самое значительное, что есть в моей жизни. Моя дочь Нина очень светлый человек. Она посвятила себя работе с больными детьми и полностью отдается этому делу. Конечно же, я горжусь Стасом. Я очень внимательна к нему душой, он для меня настолько своеобразен, талантлив, что я не могу ни делать ему замечаний, ни восхвалять его.

– Что такое, по-вашему, счастье и считаете ли вы себя счастливой?

– Я не раз думала о том, что такое счастье. Материальное благополучие? Но оно вряд ли бывает постоянным. Отсутствие проблем, трудностей, потерь близких? Вряд ли кому удается. Но прожив большую жизнь, многое увидев, перечувствовав, я оглядываюсь на весь свой путь и понимаю, что я счастлива. Счастлива, потому что главным для меня оказалось взаимопонимание с людьми, оно у меня было и есть. Так же как постоянная любовь к близким, ради которых я готова на все, что в моих силах. Любовь, вся пронизанная теплом, в ее лучах я живу и становлюсь счастливой. Память хранит любовь к тем, кто был дорог, но покинул этот мир. Счастье и в том, что я не могла бы, кажется, прожить ни дня без самых близких мне людей на этом свете, без сына и дочери, без внуков.

Думая о любви к жизни, еще раз повторю слова владыки Антония Сурожского: «Не ищите Бога наверху, он здесь, в нас, рядом с нами». И я все больше понимаю, как прав этот мудрый человек.

2006–2010

Глава 40. Воспоминания Ганны Клячко

«В нашем классе учился Маркус Вольф, ставший руководителем ШТАЗИ».

Думаю, что эти короткие воспоминания, поведанные мне Ганной Львовной Клячко, хозяйкой стародавней дачи в Валентиновке, гостеприимно приютившей меня на время работы над рукописью, имеют право быть в этой книге. Ведь насыщенная многими событиями XX века биография Ганны Львовны стоит вровень с историями жизни ее знаменитых ровесниц. В небольшом мемуарном наброске достаточно уникальных свидетельств, которые могла поведать только она.

– Мой отец Лев Павлович Зак был строителем. Закончив в 1918 году Рижский политехнический институт, стал возводить мосты и железные дороги, провел две реконструкции автозавода имени Сталина, знаменитого АМО. Любопытно, что легендарный Лихачев был в то время шофером у директора завода. Строил отец завод «Фрезер», Центральный телеграф в Москве. В моем архиве сохранились редкие фотографии, запечатлевшие различные этапы уникального строительства, ведь это здание – до сих пор гордость столицы. Из далекого детства остались воспоминания, как в 1932 году мы с мамой жили в бараке у отца на строительстве завода «Тулметаллстрой» возле знаменитой Ясной Поляны, поместья Льва Толстого. Отец был начальником строительства. В том году знаменитый яблоневый сад дал большой урожай, и всем разрешили им пользоваться. Мы привезли в Москву целых два мешка великолепных яблок. Фрукты в магазинах тогда практически не продавались.

Мама была врачом, окончила в Киеве знаменитую зубоврачебную школу имени Вильга. Сначала работала в частной клинике в Киеве, потом в Москве. Родители поженились в 1918 году и переехали в столицу. Папа считал, что, когда в семье появляются дети, женщина не должна работать, и мама стала домохозяйкой. Воспитывала нас с сестрой немка Элеонора Эрнестовна, женщина, которая ко всему прочему великолепно рисовала, – она была ученицей Репина. Так что с самого раннего детства я приобщилась к рисованию, полюбила живопись. Сохранились альбомы с рисунками Элеоноры Эрнестовны и

первыми моими опытами.

После смерти воспитательницы в 1931 году меня отдали в первый класс немецкой школы имени Карла Либкнехта, тогда размещавшейся напротив Спасских казарм на Сухаревке. Помню знаменитую Сухаревскую башню, которую, к сожалению, снесли. В двухэтажной школе нам, ученикам, было тесновато, и мы переехали на Кропоткинскую, 12, в новое четырехэтажное здание типовой постройки. Эта школа предназначалась для детей работников Коминтерна и детей немецких коммунистов, работавших в Германии в подполье. Семьи их жили в Москве. Уроки по всем предметам велись на немецком языке.

Школа имени Карла Либкнехта имела свою драматическую историю. Ее основали в середине 20-х и закрыли в декабре 1937 года, так как в годы репрессий большинство учителей и родителей арестовали.

В нашем классе учился Маркус Вольф, ставший в послевоенной Германии легендарным руководителем внешней разведки ШТАЗИ – сильнейшего в мире разведывательного органа. Он умер в возрасте 83 лет, о чем сообщила вся мировая пресса. Классом моложе учился и его родной брат Конрад, который стал потом известным в ГДР оператором и сценаристом. Их отец – знаменитый немецкий писатель Фридрих Вольф. Все они были убежденными коммунистами. После смены режима в Германии в конце 80-х Маркус Вольф был арестован, его поначалу осудили на шесть лет. Приговор затем отменили, ибо все его действия на посту главы ШТАЗИ подчинялись государственным интересам, и суд внял голосам адвокатов.

Миша Негрин – сын президента Испании середины 30-годов – тоже был нашим одноклассником. А помните книгу Марии Остен «Губерт в стране чудес»? Так вот, и этот Губерт учился в нашей школе, Михаил Кольцов и Мария Остен его усыновили. Вообще в школе царила прекрасная атмосфера. На Большой Никитской в Немецком клубе мы участвовали в художественной самодеятельности, создали оркестр под названием «Тамбур-мажор». В дни советских праздников мы, школьники, отправлялись в клуб под звуки нашего оркестра. Там мы принимали в почетные пионеры знаменитого певца-коммуниста Эрнста Буша и поэта Эриха Вайнерта. На сотни голосов распевали популярную тогда песню Эрнста Буша «Друм линкс», то есть «Левый марш»:

Друм линкс цвай, драй!
Друм линкс цвай, драй!
Во дайн плац, геноссе, ист

Рай дих айн ин ди арбайтер —
айн хайтсфронт,
Вайль ду аух айн арбайтер бист!

В переводе «Раз, два, левой, левой! Раз, два, левой, левой! Вступай, товарищ, в единый рабочий фронт, потому что рабочий ты сам!» Некоторые думают, что это Маяковский, а это Эрнст Буш. Да, мы были интернационалистами, нас воспитывали патриотами великолепные учителя-немцы, приехавшие в Москву из Германии. Учителя были идейными коммунистами, последователями Эрнста Тельмана. До сих пор говорю по-немецки. В Германии много диалектов, нас же учили берлинскому произношению. Хочу добавить, что сотрудница посольства ГДР – преподаватель немецкого языка Наталья Сергеевна Мусиенко – написала книгу о нашей альма-матер. Ей удалось разыскать около ста пятидесяти учеников. К сожалению, книга издана на немецком языке, а ведь ее содержание было бы интересно и российской аудитории. Дважды Наталья Сергеевна собирала учившихся в знаменитой школе на дружескую встречу. В начале войны многие одноклассники ушли на фронт, воевать с фашизмом. Некоторые из них погибли. Я на войну не попала, мама отправила меня в эвакуацию. А моя подруга Таня Ступникова с войной соприкоснулась, став военной разведчицей, а позже одним из синхронных переводчиков на Нюрнбергском процессе, о чем написала книгу воспоминаний «Ничего, кроме правды». На титульном листе экземпляра, подаренного мне, написано: «Моему верному другу и терпеливому собеседнику на добрую память от автора». Надо сказать, что книга получилась очень искренней, исторически достоверной. Могу добавить, что родителей Татьяны Сергеевны посадили в годы репрессий, ее мать отсидела 5 лет, а отца – ученого-химика – отправили в «шарашку», где он несколько лет работал вместе со знаменитым Королевым.

О судьбе наших репрессированных учителей мало известно. Я знаю, что наш классный руководитель Георгий Поллак был сослан в Среднюю Азию и там умер. Таня Ступникова ездила к своей родной тете в Северный лагерь, где встретила последнюю директрису немецкой школы Крамер. Она там отбывала «наказание». Таня Бауэр, племянница репрессированной математички немецкой школы, ушла на фронт и погибла.

…Еще о судьбе моего отца. Родился он в Либаве (сейчас Лиепая), где жили его мать и отец, мои бабушка и дедушка. В 1936 году, на наше несчастье, моему деду разрешили приехать в Москву из буржуазной Латвии повидаться с сыном и его семьей

(сын уехал в Россию еще до Первой мировой войны). После визита деда моего отца начали преследовать. Если раньше его всячески отмечали грамотами, наградами (он получил даже орден «Знак Почета»), то теперь стали подвергать гонениям. Отца сняли с хорошей должности несмотря на то, что он слыл известным в Москве специалистом-строителем.

Началась война. 16 ноября отец уехал в эвакуацию в Йошкар-Олу, а вскоре, вернувшись в Москву, стал рядовым строителем на возведении гостиницы «Украина». Репрессии властей на отца очень подействовали: он стал болеть, участились микроинсульты, и в 1958 году он скончался. Много лет прошло с того времени, я и сама сейчас пребываю в преклонном возрасте. Я тоже много пережила, перечувствовала, и мне очень обидно за отца: честнейший человек, преданный своей профессии, он пострадал невинно. Я горжусь им, потому что дело всей его жизни – построенные дома, заводы, дороги – и поныне служат людям.

…Я очень люблю Москву, и прежде всего ту ее часть, с которой связаны мои детство и юность. Многое осталось в памяти на всю жизнь. В 30-е годы мы жили в Лубянском проезде, в доме 3/6. Часть корпусов выходила на Мясницкую (потом улицу Кирова), часть на Лубянский проезд (потом улицу Серова). Теперь они называются опять по-старому. Это тот самый дом, в котором жил и покончил с собой Владимир Маяковский. Мы жили с ним в соседних корпусах нашего большого двора. Я помню 14 апреля 1930 года. Мне было тогда шесть лет. Погода в тот день стояла какая-то мрачная, был пасмурный, бессолнечный день. В большущий двор выходило много окон. И вдруг я слышу крики: «Маяковский застрелился!..» Шум, суета, люди на мотоциклах…

Мы с мамой, как и все соседи, выбежали во двор, нам было любопытно, что произошло, приехала какая-то машина. Что же на самом деле случилось тогда в квартире поэта, до конца не ясно и до сих пор. Много прочитала я на эту тему: Полонская, Брики, любовь, ревность, ЧК… Но для меня великий поэт Маяковский, на плакат которого «Нигде, кроме как в Моссельпроме» мы, дети, бегали смотреть на соседнюю улицу Маросейку, остался на всю жизнь почти близким человеком. Никогда не забуду, как он, проходя мимо меня во дворе, останавливался и ласково со мной заговаривал. Может быть, потому, что, как я узнала спустя много лет, в Америке у него росла дочь примерно такого же возраста?

Моя мама была общественницей, в ее обязанности входило распределение талонов на одежду. Со слов мамы знаю о таком эпизоде: встретив ее как-то во дворе, Владимир Владимирович обратился с просьбой помочь получить талон на ботинки – его 46 размера в магазинах не было.

Мама выполнила просьбу поэта, и ботинки для него изготовили на заказ.

Хочу заметить, что при талонной, карточной системе в СССР я прожила довольно длительный период. Рядом с нашим домом, в Лучниковом переулке, был магазин, в котором по талонам мы отоваривались крупой, сахаром, хлебом. Помню такую деталь: если продавец отмечал в талоне покупку простым карандашом, а не чернильным, то некоторые этим пользовались, потому что отметку можно было стереть и получить товар второй раз.

Трудно жилось и во время войны, и после нее. В эвакуацию я попала в Казань, где стала студенткой авиационного института. Почти все мужчины были на фронте, а женщины, во многом заменявшие мужчин, не очень-то рвались на работы, особенно в колхозы, – не хотелось работать за палочки. Нас, студентов, посылали в деревню скирдовать хлеб. За один трудодень обещали по два килограмма пшеницы, но обманули: выдали по килограмму, а колхозницам всего по 100 граммов за трудодень. Помню, что я получила 47 килограммов пшеницы, но воспользоваться ею в Казани не смогла, так как заболела брюшным тифом. Вылечившись, перевелась из КАИ в МАИ и заработанное привезла в Москву. Всю зиму наша семья держалась благодаря моей пшенице: сначала пшеничную крупу слегка отваривали, потом пропускали через мясорубку, далее доваривали и ели эту мягкую, набухшую кашу.

Хочу сказать, что мой трудовой стаж начался еще до поступления в институт. В Казани я работала на мыловаренном заводе имени Вахитова, в цехе туалетного мыла. Мы делали туалетное мыло только одного сорта – розовое цветочное. Специальность называлась смешно – «колбасница». В мои обязанности входило резать проволокой на 100-граммовые куски выходящую из специальной мясорубки ленту мыльной массы и складывать их в ящик. Между прочим, я не согласна с теми, кто утверждает, что в годы после войны в стране не было никакой парфюмерии. На полную мощность работала знаменитая фабрика «Новая заря», выпускавшая любимые женщинами духи «Красная Москва». В гостинице «Москва», которую недавно сломали и потом заново отстроили, находился парфюмерный магазин «ТЭЖЭ», торговавший разнообразными товарами для женщин. На прилавках стояли духи не только «Красная Москва», но и «Белая сирень», «Ландыш серебристый», «Кармен» и разная другая продукция фабрик Москвы и Ленинграда. «Новая заря» была основана, между прочим, еще до революции французом Коти. Причем дамам угождали – духи делились на стойкие и нестойкие. Стоили они по тем временам недорого, в пределах трех-пяти

рублей. Особенно популярной была пятирублевая «Белая сирень», за которой тогда очень гонялись.

Кстати, производством всей парфюмерии страны руководила известная Полина Жемчужина, жена Вячеслава Молотова. Она занимала должность начальника главка парфюмерии, который, как ни смешно это звучит, входил в Министерство пищевой промышленности.

Закончив в 1948 году МАИ, я десять лет отработала на авиационном моторостроительном заводе «Красное знамя», так называемом 500-м заводе в Тушино. Как специалист хочу отметить, что у наших самолетов во время войны был небольшой ресурс для полетов (всего лишь двадцать часов), и их часто сбивали немцы. После войны ученые-конструкторы и инженеры добились продления ресурса работы двигателей. Только уже для гражданской авиации. Помню, что мы все смены напролет стояли у испытательных стендов, следя за результатами испытаний. Радовались успехам – двигатели стали работать по сто часов, потом по двести. Но хотелось, чтобы они были еще мощнее. После испытания мы разбирали двигатель на детали и скрупулезно выискивали дефекты. Несмотря на усталость, работали по полторы-две смены подряд. Да, мы были патриотами и думали только о служении Родине.

Одно время я работала в Торговой палате на Ильинке. Всем коллективом мы думали над тем, как скорее перевести промышленность на мирные рельсы. Сегодня мою тогдашнюю работу назвали бы менеджерской. Я помню, что на совещаниях мы рекомендовали тем или иным заводам выпускать велосипеды, люстры, светильники, кастрюли, сковороды… После войны был дефицит бытовых товаров. А сегодня мы все это покупаем в Китае и других странах.

Хочу рассказать о своем горячо любимом муже Льве Абрамовиче Клячко, замечательном человеке, в 1999 году ушедшем из жизни. В счастливом браке с ним мы прожили 53 года, вырастив и поставив на ноги двух дочерей – Татьяну и Ирину. Обе они добились значительных успехов на научном поприще.

Лев Абрамович родился в 1917 году в Москве. После окончания в 41-м году физического факультета Московского университета работал в знаменитом ЦАГИ, затем в НИИ-1 и ЦИАМе, Центральном институте авиационной промышленности.

В 1949 году он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную анализу гидравлики центробежных форсунок. Уже в этой работе, как считали специалисты, отражена одна из примечательных черт Клячко-ученого – интерес к нетривиальным,

на первый взгляд, парадоксальным результатам. В 1967 году он стал доктором технических наук, профессором. Индивидуальный стиль его творческой личности привлек к Льву Абрамовичу молодых способных учеников, многие из которых сделали ученую карьеру. Долгие годы муж преподавал в Московском физико-техническом институте. При активном лидерстве Льва Абрамовича в ЦИАМе развивались исследования процесса горения в авиационных и ракетных двигателях. Открытия в этой области, сделанные тридцать пять лет назад, до настоящего времени опережают аналогичные исследования, проводимые на Западе. Конечно же, я горжусь своим мужем, крупным ученым, работавшим в области горения авиа– и ракетного топлива. Л. А. Клячко – автор более шестидесяти научных публикаций и трех монографий. Он удостоен многих премий, награжден орденами и медалями.

Как жаль, что прекрасный семьянин, любящий муж и отец, Лев Абрамович не дожил до радостного дня появления на свет нашей правнучки Сонечки.

2009

Глава 41. Мария Розанова: женщина с мужским характером

Мария Васильевна Розанова – искусствовед, литературный критик, публицист, мемуарист, редактор и издатель журнала «Синтаксис». Окончила искусствоведческое отделение МГУ. До выезда во Францию работала экскурсоводом, преподавала во ВГИКе, в Абрамцевском художественном училище. Художник-ювелир. В 1973 году вместе с мужем Андреем Синявским выехала из СССР. Живет в пригороде Парижа, в местечке Фонте-о-Роз.

Считаю Марию Васильевну одной из самых ярких фигур не только эмиграции, но и интеллигентно-элитной России. Заявляю не понаслышке, не по чьим-то мнениям, а потому что общался с ней много раз. Нрава она тяжелого, за словом в карман не полезет, любого оппонента за пояс заткнет. Авторитетов (кроме, пожалуй, Андрея Синявского) для нее не существует. Мне повезло, с Марией Васильевной мы нашли общий язык, нас сближала горбачевская перестройка, споры о будущем ее и моего отечества, знаковые имена в литературе и искусстве. По признанию самой Марии Васильевны, еще в юности она получила прозвище Стервозанова. «Стервозность» же ее определялась только двумя качествами: она очень любила смотреть человеку в лицо, а точнее, прямо в глаза, и очень любила прямо в глаза же говорить правду. Кому такое понравится?

Характер Розановой, на мой взгляд, абсолютно мужской. И мне всегда казалось, что мягкий и тонкий Андрей Донатович у нее уж точно под каблуком. Мне даже было немного жаль его. Но за Синявского, за его книги она любому если не перегрызет горло, то шею намылит.

– «Прогулки с Пушкиным» – моя любимая книжка. Мне кажется, главное, что сделал Синявский в жизни, – написал эту книжку. Легкую, моцартовскую. Феликс, вы смотрели фильм Формана о Моцарте? Это там, где великий Моцарт на четвереньках гоняется под столом за возлюбленной. Вспоминаю, как недели три до ареста, когда тучи уже сгущались и мы чувствовали дыхание в спину, я сказала Синявскому: «Ну что ты пишешь все что-то мрачное и мрачное, напиши в подарок нашему сыну (а Егору тогда было восемь месяцев) что-нибудь веселое, радостное… напиши про Моцарта». И Синявский написал. О Пушкине. Но Пушкин – это Моцарт в поэзии, – разгорается, глядя мне в глаза, Мария Васильевна.

– Вспомните-ка, Феликс, какие слова говорил Пушкин, когда на радостях плясал после написания «Бориса Годунова», хлопая себя по ляжкам?

– «Ай, да Пушкин, ай, да молодец…»

– А вот и нет, вы – испорченное дитя кастрировавших великого поэта советских «литературоведов». На самом же деле он кричал: «Ай, да Пушкин, ай да сукин сын!» А почему так? А потому что в представлении цензоров и запретителей великий поэт не мог произносить «сукин сын». А поэт именно так говорил: народным, простецким языком, – в этом выкрике его дыхание, его вольность, его, если хотите, ненормативность…

На мой вопрос, вросла ли она во французскую жизнь, в местный менталитет, Мария Васильевна честно призналась, что не совсем и далеко не во всем: французский знает скверно, из дома выходит редко, все время проводит в домашнем издательстве-типографии за печатным станком. Правда, с французской жизнью ее связывает сын, который, как она считает, стал абсолютным французом.

Впервые попав в гости к Синявским, это было в начале 89-го года, я был пленен гостеприимством хозяйки дома, ее открытостью, радушием. Для нас, приехавших во Францию в марте из голодной Москвы, свежая клубника, которой угощали Синявские, в это время года была чудом (сейчас это кажется смешным). Мария Васильевна одарила меня изданными ею книгами, номерами журнала «Синтаксис», ставшего одним из авторитетнейших эмигрантских изданий. Привозил в Фонте-о-Роз я и сына-подростка Кирилла, и жену Милу. Годы летят, все труднее становится лишний раз побывать во Франции, и я совершенно искренне очень скучаю по Марии Васильевне. Но наконец-то вышла эта книга под шокирующим названием «Мои великие старухи», от которого еще много лет назад мудрая, без комплексов Мария Васильевна пришла в восторг. «Хочу быть твоей великой старухой!» – воскликнула она.

2010

Глава 42. Инна Фрумкина: интеллектуалка, книжница, племянница великого ученого XX века

В советские времена миллионы людей охотно тратили деньги на покупку книг. Стоили они тогда недорого, собирание книг считалось престижным занятием, и в передних углах квартир совграждан стояли книжные шкафы, набитые классикой, детективами, собраниями сочинений. Читал ли их советский обыватель или нет – другой вопрос, книжная лихорадка обуяла всю страну.

Именно тогда постановлением правительства в СССР было создано Всесоюзное общество любителей книги (ВОК), и так вышло, что я примерно год работал в нем в качестве некоего организатора библиофильских встреч и вечеров. А позже стал вести, как я уже сказал в предисловии, книжные вечера в творческих домах столицы, которые, нисколько не гиперболизируя, считаю, собирали всю культурную Москву. Встречи единомышленников-книгочеев превращались в настоящий интеллектуальный праздник. Именно с той поры я узнал – и знаю – многих фанатиков книги, библиоманов, собирателей автографов. Со многими дружу до сих пор, хотя давно уже нет проблем так называемого книгообмена: ты мне даешь книгу, которая у тебя в липшем экземпляре, а я тебе свою, которую ты хочешь иметь у себя дома. Выходит, что советское книжное братство тоже навсегда.

Одной из самых активных посетительниц моих книжных посиделок была Инна Леонидовна Фрумкина. Филолог по образованию, она не пропускала ни концертов входивших тогда в моду бардов, ни поэтических выступлений А. Вознесенского или Е. Евтушенко, ни общения с «раритетами» нашей литературы, пережившими еще есенинские времена и даже знавшими поэта, такими как Абрам Палей, умерший в возрасте 102 лет, встречу с которым в Доме литераторов я также проводил. Странно, но в то время мне не приходило в голову, что эта женщина имеет громкую фамилию Фрумкина. Ведь имя академика, имевшего отношение к самым передовым оборонным технологиям, гремело на весь мир. Оказалось, моя посетительница – его племянница, член семьи. Узнав об этом намного позже, загорелся взять интервью о великом дяде-ученом для журнала «Огонек», но дело

до конца не довел. И вот, готовя к изданию эту книгу, я попросил Инну Леонидовну о деловом свидании.

Меня встретила яркая, замечательно сохранившаяся, приветливая женщина. С порога позвала на чай и вручила в подарок присланную из другой страны книгу стихов ее друга.

Естественно, сразу бросились в глаза книги в шкафах. И еще – портреты самой Инны Леонидовны, сделанные известными московскими художниками. Я насчитал шесть довольно интересных изображений. Из своего архива хозяйка вручила мне в качестве презента публикации 60– 80-х годов, связанные с гонениями на Андрея Синявского и Юлия Даниэля[28]. Кто в теме, тот может понять ценность газетных вырезок прошлых десятилетий, ведь их не найти и в Интернете. Думаю, что при встрече с Марией Васильевной Розановой, вдовой Андрея Донатовича, я вручу ей эти давние публикации. Инна Леонидовна рассказала мне о том, как в 50-е годы она посещала занятия в кружке художественного слова, которые вела в Мерзляковском переулке Елизавета Яковлевна Эфрон – сестра мужа Марины Цветаевой Сергея Эфрона. Конечно, этот мой визит был нужен не только для знакомства с жизнью великого ученого, пусть даже и из первых уст, – меня интересовало, как сама Инна Леонидовна сумела пережить трагические годы сталинских репрессий. Ведь имена, фамилии и заслуги не помогали тогда получить индульгенцию. Я оказался прав.

– Александр Наумович, несмотря на то что был самым молодым в СССР академиком, к тому же награжденным тремя орденами Ленина, тремя Сталинскими премиями и т. д. и т. п., выжил только потому, что был слишком известен в ученом мире. Ведь в 1952 году по распоряжению Сталина большинство членов Еврейского антифашистского комитета были расстреляны, иные получили сроки – спаслись только Илья Эренбург и мой дядя. Поразительно, что дядя остался жив, ведь он дружил с самим Соломоном Михоэлсом.

Скажу, что Александр Наумович спас и меня. После смерти моего папы он полностью взял на себя заботы обо мне. С поразительной пунктуальностью в один и тот же день месяца он посылал нам с мамой деньги на жизнь. Точнее, на выживание. Включая все годы войны.

Вспоминая далекое одесское детство, я вижу перед глазами дядю Шуру, встреча с которым всегда превращалась в праздник. Когда он приезжал из Москвы к нам в Одессу, мы становились другими, чувствуя, что жизнь прекрасна. Жили мы тогда в той же большой старинной квартире на Преображенской, где прошли его

детство и юность и где в массивном шкафу стояли экземпляры его первой книги, изданной на средства отца в так называемой коммерческой типографии (нынче все типографии коммерческие), когда автору было всего лишь 24 года. Кстати, замечу, что первой женой моего дяди была знаменитая поэтесса Вера Инбер.

О своем дяде я могу говорить много, но хочу особо отметить, что в нем в очень раннем возрасте, в 5-б лет, уже проявились выдающиеся способности к познанию, анализу. Ученик младшего класса, он уже решал задачи выпускников школы. Все детские и юношеские годы для него были временем учебы, занятий наукой. Доходило до абсурда. Однажды Саша, совсем юноша, бросил страшную, невероятную, апокалипсическую фразу, которую я запомнила с детства, еще ничего не понимая: «Мое любимое время – еврейские погромы, потому что никто в эти часы не мешает мне заниматься наукой».

Скажите, ведь эти слова мог произнести только сумасшедший или и впрямь человек-уникум?

Вот вы просите меня рассказать о Фрумкине. С этим ко мне много раз обращались наши писатели, популяризаторы науки. Поделиться воспоминаниями просили и заинтересованные в подобных публикациях издатели в разных странах. Как могла, я удовлетворяла их просьбы. Одна моя статья о великом ученом опубликована в сборнике, вышедшем в издательстве «Наука».

Не забуду такой факт. Когда Роберт Кеннеди приезжал к Хрущеву в Москву, он попросил организовать ему встречу с академиком Фрумкиным, который, кстати, работал в Америке еще в конце 20-х годов. Этот факт о чем-то говорит…

Февраль 2010

Глава 43. Галина Каландадзе-Баскова: ее кухня была приютом будущих кумиров

Культура – это то, что остается. То, что забыто, утрачено, исчезло с лица земли, из памяти поколений, – не существует. Вот почему каждое воспоминание тех, кто может свидетельствовать, фиксировать прошлое, – это и есть вечное. Много лет я знал семью Валериана и Галины Каландадзе. Он – телевизионщик (Валериан Сергеевич скончался в 1991 году). А кто она? Да просто жена. Коллега, советчица, хранительница домашнего очага. Лишь недавно она переехала из той квартиры на Новом Арбате, где происходили описываемые далее события. В. С. Каландадзе был причастен к созданию многих телепрограмм 70—90-х годов прошлого века. Тогда не существовало ни ночных клубов, ни респектабельных кофеен, ни даже пресловутых саун, где нынче решаются многие «судьбы мира». В те застойные годы все эти атрибуты нынешней общественной суеты заменяла уютная кухня.

С семьей Каландадзе я познакомился у художника И. Глазунова в начале 80-х. Дружили, общались. Наши встречи казались обыденностью, лишь недавно мне пришло в голову: то, что знает Галина Яковлевна, может остаться только в ее памяти. И я попросил ее рассказать о том, чем когда-то была заполнена ее жизнь.

Жванецкого тогда никто не знал

– Мои воспоминания относятся к самой застойной эпохе. Мой муж, Валериан Сергеевич, был тогда заместителем главного редактора литературно-драматического вещания Гостелерадио. Он ведал изобразительным, литературным и театральным отделами, а также оперативным эфиром. Телевидение тогда тоже властвовало над умами. Тем более что особых-то, изысканных развлечений не существовало. А те, что были, подавались, как правило, под официально-идеологическим соусом. Водку продавали с 11 утра до 7 вечера, рестораны закрывались рано. Телеэфир был хоть какой-то отдушиной для обывателя, сидящего дома. Но ветры перемен все же задули над страной, особенно после смерти Андропова. И вот в это время на Гостелерадио из ЦК КПСС была спущена телефонограмма: организовать для телезрителей какую-нибудь развлекательную (читай – отвлекательную от плохих мыслей) передачу. «И чтобы она была смешной», – советовали там, наверху. Когда об этом мне сказал, придя домой, Валерий, мы стали думать, что бы «сварить повкуснее». Посоветовавшись с тогдашним завотделом сатиры и юмора «Литературной газеты» Виктором Веселовским, решили создать развлекательную юмористическую передачу под названием «Вокруг смеха».

Первым сценаристом, как помню, был Аркадий Инин. Стали ломать голову, кого взять в ведущие. Как ни странно, именно я попала в точку, предложив однажды во время дебатов: «Да позовите этого длинного и смешного Сашу Иванова из Ленинграда». Предложение понравилось. Иванов вместе с женой, актрисой Олей Заботкиной (исполнительницей главной роли в фильме «Два капитана»), переехал в Москву. Передача, вне всякого сомнения, имела огромный зрительский рейтинг: когда ее транслировали, вся страна приникала к экранам.

Дело еще в том, что до этой передачи тексты талантливых сатириков исполняли известные актеры. Скажем, Михаил Жванецкий сочинил какой-то монолог, но выступал с ним Аркадий Райкин, и народ думал, что Райкин сам сочинил смешную байку. А Жванецкого тогда и не знали. Его имя было известно в узком сатирическом кругу. И вот впервые с экрана телевизора сам Жванецкий читает свое произведение. Да какое! Его интермедия о ликероводочном заводе имела невероятный успех. Она-то мгновенно и сделала талантливого юмориста всесоюзно популярным. Со своими рассказами стали выступать Аркадий Арканов, Толя Трушкин, Фима Смолин. Выступали, что

называется, живьем, и их лица стали узнаваемы.

Отдельно хочу рассказать о Михаиле Задорнове, потому что, как мне кажется, он стал знаменитым с моей легкой руки. Валерий делал историческую передачу и пригласил участвовать в ней писателя Николая Задорнова. И вот у нас дома за чашкой чая я спрашиваю гостя: Николай Павлович, я краем уха слышала, что ваш сын что-то такое пишет. Может быть, его можно пригласить в «Вокруг смеха»? А Николай Павлович отвечает примерно так: «Да ладно вам, Галочка, что там пишет Миша. Я не уверен, что это будет интересно». Но я настояла и не поленилась поехать в Дом культуры МАИ, где Михаил Задорнов вел художественную самодеятельность. После какой-то студенческой программки подошла к Мише за кулисы, представилась и, сославшись на знакомство с его папой, пригласила к себе домой для разговора с Валерианом Сергеевичем. Но между ними состоялся только телефонный разговор, который в конечном итоге привел к тому, что в телепередаче была использована студенческая сценка под названием «Снежный ком». А потом Миша пришел к нам на новогодние посиделки, в которых участвовали сатирики и писатели, начавшие группироваться возле Каландадзе и передачи «Вокруг смеха». Увидев корифеев жанра, Миша растерялся, в тот вечер ничего своего показать не решился. Зато приехал через несколько дней один и стал читать нам с Валерием свои рассказики.

Особенно Валерию понравился рассказ про шпиона, который пустили в ближайшую передачу, а следующим выступлением Задорнова стал сделавший его известным рассказ «Два девятых вагона». Сначала мы с Валерием хохотали до визга, а потом миллионы зрителей, я уверена, наслаждались сатирическим талантом новооткрытого хохмача. Задорновы жили в Риге, и Миша часто туда ездил. А с билетами, как и со всем в те времена, были сложности. И после первых телепередач Задорнов подходил к вокзальному кассиру и, представившись Задорновым, просил блатной билет в Москву. Сначала ему не верили, что он Задорнов, но вскоре вся страна знала его в лицо.

Меня рисовал почти Пикассо

Дружили мы с художником Димой Краснопевцевым, жена которого тоже работала на телевидении. Краснопевцев был замкнутым человеком, но мы находили с ним общий язык. К сожалению, он умер, но его имя останется в рядах классиков андеграундной советской живописи. Его картины нынче стоят огромных денег, особенно за границей. Кстати, вот ту картину на стене, которую ты видишь, он подарил мне однажды на день рождения.

Так вот, как-то зашел разговор о Диминых друзьях, в том числе о художнике Анатолии Звереве, слава о котором в те времена распространялась все больше и больше. Из Парижа пришли слухи, что сам Пабло Пикассо назвал его лучшим рисовальщиком XX века. Говорю Диме, что ни разу не видела работ Зверева, его картины только в домашних коллекциях, а выставки еще не проводились. Да и о какой выставке можно было говорить, если они устраивались прежде всего для членов Союза художников СССР. Толя же был, как бы это сказать, «бесчленным» живописцем. Дима говорит: «Нет проблем, с Толей я тебя познакомлю, но имей в виду, если ты ему понравишься, он нарисует твой портрет. И еще. Толя – парень с чудинкой, он будет выкидывать разные коленца, и ты не должна обращать внимания абсолютно на все, что бы он ни выделывал».

Сказано, сделано. Раздается звонок в дверь, и дорогие гости на моем пороге. Что же я вижу? Рядом с импозантным, всегда прилично одетым Краснопевцевым стояло нечто среднее между бомжем с Казанского вокзала и каким-нибудь французским пьяницей-крестьянином: невысокого роста мужичонка, облаченный в какую-то немыслимую хламиду, венчавшуюся ярко-красным элегантным шарфом. На одну ногу была напялена калоша, перевязанная шнурками, на другой – дырявый ботинок, давно уже просивший каши. Но я сделала вид, что меня ничего не шокирует, и любезно пригласила гостей пройти в комнату к накрытому уже столу, который я сервировала под диктовку Димы, естественно, с учетом гастрономических пристрастий великого художника Зверева.

Толя не любил буржуазных манер. Пристрастия его были абсолютно заурядными: из всех напитков он предпочитал водку, из закусок – селедку и соленый огурец. Но, конечно же, я поусердствовала и украсила стол картошечкой с укропчиком и купленной на базаре аппетитной курицей. В последний момент, правда, стала сомневаться – не вылить ли из графина водку

обратно в бутылку, но подумала, что еще начнет пить прямо из горла.

Гости сели за стол, Зверев осмотрелся, взял немытыми руками хлеб и начал его крошить на стол и на пол. Потом отломил кусок курицы и бросил: «Ну ладно, налей мне водки». «С удовольствием», – ответствую я. А сама чувствую, что гость ведет себя неадекватно, наверное, меня испытывает. Толя опрокинул первую рюмку, наливаю ему вторую и говорю: «Давай чокнемся за знакомство». Чокнулись. Толя снова ломает кусок курицы, окунает ее в солонку, смачно закусывает и вдруг, о боже, прямо о скатерть вытирает масляные пальцы. Я же – ноль внимания. Ладно, думаю, испытывай мое терпение и дальше. Наоборот, еще и подыгрываю: «Может, Толенька, полотенце принести? Угол-то скатерти маловат». Бросает на соседние тарелки объедки, пригоршней хватает салат «оливье». Я снова вступаю: «Давай я вытру твои руки, чего же они будут в майонезе». Но Толя на меня даже не посмотрел, а потом вдруг бросил на меня такой взгляд, точно готовил к чему-то совершенно уж из ряда вон выходящему. Точно – ни с того, ни с сего наш гость стал громко сморкаться прямо на пол. Я прикусила губу, немного растерялась – это уже было на пределе, но сдержала себя и сделала вид, что ничего не произошло. Выпил Толя еще пару рюмок и говорит: «Ну ладно, пока я не пьяный, давай буду тебя рисовать. У тебя есть краски и картон?» Надо сказать, Краснопевцев меня предупредил, чтобы я все такое для сеанса приготовила, потому что у Зверева нет никаких рисовальных причиндалов. «Конечно, – говорю, – все приготовила для тебя, Толенька». «Я решил тебя написать – ты хороший человек», – сказал Зверев.

Усадив меня на диван, сам сел на стул напротив, картон прислонил к спинке стула так, чтобы на него падал из окна хоть какой-то свет, и начал малевать. Чем только он ни малевал, то тюбиком от краски, то пальцем, то окурком. А сам все дымит и дымит и что-то все подмазывает, подкрашивает, подмалевывает… Примерно полчаса Толя колдовал над портретом, потом вдруг швырнул в сторону подсобный материал и говорит: «Все, готово. Посмотри, в твоем портрете нет ничего черного, ни одного черного мазка, потому что в тебе нет ничего черного, я это чувствую».

Сказать честно, я была поражена. Удивлена. Шокирована. Его слова мне очень польстили. Потом он добавил: «Ты извини, я тебя немного чукчей сделал. Но ты добрый человек. Вот видишь, здесь красный цвет, здесь желтый, белый. Присмотрись, одна половинка лица у тебя с хитринкой на уме, вторая открытая, яркая, добрая. Да ты сама все понимаешь, какая ты есть».

В эту минуту в прихожую вошел Валерий. «Это мой муж, Валерьян Сергеевич». – «Ну и хорошо. Давай я и хозяина напишу, он тоже вроде неплохой человек». И Валерий сходу начал ему позировать. Но этот портрет совсем другой: смотри, Феликс, весь рисунок – сплошное черное пятно. Нет, не плохого человека хотел отразить на портрете художник, он предчувствовал трагическое будущее своей модели. Через несколько лет мой дорогой Валерий умрет от рака.

Кстати, памятный для меня сеанс рисования художника Зверева закончился тем, что, допив до дна заново наполненный водкой графинчик, мэтр свалился прямо в прихожей и, проспав до утра беспробудным сном, не простившись, то ли по-английски, то ли по-зверевски, покинул нашу квартиру.

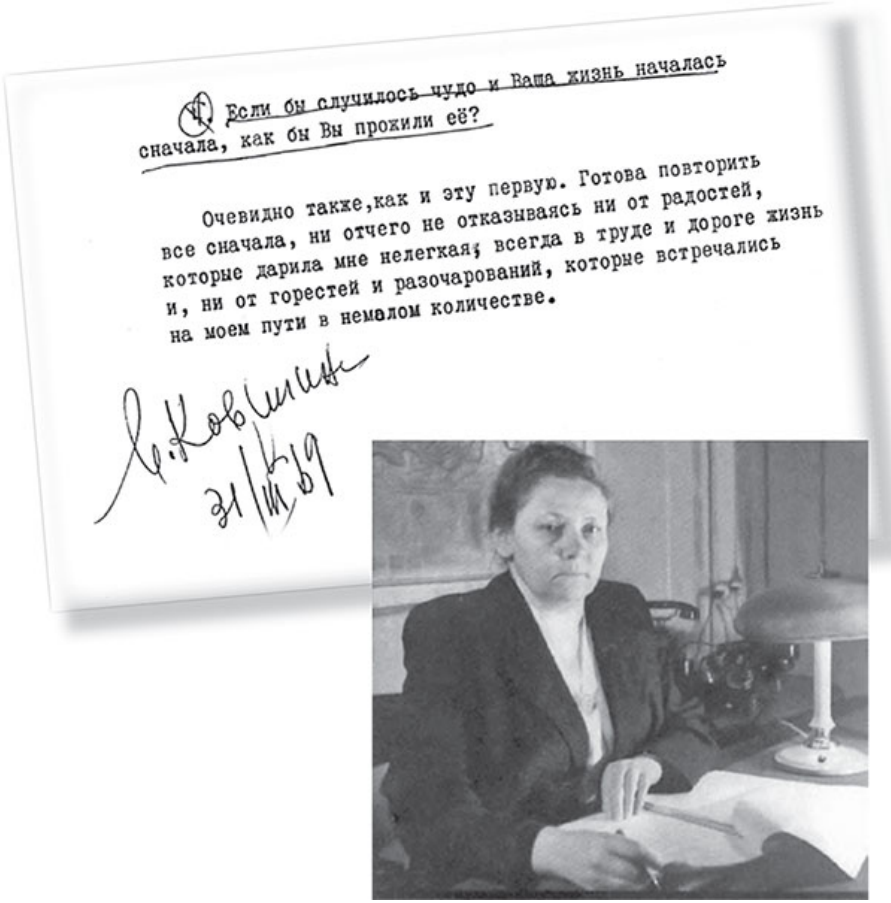
2005–2010

Вкладка

Анна Ахматова на даче в Комарово

Памятная доска на корпуса подмосковного санатория, где остановилось сердца великого поэта, великой женщины

Здесь ранней весной 1966 года душа Анны Ахматовой взлетела, «чтоб встретить солнце»…

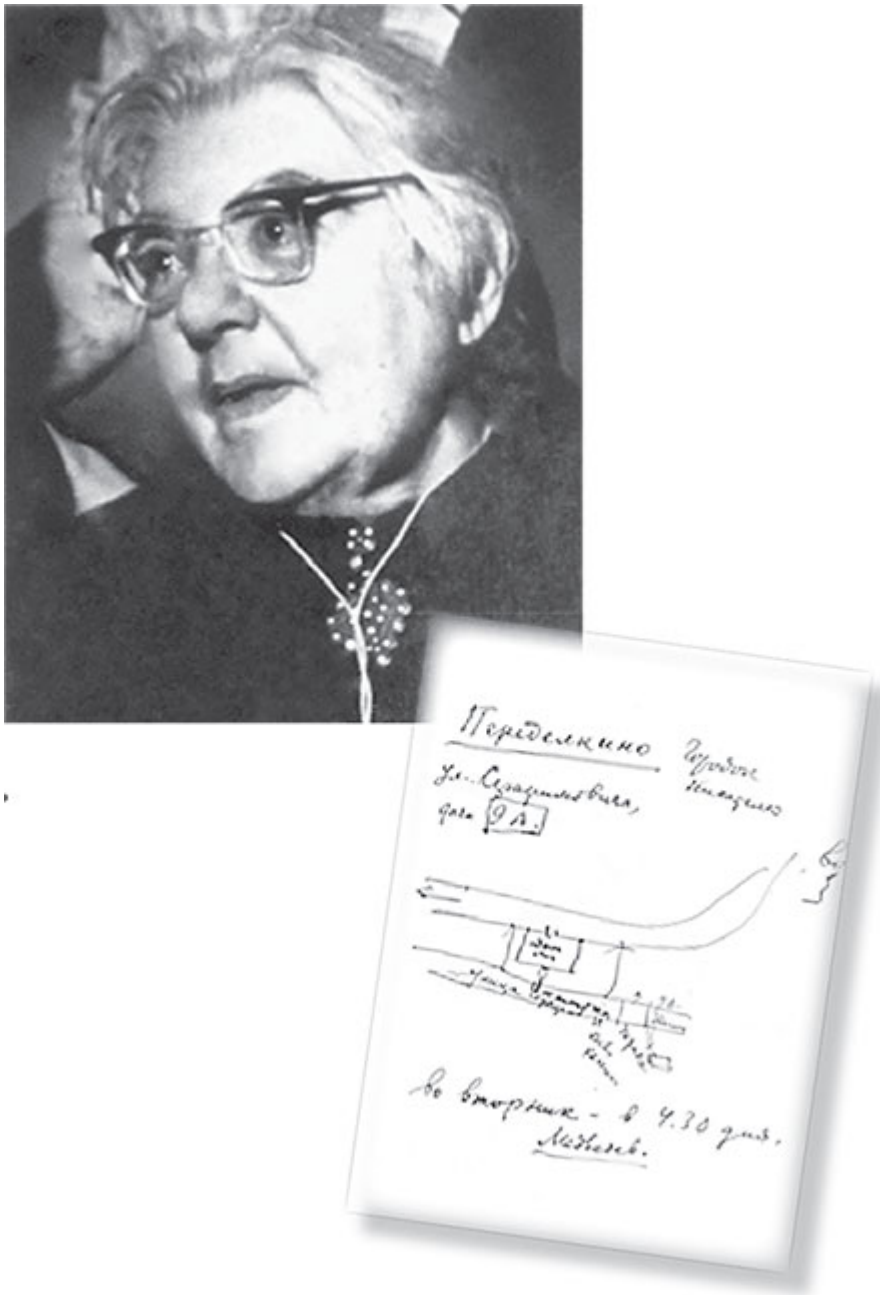

Ф. Если бы случилось чудо и Ваша жизнь началась сначала, как бы Вы прожили её?

Очевидно также,как и эту первую. Готова повторить все сначала, ни отчего не отказываясь ни от радостей, которые дарила мне нелегкая; всегда в труде и дороге жизнь и, ни от горестей и разочарований, которые встречались на моем пути в немалом количестве.

М. Ковригина

21/III 59

Мария Ковригина в рабочем кабинете, где проходило интервью



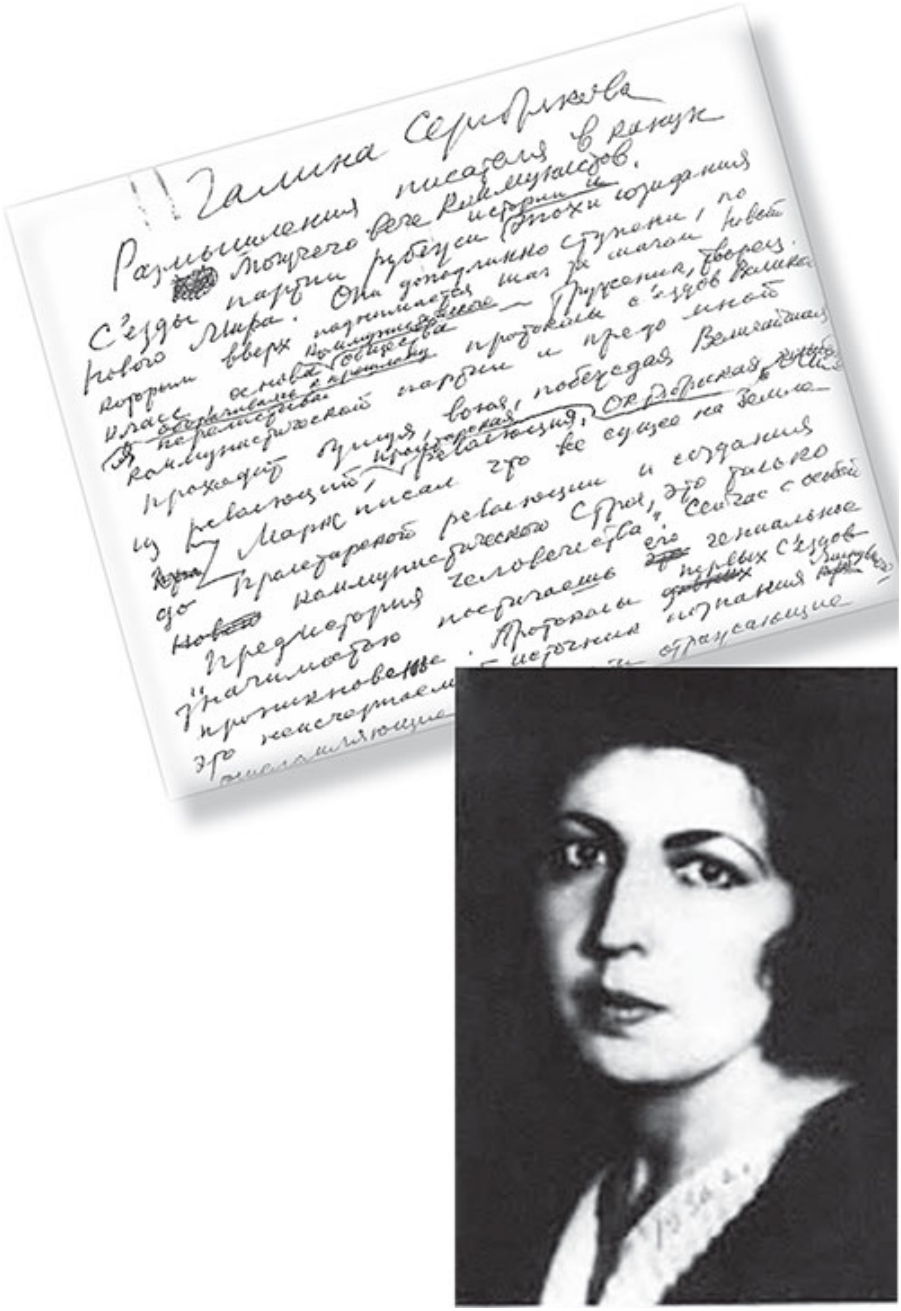
«Железная старуха» Мариэтта Шагинян. Она заботливо переслала мне почтой перед интервью схему расположения ее дачи

Не только песня, но и улыбка Клавдии Шульженко очаровывала миллионы людей

Певица рядом с фронтовиком-командиром после концерта. 1942 год. Рисунок знаменитого советского художника А. Яр-Кравченко

Красавица Мария Чагина

Сергей Есенин (справа) с другом – партийцем Петром Чагиным

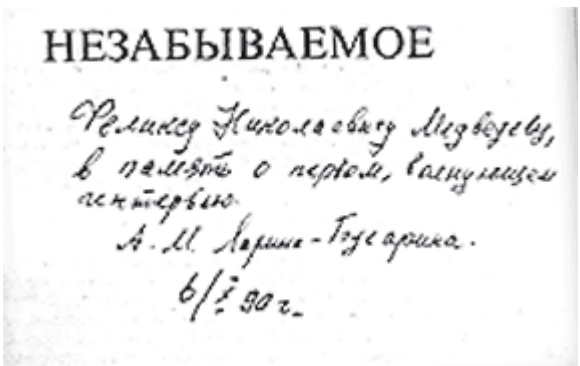


Автограф на подаренной мне фотографии гласит: «Феликсу Медведеву – Галина Серебрякова. 1936 г.»

Карл Радек с дочерью Соней. Здесь они еще счастливы

Шарж Николая Бухарина на Карла Радека

Стойкая и верная Анна Бухарина-Ларина



Автограф Анны Бухариной на ее книге

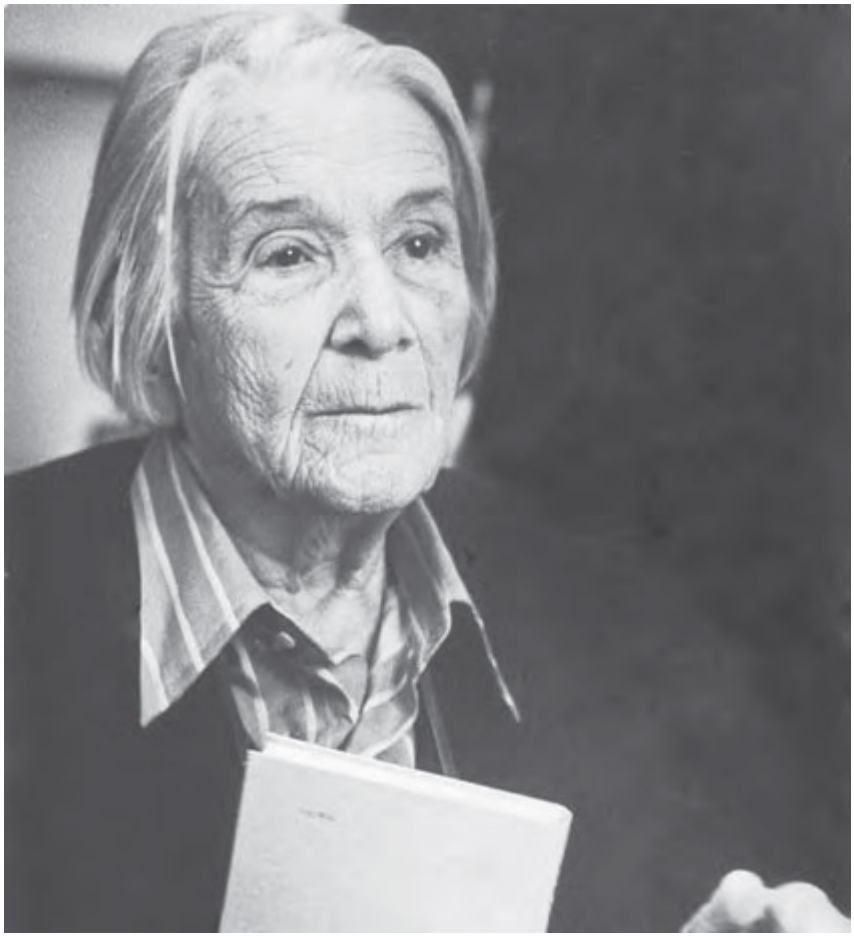
Эту фотографию Зинаида Шаховская прислала в редакцию газеты «Книжное обозрение» в качестве приложения к своему полемическому письму после публикации нашей с ней беседы

Супруги князь и княгиня Мещерские, отец и мать Екатерины Мещерской, владелицы бриллиантовых серег Н. Н. Гончаровой

Княжна Мещерская в своей крохотной дворницкой квартире на улице Воровского. 1980-е годы

Великая княжна Вера Константиновна Романова, дочь поэта К. Р. (Константина Романова), правнучка императора Николая X, троюродная сестра Николая II

Дворец в Осташеве под Москвой, принадлежавший великому князю Константину Константиновичу Романову



Судьба забросила девочку родом из провинциального Иваново в Париж, где Наташа Черняк стала классиком французской словесности, номинантом Нобелевской премии Натали Саррот

Умная, интеллигентная, язвительная Нина Николаевна Берберова. Так много я узнал от нее о горьких судьбах русских эмигрантов во Франции

К Франсуазе Саган меня привел корреспондент радио «Свобода» Семен Мирский, за что я благодарен ему и по сей день. Он переводил нашу беседу. Позже я встречался с писательницей еще несколько раз и видел перед собой разную Франсуазу: экспансивную, умную, азартную, грустную, подавленную…

Дорогому Феликсу /

и

открывшему

вершину

Памяти России

Сердцем

Инна

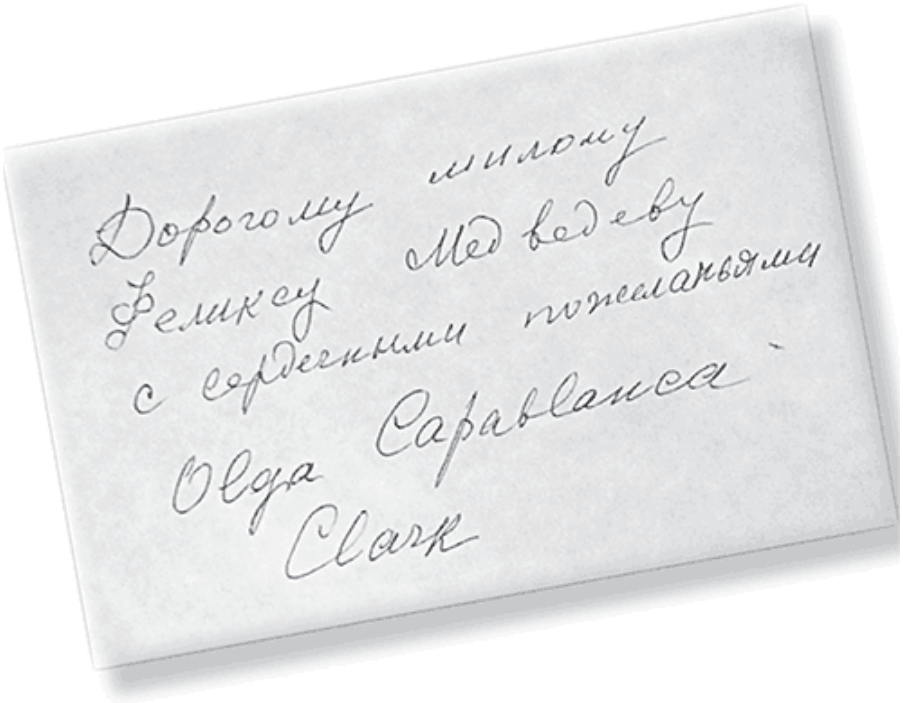
Паша

Москва, 30 января

1999 года

Исса и Дмитрий Панины. Он – узник сталинских лагерей, талантливый ученый, философ, друг Солженицына. Она – «всего лишь» его жена. Но без ее энтузиазма Россия, возможно, не вспомнила бы о Панине. Недаром Иссу Яковлевну называли «великой вдовой»

Русская княгиня Ольга Чегодаева и мировой шахматный король Хоса Рауль Капабланка



Джуна Давиташвили и Андрей Тарковский

Джуна с Папой Рижским Иоанном Павлом II

Как намучался я с княгиней Голицыной! То перед рабочей съемкой «Зеленой лампы» она усиленно угощала нас французским вином, то останавливала камеру и требовала повтора фразы, то длинно ругала Ленина (это были еще советские времена, и мы с режиссером хватались за голову)…

Татьяна Ивановна Лащенко-Сухомлина – женщина с удивительной судьбой

Несравненная Татьяна Самойлова. Меня всегда восхищали ее искренность и непосредственность

Эту редкую открытку красавицы Анели Судакевич, выпущенную в конце 1920-х годов, подарил мне книжник, игрок в казино Володя Иванов

Анель Алексеевна. Снимок сделан в годы моего с ней общения. 1998-2001

Инна Фрумкина, племянница великого ученого Александра Наумовича Фрумкина

Алла Баянова. Фото на память после интервью

Красавица казачка Нонна Мордюкова чувствовала себя молодой до самой смерти, сопротивляясь возрасту, болезням, переживаниям о несыгранных ролях

Знакомство с супругой генсека К. У. Черненко Анной Дмитриевной рассеяло мое представление о горестной судьбе жен власть предержащих. Вдова поведала мне, как счастлива она была в браке. Семья Черненко на отдыхе в Крылу. 1983 год

О.А. Аросева
В.А. Максимова

Без грима

Фаине Николаевне
С Новым наступлением
Всего хорошего!

О. Аросева

Забавный разговор состоялся у меня с Ольгой Аросевой, когда я попросил разрешения включить интервью с ней в эту книгу. «Ну, какая же я старуха, если у меня еще молодые ухажеры?» Но после эмоциональной дискуссии о «мудрости годов» все же дала согласие

Наталья Алексеевна Решетовская, первая жена Александра Солженицына. Они были вместе более тридцати лет

Руфина Филби, вдова, легендарного советского резидента в Англии Кила Филби

Нами Микоян, ее тесть, легендарный советский государственный деятель Анастас Иванович Микоян, и ее дети, Нина и Стас

Нами Микоян и сын Лаврентия Берия Серго

Нина Семеновна Родинова с правнуком Богданом, который пока не знает, что пережила бабушка в его возрасте

Яркая, эксцентричная дама с сигареткой во рту. Какая же она старуха? Сколько лет Галине Яковлевне Каландадзе-Басковой, тайна за семью печатями. Но когда она узнала, что я готовлю к изданию книгу «Мои Великие старухи», сама предложила: «Ты же знаешь, сколько интересного было в моей жизни. Я готова о многом рассказать, хочу стать твоей великой старухой»

notes

Примечания

1

Лидия Корнеевна Чуковская – дочь поэта К. Чуковского, с 1938 года стала близко общаться с А. Ахматовой; об общении с поэтессой на протяжении многих лет вела записи, на основании которых составила труд «Записки об Анне Ахматовой».

2

Любовь Дмитриевна Менделеева – актриса, жена А. А. Блока, дочь русского химика Д. И. Менделеева.

3

Иван Семенович Киуру (Хейно Йоханнес) – поэт, муж Новеллы Матвеевой.

4

Николай Николаевич Матвеев-Бодрый – писатель, литературовед, географ, историк-краевед Дальнего Востока, действительный член Всесоюзного географического общества. Сочинения: «Жизнь и творчество Н. А. Островского», «Поэт-партизан Константин Рослый», «Ульяновец Б. О. Пилсудский – этнограф» и др.

5

Надежда Тимофеевна Матвеева-Орленева – поэтесса, преподаватель литературы.

6

Лиля Юрьевна Брик – российский литератор, автор мемуаров; сестра французской писательницы Эльзы Триоле, возлюбленная В. Маяковского.

7

Валентин Николаевич Плучек – советский актер, режиссер, сценарист.

8

Борис Михайлович Тенин и Лидия Павловна Сухаревская – советские актеры театра и кино, муж и жена.

9

Василий Абгарович Катанян – литературовед, биограф В. Маяковского, пасынок Лили Брик.

10

Луи Арагон – французский поэт и прозаик, в 1929 году женился на Эльзе Триоле; выступал против советского коммунизма, осуждал процессы против писателей в СССР.

11

Пабло Неруда – чилийский поэт, дипломат, сенатор республики Чили. В 1971 году был лауреатом Нобелевской премии по литературе.

12

Дом на набережной – название бывшего Дома правительства на наб. Серафимовича, 2, построенного для членов ЦК ВКП(б), Комиссии партийного контроля, наркомов и их заместителей. Впоследствии в дом заселяли писателей и артистов, заслуженных большевиков.

13

Писатель Максим Горький. – *Прим. ред.*

14

Феликс Феликсович Юсупов – князь, принадлежащий к одной из самых знатных российских фамилий, один из организаторов заговора с целью убийства Григория Распутина в 1916 году.

15

Писатель Александр Солженицын. – *Прим. ред.*

16

Владислав Фелицианович Ходасевич – русский поэт, литературный критик, мемуарист; с 1922 года в эмиграции.

17

Великий Восток Франции, ВВФ (фр. Grand Orient de France, GODF) – одна из самых известных масонских организаций.

18

Владимир Бронеславович Сосинский – писатель, журналист.

19

Федор Федорович Раскольников – советский писатель и журналист, государственный, военный и партийный деятель, эмигрировавший во Францию, где напечатал обвинительное письмо в адрес И. Сталина.

20

Инна Юлиусовна Генс – искусствовед, жена В. Катаняна.

21

Секретная армейская организация (OAS – фр. *Organisation de l'armée secrète)* – ультраправая националистическая террористическая организация, существовавшая во Франции во время Алжирской войны (1954–1962).

22

Елена Петровна Блаватская – основательница современного теософического движения, писательница и путешественница.

23

Давид Давидович Бурлюк – русский поэт, живописец, критик, один из основоположников русского футуризма; с 1920 года в эмиграции.

В. Э. Мийерхольда. – *Прим. ред.*

25

Зоя Алексеевна Федорова – советская киноактриса, убита при невыясненных обстоятельствах.

26

Клара Цеткин – одна из основателей Коммунистической партии Германии, деятель международного коммунистического движения, активистка борьбы за права женщин.

27

Кембриджская пятерка – группа советских агентов в Великобритании. Были завербованы в Кембриджском университете в 30-х годах XX века.

28

Юлий Маркович Даниэль – советский писатель, переводчик. Публиковал за рубежом рассказы, в которых критиковал советскую власть. За эти публикации был арестован вместе со своим другом А. Синявским.